



ИННА КОШЕЛЕВА

ПЛАМЯ СУДЬБЫ

Инна Яковлевна Кошелева

Пламя судьбы

Scan by Ustas; OCR&Readcheck by Zavalery

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=159246

Кошелева Инна. Пламя судьбы. Роман: Издательский Дом «Букмэн»;

М.; 1997

ISBN 5-7848-0043-4

Аннотация

Роман о любви крепостной крестьянки Прасковьи Ковалевой и графа Николая Петровича Шереметева.

Содержание

1	4
2	30
3	66
4	77
5	107
6	125
7	176
8	190
9	224
10	242
11	263
12	283
13	300
14	313
15	327
16	343
17	357
18	378
ПОСЛЕСЛОВИЕ	396

Инна Яковлевна Кошелева

Пламя судьбы

1

В Березине долго гадали, почему Варвара пошла за Ивана. Девка в селе первая. Высокая, статная. Глаза – что васильки, волосы – что спелая рожь. Привычная в северных краях красота, а мимо не пройдешь. Лучшие парни увивались за Варварой, сватов засылали. А она вышла за горбуна. Ну ладно бы барин приказал или родители договорились по корысти. А то – сама...

Оно конечно, Иван – сын кузнеца Степана и сам мастер. А кузнец в селе на особинку. Хату строить не надо – ставят ему дом по господскому распоряжению. Не он оброк платит, а ему барин деньги отсчитывает на еду и на платье. Не великие деньги, но все же! Не надрывается, чтобы наскресть подушные и поскотинные. Значит, не придется Варваре в поле либо в коровнике спину гнуть от рассвета до заката.

Но даже если какой девке захотелось бы жизни полегче, задумалась бы она, прежде чем выскочить за Ивана. Горбун Иван; и горб у него от чахотки, а чахотка, известно, прилипчива.

Словно рукой махнула на себя девка. Словно с обрыва ух-

нула. С чего бы это?

Вспоминали, судили, рядили. Сникла-то она после чернявого проходимца. С юга куда-то добирался, а в Березино свернул лошадей напоить. У колодца Варвара ему ведро подала, но он к лошадам не поспешил. Долго говорили о чем-то. Так и стояли друг против друга. Он темный – то ли черкес, то ли цыган или валах, платье в обтяжку. Она ему в рост, но светлая, солнце в густых волосах запуталось.

И смотрелись они парой.

Проходимец тот еще несколько дней в селе ошивался. Староста попробовал проверить у него отпускное свидетельство, мол, не из беглых ли? Тот высоко поднял черную бровь: «Это ты мне?» Выходило, что вообще не крестьянин. Но вроде как и не барин. Стал бы барин столоваться у одинокого старика, чья хата рядом с Варвариной? Стал бы барин по сеням чужим валяться, если на богомолье спешит? «Хочу приложиться к мощам святого Димитрия Ростовского», – говорил любопытным про свой путь проходимец, да не многие ему верили...

С Варварой его видели только раз – у колодца. Но в тот день, когда странник, покидая Березино, рано поутру въехал по тропке в ближайший лес, к вечеру вышла из этого леса Варвара. В сарафане нарядном, в душегрее, расшитой лентами. Не по грибы же ходила, вырядившись. А по что?

«Ох» да «ах», не грех ли горбун прикрывает? Простыни после свадебной ночи, не сказать лишнего, с кровцой были.

На крыльцо выносили, все видели. Только... И кур рубили, и поросенка резали у Степана во дворе накануне. Жених браги набрался до бесчувствия, не положено молодым пить, а он набрался. Где хмельного взял, никто не видел. Не сама ли Варька поднесла?

Жену свою молодую Иван избил в пятую ночь. Зверски избил, силы-то ему не занимать: руками кочергу в петлю завязать может, подкову шутя гнет. Варвару тогда свекор отнимал не один – с помощью соседских мужиков. Утром Иван при всех прощения просил и в ногах у жены валялся. Она подняла его с колен, поцеловала, сама в ноги бухнулась. Мир, значит.

А пересуды пошли снова. Но окончательный приговор был такой: бьет – значит, любит. Не кой-как у них, а по правде.

Выходило, что и она к нему сердечно расположена. На святки отказалась ряженой закатиться в соседнее село. Раз в год там березинские девки творят черт-те что, а уж бабы молодые свое добирают с чужими мужиками, не совестясь ничуть. «Знать, хватает ей Ивановых ласк. Но отчего тогда не цветет? – судили соседки. – Почему в тело не входит? В монашенку превратилась. В темное рядится, под глазами круги цвета стылой воды, худоба проступает. И что совсем плохо, кашлять стала».

А после все увидели: тяжелая Варвара...

Ждали сына.

Родилась дочь.

...Родилась, захлебнулась криком. Первые слова над младенцем обычные: мальчик? девочка?

«Девочка!»

В хате по стенам и потолку той ночью метались тени, фигуры с лучинами – из угла в угол. Свершилось. Застыли. И сразу видно стало: одна тень – покореженная, похожая на сказочное чудище, другая, склоненная над дитем, – плавная. Над люлькой руки, мужская и женская, сошлись в мгновенном пожатии: теперь все образуется, теперь есть общее – это. Комочек кричащей извивающейся плоти.

– Иван! Иван! – это свекровь Варварина зовет сына полюбоваться новорожденной. – Какая красавочка!

Свекор вторит:

– Иван! Здоровенькая, сильная!

...Родилась она ладненькой, без изъянов. Спокойная, крупная, сразу взяла грудь. Варвара, ослабевшая от родов, встрепенулась, повеселела.

А тут приспело распоряжение барское: Ивана перевести в подмосковное имение Кусково на самостоятельное дело. Вроде бы оно к лучшему: жить отныне хозяевами, не в родительской избе, а в собственной. Вольготнее. Да и сытнее, доходнее близ барского двора. Одна беда – не к сроку, да подневольных разве спрашивают? Переезжали на телеге, в спешке и суете, чтобы успеть с грудничком до морозов. Про-

тянули с крещением, назвали девочку по октябрьским святам Параскевой. Парашенькой. Пашенькой.

Говорится: «Нить судьбы». И нить та в руках Господа. Миллионы судеб, миллионы нитей где-то в невидимом отдалении сходятся, переплетаются, связываются друг с другом. Люди той связи не видят и не чувствуют. Но издали, через годы, она вдруг зримо так просмотрится.

У кузнеца Ивана прибыль и радость – доченька. У грозного «его сиятельства графа-государя» (так звали Петра Борисовича Шереметева его крепостные) в том 1768 году одни потери. Сначала умерла любимая жена, за нею ушла в мир иной старшая дочь Анна. Умница, затейница, отцовская радость и надежда.

Еще вчера на всю Россию гремели балы в графском «Фонтанном» доме, прозванном так оттого, что стоял он в Санкт-Петербурге рядом с Фонтанкой. Еще вчера дом тот строили-перестраивали, вписывая в него «понарошке» – на время, значит – театр. В театре том в комических пьесах вместе с цесаревичем Павлом играли все дети Петра Борисовича – Анна, Варвара и Николай. Анна – ловчее всех, красивее всех была. Была... Нет ее... Несколько лет назад потерял граф второго сына, но по мальчику горевали с женой вдвоем, горе делилось на двоих, и было легче. Теперь же одно желание у Петра Борисовича – никого не видеть, уединиться. Уехать от шума и блеска Петербурга в тихое Кусково. Барин еще на

месте, а в подмосковное имение дворян стекается, обслуга со всех сторон спешит. Вот и отдал приказ управитель куковский срочно вызвать сына березовского кузнеца, чтобы здесь под рукой свой мастер был.

Удары продолжали сыпаться на графа.

На Москву накатила свирепая чума, и Петр Борисович, боясь новых потерь, бросился с детьми в свои северные вотчины. Спала эпидемия, собрался было граф ехать в Подмосковье, да слухи о бесчинствах Емельки Пугачева напугали, вновь задержался в глуши.

...Для молодых Ковалевых – Ивана и Варвары – шло время передышки. Барин далеко – работы мало. Есть время на обустройство новой хаты, на то, чтобы радоваться малой дочке своей. Они и радовались.

В те спокойные дни Ковалевым казалось: родилась Пашенька им на счастье, на удачу, и семья все-таки сбудется, сладится. Девочка, первая и желанная, веселенькая, забавная, как все здоровые дети, отвлечет родителей от страхов, страстей, подозрений, печалей, заполнит собой пустоту нелюбви, и водица уступок превратится в крепкое вино молодого счастья.

Через полтора года, когда у Варвары родится второй ребенок – сын, – они уже будут знать: чуда не произошло. «Несчастный», – тайно вздохнет у люльки бедная женщина. «На кой? – громко и пьяно будет спрашивать невинного младенца Афанасия горбатый отец. – Чего пришел-то? На муку?

Зачем?»

...Но в первый кусковский под мечтали о лучшем и вместе, и врозь. Умилялись, опуская Пашеньку в корыто в протопленной, но не жаркой баньке. Прислушивались днем к ее смеху и сами смеялись, по ночам плечо к плечу бросались к люльке, опережая друг друга. Вглядывались с любовью в спящую на спинке и ручки кверху. Ждали первого слова и первого шага.

Словом, на младенчество Пашеньки выпало время семейной тишины – ни брани, ни пьянок Предгрозье было с голубым небом и солнцем... Но гроза разразилась в свой срок.

Варварина свекровь приехала из Березина в Кусково – навестить сына, невестку и внуков. Увидела подростковую Парашу.

«Ой, в кого такая? Темная, как галка. Ни в мать, ни в отца...»

Получалось – в проезжего молодца, о котором Ивану и сразу после свадьбы намекали. Бросился кузнецу в глаза прилив чужой, не северной крови в облике девочки. Всем известно, ярославцы – белотельцы. Все остальные детки у Варвары с Иваном светлоголовые, а тут... Волосы смоляные, цыганисто-смуглые, выющиеся, кожа запалена смуглостью и глаза знойно-карие...

...Девочку Иван не разлюбил. Жену стал люто бить по пьянке. Больную, лежащую, на сносях – со всей своей нечеловеческой силой. Когда отходил от запоя, каялся, в ногах

валялся, прощения просил. И... снова бил, снова бил смертным боем.

Гнездо, в котором росла девочка, сотрясалось постоянно. И сотрясались детские души.

Обозленным рос Афанасий, недобрым и пакостливым. Радость читалась в мальчишеском взгляде, когда он смотрел на плачущую Варвару. А если упадет на пол отец, сваленный с ног вином, то сын не пропустит случая тайком ударить его босой ногой вбок.

Николка заикается – испугался отца, разбитого, окровавленного его лица, его плача-рыка после падения в кузне на железки. С того раза и Мишка норовит быстрее забраться на печку, зарыться в тряпье, увидев пьяного батю. Матрена мала, от криков вздрагивает, от ссор заходится в люльке. А Пашенька?

Пашенька здесь же. Ничто мимо нее не проходит. Сердце откликается и на слезы матери, и на немые страдания отца. И все мимо. Потому что на все – словно бы со стороны. Потому что все эти драки ее обтекают. Потому что Парашенька другая, не здешняя.

...В раннем-раннем детстве выбирается человеком вариант судьбы. Как важны в этот миг родительские ожидания, зачин жизненного пути нового человека. Как носит плод мать, что говорит над младенцем, как берут кроху на руки мать с отцом, как ласкают, какими движениями обмывают,

о чем мечтают над колыбелью... Каждый жест, каждое слово, каждая мысль ударяют в невидимый камертон, с которым человек будет сверять свои планы, желания, цели, потребности, страсти, всего себя изо дня в день.

Пашей, Парашей, Прасковьюшкой восхищались, перед ней благоговели, на нее молодые возлагали самые светлые надежды. «Не такая, не такая, как все, не похожа на вялых березинских деток», – восторженно вглядывалась в нее Варвара, боясь и надеясь увидеть незабываемые черты. «Не такая, – в мыслях вторил ей Иван. – Не такая, как я, мои сестры и даже Варвара. Нежная и яркая, как цветок, красивая, как барынька»...

Заряд избранничества, полученный ею в первый год жизни, окажется очень сильным. Насколько выше ее природа всех этих скандалов, драк, убожества быта...

Подросла и удивилась: почему она здесь? Все свои, все не чужие, но... другие. Через все просвечивает тайна, которая ранит, заставляет страдать.

– Ты моя мама? – спросила однажды Варвару.

– А чья же? – удивилась та.

– А... батя? – и за вопросом требование объяснить, почему Иван смотрит на нее часто тяжелым взглядом, почему не лупит, как Афанасия, почему боится лишний раз прикоснуться, и если и гладит по черным волосам, то словно бы через силу, словно бы обжигая об них свою заскорузлую ладонь.

...Девочка живет в семье и не живет. От всех – как за невидимой стенкой.

– Паша, достань из погреба маленькую крынку.

Очнулась:

– Что, матушка?

– Крынку, говорю...

Вылезла из погреба с огромной макитрой. Или не слышала, о чем мать просит? Так нередко.

Из всех домашних работ только к вышивке способна. Иглу еще плохо держат маленькие пальцы, а нитки и узор подбирает лучше всех взрослых баб.

О чем таком кроха про себя думает? Ни корова ее не интересуется, ни куры, ни огород, не бегают с малышкой по деревенской улице. Все одна да одна. Ягоды собирает медленно, грибов и вовсе не видит. Зато былинку серую, пожухлую может рассматривать, как редкую находку. И так ее повернет, и этак... Что ей такое открывается?

Может, из-за «нездешности» хрупкая Параша останавливалась, ломала грубость, злость, пьяную силу. Божья тростинка беззащитная, а не гнется перед хмельным Иваном. Лупит тот кулаком по столу, она рядом на лавке не шелохнется. Только Иван к Варваре с кулаками, как Паша метнется и тельцем своим мать загородит. Отступит кузнец – дочку пальцем ни разу не тронул.

Нянька из Параша тоже не больно хорошая. Другая девочка в шесть лет и напоить грудничка умеет, и завязать сви-

вальником. Этой не доверишь. У люльки встанет, все пальчики Матреше перецелует на ручках и ножках... ну да и все.

Нет, еще споет колыбельную, верно-преверно споет. На песни у нее такая память, что любую запомнит с ходу. И петь любит, и слушать. То и дело просит Варвару:

– Подпой низко про ленок. Отсюда...

Варваре не петь, а выть хочется. Спина мозжит, грудь от побоев ноет. Но как откажешь? Параша ведет дивно, голосок хороший. Раньше и Варвара была в хороводе, что красный мак в огороде – и красой и голосом выделялась, а теперь петь не хватает дыхания. Остановилась.

– Ты у нас, Паша, чай, барыней будешь...

– Как это – барыней?

– Ну, работать не надо, хлеб сам придет. Пой себе и пой.

– Да, да! Петь буду...

Грустно усмехнулась Варвара.

...Еще не помнила ничего, ничего о себе не понимала, а это знала – что будет петь. Варвара удивлялась: как меняется дочь, услышав песню или переборы гармошки. Только что была сонная, не дозовешься, не достучишься, и вот сразу вся как струна. Глаза горят, руки-ноги в ритм ходят, ни вялости, ни застенчивости. Хоровод издали завидит – летит к нему, топча траву крохотными лапоточками. Да петь норовит не просто, а расцветить мелодию. И выше возьмет, и ниже, и все это не нарушая лада. Бабы только головами качают.

– Варь, слышишь, какую завитушку твоя Пашка вывела?

Ты научила?

– Ой, до завитушек ли мне?

Но в песнях Варвара толк знала и на особо причудливые Пашины «вензеля» всегда откликалась: «Ну, молодец, ну...»

Случалось, после песен-плясок Параша вдруг не по-детски резко и надолго уставала. Ложилась на лежанку среди бела дня и лежала там, как тряпочка.

– Варя, а девка-то не больно здорова, – заметила как-то свекровь. – Это с виду только добрая да румяная...

– В кого здоровой-то быть? Чахотка у нас в роду... А Пашенька... На вид спокойная, а нервы гуляют. Чувствительная...

...Кроме цветов и песен любила Пашенька еще сказки и были. Все, что знала Варвара о домовых и русалках, не один раз девочке рассказала. «Еще» да «еще»...

Избу Кузнецову в селе поставили на въезде, у дороги, ведущей с юга в Москву. Баре с той дороги сворачивали влево – навестить, поприветствовать господ Шереметевых. А через село шли простые богомольцы, бедняки, что отпросились у помещиков поклониться святым местам, пожить в монастырях, постоять службу в главной кремлевской церкви. Доходили путники до Ковалевых, стучали в окно. Если хозяйка добра, даст воды и хлеба, а то и щами накормит. Изба-то ладная.

Изба как изба. На матице два кольца для люльки. Шесть самодельных, кованых Иваном для сына подсвечников, шесть расписных яиц. Под иконой Всех скорбящих радости – стеклянный пузырь с гробом Господним. Здесь же наугольник, в красном углу небогатая посуда. Все...

Но хватит, чтобы рассматривать до бесконечности. По утрам в лучах солнца все сверкает, все горит – глаз не оторвешь. И попадает в поле Парашиного зрения, а значит, и в полудремящее девочкино сознание. Все годится для извечного сорочьего детского собирательства завораживающих ощущений. В такие минуты бездумного созерцания душа расширяется и расчищает пространство для роста.

Сознание сначала дремлет. Или пробуждается? О чем это вчера говорили бабы на выгоне? Смотрит Параша, как вьется рой светящихся пылинок над стеклянным пузырем, и вспоминается ей...

В трех верстах от Кускова, рассказывала тетка Васса, есть святое озеро, круглое, как плошка. Храм там ушел в землю, когда согрешил священник. «Ох, грех, грех», – крестились бабы, а глаза у них делались круглыми и совсем не испуганными, а веселыми – что уж такого батюшка натворил? Так вот, у озера этого нет дна. Если хочешь очиститься от греха, брось в озеро любимую свою вещь, гребенку там или бусы, и никто никогда их не вернет, не достанет.

Она, Параша, знает за собой грех. Отца чтить надо. Но когда он матушку за косу таскал, нечаянно подумалось Па-

ше: пусть худо ему будет. Что-то надо отдать тому озеру, чтобы грех искупить и не накликать беду на отца. Самое любимое – куколка, которую ей папка и вырезал. Прижала Параша куклу к себе. Когда бабы шерсть красили, она своей Анютке лучинкой голубые глаза подвела. Как живая стала Анютка. Жалко.

Вдруг дошло: не утонет деревянная фигурка. Щепочки по ручью плывут, но на дно не опускаются. Камешки гладкие, что на берегу того ручья собрала, отдаст, вот что. «Еще наберу, – думает Параша. – Их не жалко. Только... Утонет ли с ними грех?» И что значит – «нет дна»? Если наклониться над водой, сложить руки трубой и послать звук вниз? А-а-а-а! Изо всех сил. Он прорежет зеленую воду, достигнет дна и, оттолкнувшись, вернется назад. На земле все имеет край и конец. Это не небо.

Однажды... У края леса... Одна... Она нашла в горле звук особый, блестящий. И, закинув голову, послала его вверх. Долго после этого ей слышался улетающий звук колокольцев. Это звук ударялся о воздух, о слоистый расплавленный свет. Она – голос – и еще Кто-то там... Тот, кто примет бесплотный серебряный шарик.

До этого Кого-то не добраться. Она даже не знает, точно ли Он – тот Бог, которого боится матушка. Она, Паша, и боится, и не боится. Она взойдет на горку в Карачарове, на ту страшную горку, где громом убило жениха и невесту. Иван да Марья, сказала матушка, до срока согрешили. Что

это значит – «до срока»? И что они сделали? А, может, Господь, как батюшка, просто гневен? Но ведь он и милостив? Она, Параша, на той горке будет за всех грешных молиться. Ангелы услышат и передадут выше, выше...

Она знала: есть люди, допущенные к Господу заступниками за грешных. Не так они живут, как все, и больше всего любила девочка слушать о них, о святых. Особенно о Димитрии Ростовском. Еще и потому, что о нем матушка рассказывала как бы тайно, когда не было батюшки и братьев.

– Вырастешь – приложишься к мощам. Наши это места, ярославские, наш это святой, за нас Господа просит...

– Расскажи, расскажи, как открыли мощи...

Трепещет от материнского дыхания дымный огонь лучины. Прижалась Параша к теплому боку. Слушает. Слышит.

– Вот как это было. Умер в Яковлевском Зачатьевском монастыре (а он, этот монастырь, от нашего Березина совсем близко) брат Леонид. Моя мать, а твоя, Паша, бабушка с этим Леонидом не раз о душе беседовала. Он истинно послушничал, вот и решили его похоронить поближе к церкви. Мама моя тоже пошла проститься с духовником своим. Рыли монахи могилу и нечаянно (для них нечаянно, а вообще Божий промысел на то был) задели балку на склепе Димитрия Ростовского. Рухнуло бревно сруба, в котором за сорок три года до того погребли архиепископа Димитрия. Ученый человек он был, книги писал и те «Четьи-Минеи» составил,

из которых я тебе жития святых читаю. Могилу не стали кой-как поправлять. Землю сняли, а там...

– Ой...

– Твоя бабушка своими глазами все это наблюдала. Так вот... Предстал Димитрий взорам как живой. Тлением не тронутый. Балка упавшая ему чуть здесь, на лице, кожу повредила и пальчик на одной руке. Бумаги, какие велел он себе в изголовье положить, рукописи ученые, в пыль превратились, гвозди в ржавь, гроб истлел и балки в труху рассыпались... А он целехонек!

– Чудо, матушка...

– Еще чудеснее, что начались немислимые исцеления. Какие люди со всех концов потянулись! – в голосе матушки и восторг, и непонятная печаль.

– Скажи какие...

– Сама наша императрица Екатерина пожаловала, через плат к мощам прикладывалась... Кого десять, кого двадцать лет немота не отпускала, а здесь, у мощей, заговорили. От падучей излечивались. Княгиня Вяземская избавилась от застарелой лихорадки, майор Прончищев – от каменной болезни.

– А тот казак, помнишь? Самый на свете красивый?

Почти шепотом говорит мать:

– Тот телом здоров был. Душа у него покоя не знала в неволе. Бежал от помещика, который без всякого на то права внес его в ревизские списки. Его-то, свободного казака...

– И?..

– Схватили его, наверное... Иначе... – И осеклась Варвара.

– И Димитрий не помог?

– В таких делах... Да и добрался ли тот до мощей?

– Матушка, а почему Димитрию сила была дана?

– Помогать-то? Потому что святой дух был на нем. Архиепископ жил так, что после смерти его денег не осталось – все нищим, убогим раздавал. Ничего не собирал, кроме книг святых, ни серебра, ни золота. Не позволял себе иметь лишней одежды, с небрежением относился к удобствам. Комара не убивал на теле своем – так почитал любую жизнь, данную Господом.

– И все равно умер...

– Господь ему смерть дал особую. В 1708 году, меня еще на свете не было. Однажды в пятницу отец Димитрий, уже телом слабый, пошел из Ростова в Ярославль. Пришел в два часа ночи через сутки. Утреннюю службу слушал, обедню в соборе сам служил. Певчему за вдохновенное молитвенное пение сказал: «Благодарю тебя, дитя». Ушел в келью, там на коленях, с воздетыми в молитве руками и умер...

– Я приложусь к мощам, матушка, как вырасту. Пешком от Ростова до Ярославля пройду, как он. И сына своего Димитрием нареку. Казака того беглого как звали?

– Димитрием тоже, – не сказала даже, без звука выдохнула Варвара. – К своему святому он добирался...

Тянуло, затягивало Пашу в восходящий поток мыслей и страстей. До святых дотянуться не помышляла, но... То одну роль высокую примеривала к себе, то другую, сама того не сознавая.

...Что это? Стук в окно. Открыла – странница. Вошла, упала перед лампадой на пол темным пятном. Шепот: «Господи, помилуй! Прости меня, грешную». И снова – о грехе. Весь мир во грехе лежит, говорит кусковский батюшка в проповеди.

– Бабушка, куда мамка делась?

– Все твои в церковь пошли, я их встретила. Тебя будить не стали, больно сладко спала после болезни.

– Так ведь грех не встать к заутрене.

– Бог простит, мы с тобой к вечерней службе ходим. Какие у тебя грехи, чтобы отмаливать?

Тень поднималась, росла, приближалась теплым облаком.

– Бабушка, расскажи сказку.

– Быль забавнее сказки. Встань, подойди к окну, я ставенку открыла. Смотри... Вон туда... Видишь аллею, где туман натек? По ней Наталья Борисовна Шереметева, сестра вашего барина, в Сибирь уезжала... Плакала. Страшный зверь, кровопивец Бирон, ее нареченного, царского рода князя Долгорукого, сослал за тридевять земель. Три дня прожили молодые, и муж-то ее не из самых примерных был, выпить любил, погулять. Ваш барин Петр Борисович уговаривал сестрицу откажись, спасайся сама, на род наш тень не

бросай. А она свое: мол, благородство души не позволяет. Молоденькая, чуть пятнадцать лет ей стукнуло, а характер... И – за женихом. Заласканная она была, нежная, сердце доброе и голова светлая, ученая. А дальнего пути не побоялась.

Сначала ехала в карете барской. Там, где карете не пройти – пешком. Гувернантка ее, немка, не выдержала испытаний, вернулась, а барынька дальше и дальше. Через горы Уральские, сбивая белы ноженьки, питаюсь одной ягодой пустою морошкой, все шла да шла. В день ясный, в ночь подзвездную... Ночевала в мороз на жухлой траве, тулупчиком накрываясь. Странницы ее жалели. Возвращайся, мол, барышня-красавица, в тепло да в графский покой на пуховики свои. А она все дальше идет в глубь таежную. Лисы у ней из-под ног прыскают, волки за елками воют. И страшно ей, а идет. Глазыньки закроет – и во тьму таежную.

– Ой, бабушка...

– Не бойся, жива она. Вернулась. С детьми ее видели в столице. Господь ей за верность дал деток ясноглазых, здоровеньких. Муж, врать не буду, не вернулся. Казнил его Бирон... Люто казнил, четвертовал при народе.

– Ой!

– Не буду про страшное. А Наталья Борисовна недавно в монахини подалась. Нектарией зовется. Зарабатывает молитвами себе царствие небесное, грехи отмаливает.

– Какие?

– Не знаю. У всех грехи. Здесь мы на земле временно, а

там ответ держать...

Богомолка тяжело, горестно вздыхала, и печаль, смешанная со страхом, окутывала Парашу.

...А за окном цвел жасмин, и утренние, непомятые цветы его были влажны, налиты росой. Слезами давно ушедшей отсюда графини Натальи Борисовны сверкали под первыми лучами солнца ветки и листья сирени. Может, дождь прошел ночью? Не слышала, все проспала ослабевшая после весенней простуды Параша.

От окошка к столу:

– Щей поешь, бабушка?

Всматривается в лицо странницы. Первый весенний загар на пол-лба, до черного платка, сейчас сдвинутого к волосам, кроткие старушечьи глаза, глубокие морщины на свежем, напитанном ветрами и дождями лице. Похожи все странницы одна на другую, а истории у всех разные. Хорошо бродить по свету, слушать, пересказывать... Может, и она пойдет... Нет-нет: у нее впереди другое...

– Добрая ты девочка.

– Еще придешь, бабушка?

– Как Бог пошлет. Пустое дело загадывать. Однако тебе скажу. Ты не простой девкой проживешь. Многих я повидала. На тебе печать. Не здесь цвести будешь.

Вот и богомолка сулит ей жизнь иную...

Чем старше становилась Параша, тем сильнее ее притя-

живала жизнь иная, не сельская, не крестьянская. Все чаще уходила она в Кусковский лес. В том лесу был огромный зверинец, за сеткой бродили рядом козули и волки. Обитателей глухой чащи собрали здесь по воле старого графа. Потеряв все, что любил, не зная, куда себя деть, он, как раненый зверь, метался по своей вотчине и всюду оставлял следы больной своей фантазии.

Вдруг из-за деревьев выступали «руины», мрачный и безжизненный дворец. Девочка знала тропинку к «шмольерам» – хижинам, крытым соломой. В открытые двери видны были застольные фигуры-куклы в человеческий рост. В одной хижине нелепый француз читал газету, в другой играли в карты развеселый господин в шлафроке с кофейными полосками и в клетчатом зеленом картузе, «турка» в фуфайке брусничного цвета, в розовой чалме с белым султаном из перьев и дама в пукетовой юбке (по голубому полю цветочки и клеточки).

Однажды Параша увидела издали прекрасный старый дворец. Светлые рукотворные пруды перед ним, сады, поднявшиеся на холмах, белая беседка на горизонте...

...На тот праздник пускали всех шереметевских крестьян, дворовых и не дворовых, лишь бы были трезвы и чисто одеты (у входа каждого придиричиво осматривали два дюжих дядьки, способные завернуть от ворот кого угодно). Молодым красивым девкам и парням выдавались шелковые сарафаны и рубахи. Получившие нарядную одежду должны были хо-

дить парами и радовать глаз императрицы, которую ожидали с минуты на минуту. «Не лапаться, – предупреждал всех костюмер, – и по кустам не разбежаться».

В тот первый, но не последний раз навестила графа Екатерина со всей своей большой свитой. Императрицу встречала у ворот толпа, в которой были и Параша с Варварой, кузнеца же из-за безобразного горба в ворота не пропустили.

«Ноги береги!» «Прочь!» «Расступись!» В толпу врезались всадники и стали охаживать нагайками зазевавшихся. Параша увидела золотую карету, восьмерик серых в яблоках лошадей, головы которых были убраны кокардами. Перед царским экипажем бежали скороходы, по бокам скакали кирасиры в красных мундирах, на запятках кареты сидели черномазые мальчишки-негрятя. Увидела девочка и «саму» – полную женщину, ласково улыбающуюся в окошечко. Из того же окошечка лохматая собачонка облаивала всех с такой яростью, что люди отшатывались от кареты. «Зизи! Тише, Зизи!» – услышала Параша голос императрицы и подумала, что та из-за пустолайки не заметила прекрасные цветы, которыми были украшены ворота, – заморские, выращенные в оранжерее дворовыми крестьянами с таким трудом и старанием.

Народ все прибывал. Тысячи карет, десятки тысяч людей. Дворовые, наряженные рыбаками, вынимали сетями из пруда карпов, чешуя сверкала на солнце ослепительно. По воде скользила лодка с живыми и все-таки игрушечными матро-

сами – тоже «для красоты вида», открывавшегося из царичиной опочивальни. Двигались в танце на берегу пастухи и пастушки. Вокруг беседки на острове поднялись, закружились каруселью струи воды, и Параше показалось, будто беседка сдвинулась с места и поднялась над землей, разбрасывая сверху россыпи бриллиантов.

Когда же стемнело, в небо взлетели быстрые огни фейерверка. Сполохами озарялись облака, озарялась вода, озарялись темные, загипнотизированные глаза Параша.

Старый Шереметев денег не жалел. Во дворце стол на сто двадцать кувертов ломился от снеди. Перепало и слугам. Повсюду даром раздавали с лотков леденцы, поили квасом. Но Параша всего этого уже не видела. Потому что над всем этим... Над толпой... Над криками: «Подходи, задаром дам!» Над смехом девок и парней... Над материнским «Смотри, Паша!» Над всем этим...

– Что это? Мама, что?

– Музыка.

Это было не похоже на отрывочные всхлипы деревенской гармоника, на треньканье балалайки, даже на чудные сельские распевы. Это шло поверх жизни непрерывно, как река, накатывало и подступало плавно со всех сторон, подхватывало и несло дальше и выше. Такое ей снилось однажды, небесное, Божественное, и она не знала, предположить не могла, что такое есть в жизни.

– А это что?

– Оркестр. Когда много музыкантов играют вместе.

– Пошли, – потянула Параша мать на звуки.

К театру, устроенному в конце аллеи, стекались люди. Кресла – для знатных гостей, для простолюдинов – скамейки. Но Параша не стала пробираться по рядам. Она прислонилась к стволу старого вяза, рукой ощутив его шероховатую теплую кору, приподнялась на цыпочки...

...Первым, кого она увидела на сцене воздушного театра, был он. Отсутствующее бледное лицо, мягкие локоны, смешивающиеся с кружевным пышным воротником, голубой камзол, туфли с золотыми пряжками. Юноша приказывал палочкой музыкантам, как играть. И Параша поняла, что сначала эта прекрасная музыка звучит в нем. Она проходит через него, и он сам становится музыкой, его жест – продолжение музыки и в то же время его желание.

– Те, что плачут, – скрипки, – шепнула на ухо мать. – Пониже берут виолы, а дирижирует молодой барин. Он мальчиком приезжал к нам в Березино. Хорошенький был, ангелочек...

Параша ушами слышала, что говорила мать, но всей своей сутью она слышала другое. Звуки заполняли ее, заполняли мир. Живые, неуничтожимые волны.

В музыке были взлет, сияние луча, пробивавшегося через синюю тучу туда, где нет закатов. Выше. Выше.

Варвара с удивлением увидела, что лицо девочки залито слезами.

– Что с тобой, Пашенька?

– Не знаю...

Как, какими словами шестилетняя девочка могла объяснить, что душа ее заявила о себе и невыразимое счастье слилось с невыразимой печалью? Проснулся дар, который не знал, как себя выразить. Он уже был, рос, требовал от нее – иди за мной, трать себя, сжигай, страдай.

Между бедной прокопченной избой и блистающими роскошью дворцами, между безъязыкостью и божественной музыкой, между легендами о высокой любви и домашними драками душа, пытаясь объять крайности, металась, ширилась, прорастая восторгом и болью.

Через грубую, почти животную жизнь просвечивала иная – прекрасная и тонкая. И потому в подсознание вошло превращение. Из низкого – в высокое, из бедного – в богатое, из простого – в сложное. Как в сказке.

«Золушка» Шарля Перро уже была написана, известна русским аристократам, помещанном на всем парижском. Горничная, обученная по-французски, чтобы читать сказки барчукам, пересказала ее своим братьям и сестрам по-русски, а те – остальным сельским ребятишкам. Но еще до этого Параша знала другое изложение той же судьбы. «Царевна-лягушка» – что это, как не романтический вариант превращения простой девушки в знатную и всемогущую возлюбленную? Именно любовь возносит над обыденностью...

Параша-девочка жила с ощущением: что-то случится, и все пойдет по-другому.

...Как пахнут травы в сухой жаркий день на лугу за селом! Кинуться в них и следить, как плывут облака в синем-синем бездонном небе. Не в словах, а в каких-то бесформенных образах, проходящих как эти облака, представлять себя будущую. Бог призовет ее, она обнаружит свою любовь... ко всем. И тогда... Та толпа... Тот, с палочкой, вызывающей на свет музыку... Матушка... Батюшка... Братцы и все-все увидят, как она любит их, как много может для них сделать. Они ответят ей признанием. Бог даст ей знак...

И Бог дал.

2

В двух случаях замирало Кусково в предчувствии беды: когда парней брали в рекруты и когда отбирали детей в актеры графского театра.

Казалось бы, разные вещи. В солдатах служили, считай, всю жизнь – двадцать пять лет. Жили сурово, живота не жалели. А театр рядом. Актеры на сладких хлебах, от ихней работы еще никто не надорвался. Шереметевы – господа милостивые. Что же тогда горевать?

Так-то оно так Да так со стороны. А для матери или отца...

Солдатскую повинность еще можно объяснить здоровой необходимостью защиты царя и отечества. Актерское же рабство с точки зрения крестьянина – нелепица, барская прихоть, дурь, однако ломает жизнь не меньше, чем рекрутчина.

Ради чего деток из сел увозили чуть ли не в Малороссию, в далекую Борисовку? Там Смагин их сначала «распевал» и учил нотам. Подросших мальчиков и девочек возвращали в Кусково. Кого отдавали назад домой – «неспособные оказались», а кого селили в барских флигелях. И для этих – «годных» – начиналась совсем особая, ненатуральная, нечеловеческая жизнь.

Отец и мать живут рядом, а видеться нельзя. Ни детей к родителям, ни родителей к детям не пускали. Издали могли

видеть деревенские, как водит надзиратель или надзирательница их чадо в строю на репетицию, на обед или спектакль. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Словно собак на цепи...

Не просто свободы нет – порядок, как в остроге. Шереметевы держат при актерских флигелях целый штат дворовых, чтобы охранять парней и девок от обычной жизни и друг от друга. С актрисами справляются лютые Настасья Калмыкова и Арина Кириллина, известные наушницы. К актерам приставлены двенадцать «гусаров» Ивана Белого, дюжина силачей каждый миг начеку, не трепыхнешься.

Едят «счастливики», конечно, лучше, чем их братья и сестры по селам, но болеют туберкулезом не реже. У иных еще объявляется и незнакомая крестьянам цинга. Воздуха не видят, здоровую деревенскую работу не делают, зеленушку с грядок не жуют.

Девки поют, в манерах выламываются, делаются барски-ми подстилками. Мужики тоже для ушачения барских глаз да барских ушей на сцене лакействуют. Тьфу! Молодость проходит, и их – развращенных и разленившихся, нездоровых – выбрасывают снова в село, словно комнатных попугаев в лес. Яркие, но к здешней жизни непригодные, осмеянные и презираемые, сгуливаются они, спиваются, юродствуют на потеху другим. Гибнут...

Ой, не дело это, не дело, когда один человек для другого вроде куклы. Один рожочник – нота «до», другой – «фа», по

именам их не зовут. По одной ноте парни всю жизнь гудят, от скуки с ума сходят, придурками становятся. Кто пожелает сыну такой судьбы?

В ту осень все случилось неожиданно и не так, как всегда. Смагин из Борисовки не приезжал, и ребят в Кусково не стогняли проверять голоса. Молодой барин с «дядькой» – отличным музыкантом Василием Вороблевским – сами ходили по избам. На сей раз таланты искали со всей серьезностью. Николай Шереметев строил планы грандиозные: создать театр по всем правилам, не доморощенный, в каком представляют кто придется и как придется, а с актерской труппой высокого класса.

Перво-наперво зашли к Варваре, про дочку которой от многих слышали – певунья. Не успела. Варвара приготовить-ся, как была в посконной юбке с застиранным фартуком, так и встретила. Бухнулась графу в ноги:

– Хозяин в кузне...

– Мы не к хозяину.

Афонька незаметно старался мух прогнать, что облепили Матрешу, Николка в угол забился. Мишка голоштаный, стыд какой! Паша... А что с нее взять? Застыла как вкопанная, нет бы мотнуться к малютке – и что это Матреша так раскричалась?

Молодой барин подошел к люльке, девочку ласково взял. Даже не на руки взял, а на руку. Подивилась Варвара, какая большая, мягкая и ловкая у него рука. Другой рукою кругами

поводил девочке по животу, вправил грыжу лучше всякой бабки. Сразу замолчала девочка.

– Это «массаж» называется, – объяснил. – По солнцу пасы. Как солнышко идет, так и гладить. Без усилий, чуть касаясь. Медицина мне интересна, кое-что научился лечить. Так, по книгам. Но есть намерение пройти курс в Лейденском университете.

– Так вы, барин, лекарь? – не скрывая дерзкого разочарования, спросила Парашка.

«Что это с ней?» – ахнула про себя Варвара.

«Что это со мной?» – ужаснулась сама себе Параша. Ноги у нее стали ватными, еле держали, и в то же время странная уверенность в себе несла ее. «Что ни сделаю, все к месту, что ни скажу – ко времени». Так будет после всегда в присутствии Николая Петровича: волнение до немоты, ступор и сразу – невыносимая, радостная свобода, возможность не проверять себя, следовать своим желаниям.

...Не рассердился граф, засмеялся:

– А ты как думаешь?

Развела Параша тонкие свои руки, вытянулась в струнку и точно «изобразила» мелодию, которую играл на празднике оркестр.

– О! Верно слышишь. И помнишь верно. Умница. Я не лекарь – я музыкант. Все остальное – так...

Как взрослой объясняет о себе барин сопливой девчонке. А у той глаза горят от счастья. Не успела Варвара дать знак

дочке «сиди тише». Выскочила. Тихоня, неумеха, а туг...

– Как зовут тебя?

– Прасковья. Ковалева Прасковья Ивановна.

– Вот ты и нужна нам. Ты, говорят, поешь неплохо.

– Нет! – приглушенно выкрикнула Варвара.

– Лучше всех в нашем селе пою! – обиженно возразила матери Параша.

– Не слушайте, барин, дитя не понимает...

– Сама говорила – лучше всех...

«Дурочка, дурочка, что болтает?»

– Ну даже пусть не лучше, – махнул рукой граф, – девочек берем, если ладные внешне. А ваша... подвижная. Смешная. Забавная.

– Я не смешная, – да с таким вызовом сказала, что Николай Петрович удивился. Присел на корточки, взгляделся в детское личико.

– Не смешная? Подойди ближе.

Подошла. И вдруг протянула руку к его локонам. Отдернула. Снова протянула.

– Можно... потрогать?

Засмеялся юноша:

– Отчего же?

Разглаживала волосы вправо и влево от чистого высокого лба. Кружева – белоснежная пена, прохладный шелк рубашки и теплый, живой шелк волос, линия щеки, высокая юношеская шея и развернутые мужские плечи. Какая тишина в

хате, и Матреша не плачет...

Детская любовь – любование, и женская до поры – любование. Пока-то желание узнает себя... Долго-долго оно растворяется в осязании, зрении, слухе. Какое счастье – видеть! А уж касаться... Как мягки его локоны...

Он, естественно, не узнал в этом ребенке свою женщину. Но и в нем что-то рванулось навстречу расширенным темным глазам.

Ей семь, ему – двадцать четыре; он господин, она его раба, одна из двух сотен тысяч шереметевских крепостных...

Замерла Варвара, глядя на дерзкую свою дочь. Замер от неожиданности Василий Вороблевский. А молодой граф взял в свои большие белые руки две маленьких смуглых ручонки:

– Прелесть какая! Ее хоть сейчас во дворец. Грации сколько в ней, Василий, а? Собирайся, цыганочка Параскева.

– Матушка, собирайтесь! Афоня! – радостно кинулась Паша к Варваре. И увидела, поняла по лицу той – разлука. – Без маменьки?! Нет!

Отрывал Пашу Василий от застиранного полотняного фартука, от материнского бока, неповторимо пахнущего молоком, маленькой Матрешей и прокисшей брагой, от ног, от лаптей, за которые цеплялась девочка до последнего изо всех своих маленьких сил, ничего не помня и не понимая.

– Деточка! Бог велит. Петь будешь...

«Петь», – пробилось в сознание.

– Петь? – повторила, как во сне. – Да, петь, конечно, – встала с пола и сама перешагнула через невысокий порожек.

Не каждому дано знать, чем ему заниматься в этом мире – можно тем, можно этим. Параша всегда знала: ее дело – пение. Где надо петь – там она...

Она видела, как уменьшалась, таяла фигура матери на дороге. Это было ужасно. Словно из центра мира Параша перемещалась на самый дальний его край. За горло взяло чувство потерянности, оставленности. И уж настоящая паника овладела ею, когда увидела: по той же дороге в глубь села умчалась пролетка с барином. Ради него она смирилась с разлукой, из-за него... А он...

Везла ее соседка на тряской телеге, одной рукой погоняя лошадь, а другой крепко сжав Парашино запястье, чтобы не спрыгнула, не убежала.

– Куда мы свернули, тетя Вера?

– Велено сперва в старую мыльню.

Старая мыльня на дальнем краю графского парка, заброшенная и замшелая, в те дни ожила: сюда привозили детей, отобранных «к театру». Зареванную Парашу доставили первой.

В предбаннике чистая, хорошо одетая девка первым делом обмерила девочку. И пока тетка Вера больно и неласково скребла намыленную Пашину голову, оттирала белым легким камнем заскорузлые пятки от грязи, девушка верну-

лась с аккуратным узелком. На лавке она разложила платье. Что это был за наряд!

Кофточка, белая и тонкая, оказалась великоватой, но под сарафаном не видна А сарафан... Он совсем не походил на тот, какой Параша, скинув, переступила, входя в парную. Деревенский был серым и грубым, а этот... Алый и блестящий, как закатное солнце перед ветреным днем («муслиновый», сказала дворовая девушка), широкий, разлетающийся во все стороны при малейшем движении. «Понравится барину-музыканту», – подумала Параша, Еще ей дали тонкие белые чулки. Таких она раньше вообще не видела, потому что носила чулки лишь зимой, да и те ей вязала мать из толстой колючей овечьей шерсти. Дали ей и туфельки с пряжками, на которых сверкали красные камешки – по три на каждой. Ей хотелось рассматривать эти туфельки до бесконечности.

Но тетка Вера торопила, а у выхода из мыльни их уже ждал Ванюша – ученик барского куафера.

В цирюльне, находившейся неподалеку, мальчик отхватил ножницами косицу, в которую тетка кое-как собрала мокрые волосы. Короткие пряди тут же свились в упругие кольца, обравив смуглое узкое личико. У лба Ванюша еще приподнял смоляные локоны алой лентой под цвет сарафана, и на Парашу из круглого зеркала глянула незнакомая барынька-белоручка, а вовсе не кусковская Пашка – «Горбунова», дочь горбуна, скандалившего на все село. Этой хорошенькой девочке там, в зеркале, подмигивал Ванюша-куафер: ну как?

– Придешь ко мне еще стричься?

– У нас не стригут.

Как девке без косы?

– Дура, так то у вас в деревне. А я тебя на французский манер.

– Сам дурак! Меня к театру берут!

Ванюша незаметно для всех больно дернул Пашу за выбившийся из-под ленты локон.

Когда они с горничной вошли во дворец (через главный вход – мимо каменных львов, со стороны пруда), Параша ахнула: вестибюль оказался неожиданно большим, высоким и... очень красивым.

День еще не прошел, но в скругленных углах у мраморных ваз залегли мягкие предвечерние тени. словно сквозь дымку виделись облицованные зеленоватым камнем стены, а с потолка словно падал хрустальный водопад – грустно поблескивали прозрачные подвески огромной люстры в форме дубовых листьев.

Присели на мягкую, обитую бархатом скамейку и стали ждать. Но никто не приходил за ними, и чувство потерянности, отступившее было, вновь вернулось к Параше.

– Я спущусь в кухмистерскую, – сказала горничная. – А ты побегай поблизости.

Параша огляделась. Справа и слева – вереницы открытых дверей, уходящие в бесконечность. Но справа вдали призыв-

но блеснуло зеркало, и она заскользила к нему по натертому паркету. Мимо зелено-синего, с темными углублениями ниш, мимо бело-золотого... Каждая комната на особинку и каждая ошеломляет красотой и роскошью.

Мчится, мчится Параша, быстрее, быстрее, чтобы не просто остановиться, а замереть в зеркале от удара счастья. Все полыхает: крапачный цвет обоев, малиновый сарафан, алая лента, пятна на щеках... Все такое горячее, буйное...

Дворец был пуст. Позабыв обо всем на свете, движимая любопытством, Параша поднималась вверх по узким лестницам, оглаживая рукой пузатые балясины, спускалась вниз в парадные комнаты. От ее легких шагов подрагивал над головой серо-сиреневый хрусталь.

Ах! Это уже не назовешь комнатами – простор зовущий, заманивающий, затягивающий. Паркет убегает из-под ног, и вот Параша уже летит, не чувствуя ног. Алые сполохи разлетающегося сарафана... Раскинуть руки – и кружиться, кружиться, кружиться. Параша подлетела к окну. Еще шире, еще прекраснее мир – парк, ряды статуй, на празднике виденное здание оранжереи со стеклянными стенами и куполом. Кинулась к окнам напротив. Что это? Огненно-алая фигурка в белых чулочках скользит навстречу. Значит, не окна, значит, зеркала в оконных переплетах. Зеркала принимают ее и передают одно другому. И вот она снова подхвачена ритмом паркетного узора. Белое, золотое, алое, серебро хрустальной и зеркал... Так и прошлась вихрем до противоположной

двери. Рядом с танцевальным залом еще одна комната... А из нее виден вестибюль, который она уже боялась потерять.

Чинно села на бархатную лавку. Как бьется сердце! Сейчас придет барин, и надо бы унять это в груди – вдруг услышит? Как хорошо ей! Стало стыдно на миг, что забыла про матушку, братцев, про темную дымную избу... Кто-то идет! Он!

Но пришел Василий Вороблевский. Он куда-то спешил и не заметил, что с ней произошло и как она изменилась.

– Быстро, за мной!

– К барину, да? – спросила на бегу Параша.

– Почему к барину? Барин в Москву уехал. Поначалу тобой княгиня займется.

Досадно как! Почему они все ничего не хотят о ней знать?

Марфа Михайловна была совсем не похожа на барыню, да еще княгиню. Полная, немолодая, с круглым лицом и очень черными прямыми бровями, одевалась она небрежно. На старой вязаной кофте не хватало пуговицы. Но лакею она приказала твердо и по княжески властно отныне в покои к ней приносить не четыре, а шесть унций конфет.

– У меня воспитанница, – кивнула она в сторону Параша.

Княгиня... Глаза у нее темные, ласковые... Княгиня... А комнатка на антресолях маленькая и низенькая. Ни золота, ни лепнины. И свечи в подсвечники лакей вставляет обгорелые, вынутые из люстр.

– Ну, будешь меня слушаться?

– Как же иначе? Вы ж княгиня!

Большая грудь Марфы Михайловны заколыхалась от смеха.

– Меня здесь не больно чтут. Приживалка и есть приживалка. А что, слуги тебе уже насплетничали?

– Нет. Но если бы вы и не княгиня были... Я бы все равно вас слушаться стала.

Темные глаза внимательно взглянули на Парашу.

– Молодец. Умница. А ты на деревенскую совсем не похожа. Какая тоненькая. И... сообразительная. А я настоящая княгиня. Потому что царского рода, и фамилия моя – Долгорукая.

– Как у Наталии Борисовны?

– Э, да ты и о ней знаешь? Ее мужу я родственница дальняя, а вашему барину и вовсе седьмая вода на киселе.

Между тем лакей принес пышущий жаром небольшой самовар, блюдо с пряниками и вазочку с конфетами.

Марфа Михайловна протянула Параше леденец, пахнувший грушей:

– Ешь.

Параша зажала леденец в кулак:

– Я сестренке. Матреше. Она еще леденцов не пробовала.

– Ешь. Сестренку не скоро увидишь. Так вот... Княгиня-то я княгиня, но... Пустоцвет. Муж рано умер, детей нет. Наследство все супруг успел по миру пустить. Если бы не

барин ваш, не знаю, что бы и делала. Хоть по миру иди...

– Барин-музыкант?

– Ты о молодом, что ли? При чем здесь молодой? Нет, не Николай. Петр Борисович. Но и Николай никого не обидит. Дай им Господь счастья. Я тебе все расскажу. С дворовыми не положено о господах, я вот молчу и молчу. А с тобой много говорить будем. Вот это знаешь что?

– На балалайку похоже чуточку.

– Гитара.

Марфа Михайловна тронула одну струну, другую, третью. Звук был не верхний и не короткий, как у балалайки, он начинался где-то внутри инструмента, нарастал и длился долго, обрстая дополнительными тонами.

– Можно?

Параша взяла одну ноту, другую. Вот так будет «Барыня», так – песня про речку.

– О, да ты очень... сообразительная. У тебя к музыке большая склонность. Будем с тобой заниматься.

– Каждый день?! – и столько в голосе восторга.

– Каждый, – пообещала Марфа Михайловна.

Вечером княгиня взяла свечу, вышла в коридор и открыла соседнюю комнату.

– Твоя, – сказала Параше.

Совсем крохотная светелка – лежанка да комодец.

– Иконка где? – спросила девочка.

Помолиться о матушке, батюшке, братцах, сестрице. Что-

бы были здоровы, чтобы батюшка меньше пил и никого не гонял...

– Какая же ты умница, – княгиня вернулась в свою комнату, сняла с наугольника и поставила на Пашин комодик иконку Казанской Божьей Матери.

Но молиться в тот вечер девочка не смогла. Чуть вспомнила отчий дом – так потянуло в привычное, к матушке на широкую кровать под овчину, что она заплакала. Простыня тонкая, холодящая, шелковое стеганое одеяло не грело ее маленького тельца. Ничто не было таким милым, как дымное грязноватое тепло родимой хаты. Ни мышка здесь не скребется, ни сестренка не плачет, ни батюшка не храпит. Она одна в темноте. Плакала она тихо, про себя, но Марфа Михайловна все же услышала редкие всхлипы. А может, просто догадалась. Вошла:

– Бери постель – и ко мне на лежанку.

Они лежали рядом, глядя на диковинные переплеты полукруглого окна, чуть проступавшие сквозь мглу. Луны не было. Шумели деревья, по верхушкам которых гулял ветер.

Вот случилось то, что должно было случиться и чего она всегда неосознанно ждала. Сама она стала другой, и вся жизнь потекла по-другому. Но как трудно, как тяжело ее менять и самой меняться. Это только в сказках легко сбрасывается лягушачья кожа, будто она и не прирастала к плоти.

– Ты поплачь, поплачь, не стесняйся, – Марфа Михайловна чувствовала, что Параша пытается подавить всхлипы, и

неожиданная чуткость девочки ее тронула. Она протянула руку, чтобы погладить Пашеньку по голове, и поразилась тому, как страстно, открыто откликнулась на ласку воспитанница. Она прижала руку княгини к своей мокрой щеке и гладила ее, как отдельное самостоятельное живое существо. Да так и заснула.

Паша еще мала. Она во сне еще летает и из дальнего верхнего угла хаты, там, где иконы, с потолка смотрит она на спящее свое семейство. Но лишь материнское лицо, одно во всей комнате, ровно освещено невесть откуда текущим светом. И от лица того не оторвать глаз – изможденное, болезненное, несчастное, оно красиво и тянет к себе, как музыка.

Темными бугорками на полу братцы под овечьими шкурами. В люльке младшенькая – Матрена. А изогнутая, странная тень на лавке – отец. Если б не он, прилепилась бы к теплу плоти, к матушке либо к братцам. А отец – вовсе и не отец, а чудище сказочное, доброе и страшное одновременно. Ужасны его рыдания, сотрясающие лавку. Пожалеть? Нет, улететь отсюда. Убежать, не показываться. А на улице вроде бы мороз, в окошечке луна в радужных кругах.

Ей снилась в ту ночь музыка – цветные вихри, по велению молодого графа сплетающиеся в фантастические узоры.

Во сне она то плакала, то что-то невнятно и бурно говорила.

А стареющая княгиня Марфа Михайловна Долгорукая, не знавшая материнских радостей, впервые в жизни боялась по-

тревожить детский сон. Рука ее затекла, онемела, а она все прислушивалась к девочкиному дыханию, сбивавшемуся судорогами ушедшего плача.

Утром княгиня проснулась другим человеком. Вместо привычных скучных мыслей о бессмысленности существования пришли иные – о Параше. Нежность и жалость, странная тревога за хрупкое существо будили в ней желание защитить девочку, передать ей все, что было накоплено за жизнь и не востребовано никем и никогда.

– Я научу тебя французскому, хорошим манерам, танцам.

– Еще гитара...

– Сольфеджио и клавесин. Как хорошо, что ты хочешь учиться. Не все дети таковы...

– Не всех берут во дворец, – сказала Паша и про себя подумала, что она сделает все, дабы стать вровень с теми, кто окружает молодого барина. Под стать им и лучше их. Чтобы он удивился, чтобы он восхитился, чтобы он... Слова «полюбил» в ее детском языке еще не было...

...В Параше тоже многое изменилось в ту ночь. И здесь, во дворце, у нее появился свой родной человек. Не мама, потому что только у мамы между бровями оспинка, которую Параша всегда целовала перед сном, и сразу спокойствие защищенности обступало ее, не давая пробиться ни одной тревожной мысли. Не мама, потому что только у мамы такие сухие, пахнущие травой волосы. Только у мамы такая походка: ходит рядом, и все на свете – как надо. Только у мамы такой

голос – волнами, вверх, вниз, вниз, вверх, слов через сон не разберешь, но знаешь, что они добрые.

Но и к этой женщине можно броситься в случае беды, но и к ней можно прижаться в опасности.

Капризно желание и неотвязно – вновь и вновь слышать повторяющееся сочетание нот. Что-то требует вывести из небытия мелодию, а усилие вознаграждается волнением и удовольствием.

...Едва проснувшись, в ночной рубашке кинулась к гитаре. Мотив крутится в голове, но живые переборы, она знает, богаче.

Ах, какая досада? Марфа Михайловна остановила: успеется. Параша поняла, что не вольна в своих желаниях. Княгиня дернула шнур, и сразу пришла знакомая уже девушка. В соседней комнате облила девочку теплой водой из красивого фаянсового кувшина над медной лоханью.

– И тело, тело мой.

– Я вчера мылась.

– Здесь надо каждый день и с головы до ног. Велено с тобой, как с барыней, Я к тебе горничной приставлена.

– Какое мыло мылкое...

– Здесь все такое. Повезло тебе. Молодой барин распорядился: барышней жить будешь.

– А тебе повезло? Ты откуда? И звать как?

– Настей. Из Маркова. Тоже повезло.

– По мамке скучаешь?

– Нет, – и девушка протянула Параше пушистое полотенце, пахнущее мятой.

– А я скучать буду. У меня братцы. Матреша...

– Пройдет. От хорошего к плохому не тянет.

Настя принесла в комнату Марии Михайловны грудку одежды.

– Похолодало. Вот по погоде.

Ярко-синяя кашемировая юбка, черная шерстяная кофта, высокие ботинки на шнурках... Видели бы братцы ее в таком наряде... Посмотрелась в зеркало, и снова к гитаре.

– Да ты посмотри остальное, развесь, – опять остановила Марфа Михайловна.

«А гитара?» – хотела было возразить княгине Параша, но та уже рассматривала одну вещь за другой, встряхивая, поворачивая каждую перед глазами.

– Прелестная пелерина. Смотри, Прасковья, платье для праздника – с фижмами. Такое не каждой дворянке позволено, только дамам высокого класса.

И Параша втянулась: увлекательно представлять себя в таких замечательных нарядах. Увидела бы ее в этом матушка! Нет, не матушка, а Ванька-куафер, назвавший ее дурой. Нет... И легкий холодок в горле и в сердце – конечно же, он? Конечно он, молодой барин. Он любовался ею, когда она была в сером и грязном, а в этом-то... Ленты, ленты какие! Целый ворох, ярче цветов – горят каждая своим огнем.

– Для барина эту вплету. Или эту.

Красный, алый, малиновый шелк вспыхивал от одного прикосновения, и Параша забыла, что не одна, вслух сказала то, о чем и про себя думать не должна.

– Для барина? – удивилась княгиня. И засмеялась: – Ему не до нас. Уехал наш Николай Петрович надолго.

– На неделю? – в ужасе спросила Паша, Она-то думала, что нужна ему, что вот-вот позовет он ее к себе, и непонятная жизнь станет понятной. Он будет с ней заниматься музыкой, разве не так?

– Ну, что такое неделя? Надолго.

– Как это?

Померкли ленты, в углах резкими стали черные тени.

– Ну, может, и я дождусь. А ты вырастешь. О годах речь. Сначала в столицу, в Санкт-Петербург, после в Париж – на тамошние театры взглянуть. Да еще в Германию, философией Николая интересуется, а еще в Голландию, в Лейден.

– Чтобы лекарем стать, – упавшим голосом добавила Паша.

– Все-то ты знаешь. Да что с тобой? Не стой, как столб, покружись.

Параша, как кукла, крутилась вокруг своей оси. Кому они нужны, эти наряды?

– Присядь вот так и пальчиками за подол. Ниже. Улыбнись. Да ты, видно, устала. Без манер в театре нельзя. Нигде нельзя, разве в деревне, если коровам в коровнике хвосты

чистить.

«Но ведь когда-нибудь он вернется. И тогда она поразит его не нарядами. Учиться! Научиться всему, что умеют эти, здесь, сделать этот дом своим, эту жизнь – своей. Стать равной... Стать лучше... Ничего не случилось. Главное – не рыдаться...»

На гитаре она научилась играть быстро. Да так хорошо, что получила похвалу от Кордоны, настоящего гитариста, приглашенного заниматься с музыкантами из оркестра.

– Хочешь на клавесине попробовать? – спросила княгиня.

– Хочу!

...Параша подумала было, что клавесин – это огромная толстая гитара, прислоненная к дивану в музыкальной гостиной.

– Нет, это виолончель Николая, – объяснила Марфа Михайловна. – Одну ее он во всем мире и любит. Гости приедут, а он и поздороваться забудет, а то и проводить не выйдет, если играет. Батюшка его упрекает, а он: «Не властен я перед Орфеем».

И она, Параша, не властна. Тогда в парке на празднике далеко унесли ее волшебные волны. Погладила Параша лаковый бок виолончели, которая больше ее самой и для больших его рук создана.

А клавесином оказалось нечто, похожее на конторку.

– Вот клавиши. Оттого и клавесин.

Когда княгиня подняла крышку, девочка увидела струны. Нажмешь клавишу – перышко подцепит струну. Поначалу разочаровалась: не певучий звук, короткий. Но с балалаечным не сравнить. Балалайка-балаболка, брунька, да и все. Звук прыгает, щекочет ухо, дергает за ноги, заставляя их приплясывать, вот и вся радость. Звуки же клавесина, хоть и прерывистые тоже, но блестящие, холодноватые, и каждый заставляет любоваться собой. Под стать дворцу, хрустальным его люстрам.

– Нравится?

– Очень!

– Будешь учиться?

– Да. Сейчас.

– После обеда начнем.

– Я не хочу обедать.

– Я хочу. После обеда поиграем.

...Такой целеустремленности Марфа Михайловна в прежних своих воспитанницах не встречала. Это и трогало ее, вызывая новый прилив симпатии к девочке, и немного огорчало. Ей хотелось баловать Парашу, нежить. Небось в деревне своей на картошке-моркошке да овсяных киселях росла, пусть отведаст нынче и легкой ухи, и карпа печеного, и фруктов заморских, и взбитой сметаны, соусов разных и компотов. Ест, а не видит, что ест – без разницы ей, равнодушна девочка к еде. Вилку и нож сразу верно взяла, спину «держит» – будто от рождения только так и ела, с салфеткой и на

фарфоре. Аристократка, да и только.

В семилетней Парашеньке кроме свежей притягательности детства улавливала женщина еще что-то, и это – неопределимое – заставляло не только любоваться чистой, наивной девочкой, но и всерьез служить ей. Чуть позже она поняла почему.

Месяца через два потребовал Пашу к себе «на просмотр» Смагин, чтобы решить, чему обучать ее и как. Через руки Федора проходили десятки крепостных детей, «взятых на театр».

– Повтори мотив: ля-ля-ля-ля...

Повторила в той же тональности. Не напрягаясь, не мучась, легко, как птица.

– Э, да у тебя исключительный слух. Без фальши.

Федор взял со столика деревянную трубочку, прошелся пальцами по клапанам.

– Можешь повторить голосом?

Музыкальная фраза была длинной, но Паша запомнила ее сразу. Больше того: она повела мелодию, стараясь, чтобы голос был «верхним». Талантливо и точно она подражала флейте. Но в последних тактах дала голосу вырваться из проложенного флейтой русла и рассыпаться, сверкая веселой солнечной россыпью.

Смагин вздрогнул – как ворожит, волнует неповторимой свободностью внезапная игра!

– Тут Божий дар, – сказал он княгине.

А ей и не нужно была говорить, она лишь подтвердила для себя собственное открытие. Николай Петрович не знает, какое чудо приобрел. К его возвращению приготовит она графу подарок – настоящую певицу. Приму.

А Смагин решил так:

– Сольфеджио сам преподам. Степан Дегтярев начнет обучать пению. Французскому – у мадам Дюврин, у нее дикция всех лучше. Грамоте и манерам – у княгини. Поняла, Прасковья?

Она поняла. И впервые вечером не дала себе заскучать по дому. Зато составила с Марфой Михайловной точное расписание на завтра.

Утром присутствовать на репетиции, посмотреть, как расппеваются Беденкова и Дегтярев, как разучивают они присланные барином арии.

После – французский, «разговоры».

Пройдет обед – пойти в библиотеку и все из книг узнать о картинах, что в Кускове развешаны – по какому поводу, на какой сюжет художниками писаны.

Затем, как приедет Кордона, играть на арфе.

Про клавесин непонятное расспросить у Джовани, он тоже приедет к музыкантам.

– А побегать? Поиграть дитю надо? – попыталась княгиня сбить напряженный ритм жизни, предложенный девочкой.

– Поиграет дите, поиграет, – кинулась к ней Параша. –

Танцы, запишите еще мне на завтра танцы. И... В субботу возьмите с собою в настоящий театр, я у Медокса ни разу еще не была.

Обняла Марфу Михайловну, схлестнув тонкие ручки вокруг шеи. Та и растаяла, и зашлась жалостью к невесомому, хрупкому существу.

– Как знаешь, Пашенька. У Медокса господа всегда держат ложу для актеров, да и из графской нас с тобой не выгонят. Но... До Москвы из Кускова путь неблизкий. Не видела, чтобы в малые годы...

– Не дитя я, милая княгиня! Книжка у вас, «Кларисса» называется... Можно почитать?

– Рано тебе. Про любовь, – пролиставла княгиня наскоро модный роман Ричардсона. – А впрочем, все пристойно. Читай, если не трудно.

– По-русски мне не трудно. Я и по-французски уже немного могу.

Удивительная девочка...

...В библиотеке Шереметевых, богатой и разнообразной, немало оккультных книг. Отец старого графа фельдмаршал Борис Петрович по просьбе Петра Первого и по собственной склонности завел связи с масонами, плавал на Мальту, был принят самим магистром Мальтийского ордена. Тайное знание прельщало в свое время и Петра Борисовича, и его тянуло заглянуть по ту сторону бытия. Да и молодой барин

Николай Петрович, в самые чувствительные отроческие годы переживший смерть младшего брата, матери и любимой сестры, тоже не чужд был метафизических поисков.

Из всех трудов, пытающихся объяснить природу мира и человека, Марфа Михайловна выбрала тот, что попроще. Потрепанная книжечка лежала у нее в нижнем ящике комода, подальше от святых икон, рядом с колодой карт таро. И по ней, по этой книжечке, княгиня от скуки гадала на всех окружающих. Узнав дату рождения Прасковьи, она составила простейший гороскоп.

Получалось, что перед Парашей лежит путь прямой и блестящий, прямо наверх в высшее общество.

По астрологическим календарям, западному и восточному, она была Львом и Крысой.

«Львица первой декады, – читала княгиня девочке, – создание безусловной солнечной яркости. Знак полновесно золотой: энергия, уверенность в себе и своих целях, благородство, спокойствие и щедрая открытость».

– Открытость – это точно, ишь как меня к себе привязала этой открытостью. Ласкова, душевна без фальши...

Словно подтверждая нарочито ворчливые слова воспитательницы, девочка потянулась к ней. Как легки и приятны ее объятия.

«Львица все принимает храбро, переживает полно и откровенно».

– Теперь про Крысу. «Крыса – знак существа сильного,

имеющего неоглядную стремительную волю в осуществлении своих планов. Именно эта воля на скорости пронесит Крысу над всей житейской грязью. Эта же воля движения вперед (Крыса сметает все на своем пути) помогает ей отрываться от себя вчерашней, не разрывая, не губя печалью и унынием душу».

Многое из предсказанного домашним гороскопом уже сбывалось. Выплакав тоску по отчужденному дому в первые свои дворцовые ночи, девочка перевела стрелку душевного барометра с «пасмурно» на «абсолютно ясно».

Молодой граф хочет, чтобы она хорошо пела. Ей и самой этого всегда очень хотелось. Для того чтобы быть нужной, полезной Шереметевым, придется получить определенные знания – она их получит, тем более что ей и самой интересно читать романы – русские и французские.

Она совершает ошибки и еще долго будет совершать их, начинать все заново. Но у нее есть друг – добрая и смешная княгиня Долгорукая.

Паша работала ежедневно, ежечасно, как работают взрослые, сознательно идущие к своей цели. Да у нее и была цель – она ждала. Ждала и не понимала, почему не появляется он, почему застрял в этой самой Европе, почему не спешит оценить происшедшие в ней перемены. Как умело она поет с листа, как верно говорит по-французски и по-итальянски, как танцует сложный менуэт, как кланяется, как ест на тонком

французском фарфоре и серебре, пользуясь ножом и вилкой.

Открытая всем и во всем, об этом своем ожидании она не говорила никому. Марфа Михайловна по-прежнему радовалась ее исступленному усердию и немного пугалась его. Конечно, ни в каких своих мыслях она не связывала ребенка и взрослого мужчину-аристократа. Этой девочке, думала княгиня, еще долго болтаться по дворцу на тонких ногах, кидаться к своей воспитательнице и обвивать ее толстый стан своими худыми девчоночьими руками. Княгиня, если честно, была рада, что нет в Параше той прельстительной наглой красоты, которая влечет представителей другого пола, словно мух на мед. Вот Николай – и добр, и умен, и греха боится, а сколько девок испортил! Барину положено, но ей почему-то очень не хотелось, чтобы это «положено» распространялось на старательную не по годам и не по годам умненькую Пашеньку. Остается радоваться, что пышного расцвета не ожидается. Бог с ней, с красотой. Было бы счастье, а невидность – защита для милого дитяти низкого происхождения, но высокой души...

К зиме Кусково обычно замирало, жизнь из усадьбы перемещалась в Москву, в дома Шереметевых на Воздвиженке и на Никольской, В этот раз далеко не все уехали из летнего дворца. Из Европы пришло распоряжение: начинать подготовку к строительству нового театра и созданию труппы.

Старый театр Шереметевых с отъездом за границу наслед-

ника благополучно почил в бозе. Актеры брали уроки пения и отрабатывали балетные экзерсисы, но спектакли не ставились. Ходили слухи, что Николай Петрович: берется за дело основательно и будет равняться не на домашние театры Голицыных или Апраксиных, а на профессиональные – антрепризу Медокса берет в образец, а то и выше, парижскую Гранд-опера, недавно открывшуюся, но уже прогремевшую на весь мир. Он присылал модные оперные клавиры, отобранные замечательным французским музыкантом и другом графа Иваром, приказывая певцам и певицам «примериться» к той или иной партии заранее. «Совершенствоваться будем, когда приеду», – писал молодой барин старому. Вылезать в свете с чем попало «заграничный» Шереметев не хотел хотя бы потому, что не потерял надежду доказать высшему обществу: служение искусству – дело серьезное и не менее почетное, чем статская или военная служба.

Та зима была девятой в жизни Параши. В ту зиму вечерами светились окна актерских флигелей. И в барском дворце топили несколько комнат. Поэтому никуда не двинулась со своей воспитанницей Марфа Михайловна. На антресолях временно поселилась и большая семья художника Ивана Аргунова. Привезенный из Останкина, Аргунов должен был к весне написать несколько задников и занавесов по эскизам знаменитого художника и архитектора Гонзаги. Проект нового кусковского театра был уже готов и составлен с учетом всех парижских веяний. Делать декорации Ивану помогали

сыновья Павел и Николай. Погодки Параша, один чуть старше нее, другой чуть младше, мальчики работали по-взрослому: растирали краски, закрашивали большие однотонные поверхности в нужный цвет, резали ткани. Особенно тщательно и умело все это делал младший, Коля.

Тихий, погруженный в работу, он был совсем не похож на деревенских мальчишек, затевавших опасные шумные игры, и тем нравился Параше. Ей нравилось над ним подшучивать, с первой их встречи она знала: дана ей над мальчиком странная власть.

– На горку пойдём? И пруд замерз.

– Нет, – отводил глаза мальчик. – Я рисовать буду.

– Меня нарисуешь?

– Нет, до портрета еще не дошел. Мертвую натуру могу...

Кувшин...

– Фи, как скучно... Ну и рисуй свои мертвые горшки. А ты, Павел, пойдешь со мной?

Павел шел. Но было это совсем неинтересно. Потому что он не краснел под ее взглядом, не опускал ресниц, не отдергивал руку, нечаянно коснувшись ее руки. Меж ними не возникало той связи, какая возникла меж ней и Николаем, меж ней и мальчиком-куафером, который всегда особенно смотрел на нее в зеркало, закончив стрижь и причесывать.

Впрочем, и о Николеньке, и об ученике графского парикмахера она думала лишь в те минуты, когда они были у нее перед глазами. Все же другое время – о молодом барине.

Настанет день, и он придет. Она с разбегу бросится к нему, как бросается дочь к отцу. Он поднимет ее к лицу, и близко-близко будут высокая шея, мягкие волосы и серо-синие с поволокой глаза.

...Возможно, первоначально любовь к Николаю Петровичу родилась в ней из естественной дочерней тяги к мужскому, отцовскому. Она как бы дочь, он как бы отец. Параша рано была взята из родительской семьи, отцовских ласк, как и материнских, ей не хватало. Материнские хоть частью восполняла милая княгиня, отцовские же... Они особенно были нужны, потому что и раньше, в малые годы, отношения с отцом складывались у нее непросто. Параша и тянулась к Ивану, и отталкивалась от него, жалела и ненавидела его одновременно. В минуты пьяной муки отец проговаривался, жаловался на Варвару. Нелюбовь матери и пьяные драки унижали его, а значит, и Парашу, его любившую. Такой же любимый, но другой – сильный, удачливый, красивый – вот кто был ей нужен. Самый лучший. Как Николай Петрович.

Но случайное впечатление дало совсем иное направление эросу, разлитому в клетках детского еще тела...

...Прошло Рождество со скромной унылой елочкой для дворовых детей. Прошел Новый год со звоном часов в отапливаемой гостиной. Кусковские, среди них и Параша, были отпущены на день домой, в деревню. Только в родной хате Паша поняла, как по-разному живут люди в этом мире. И

еще осознала, что существование без музыки и книг для нее пусто. Дома все было прежним, она же стала другой. Рядом с любимыми и родными людьми она – гостья.

Пришли святки – с разгоном саней, с ряжеными, с бессонными, бестолковыми ночами. В одну из таких ночей собрались ребята, жившие в господском доме, «чертей погонять».

В ту ночь все выглядело таинственно: лес, отбрасывающий резкие тени на поляну, огромная луна в морозном небе, дальняя барская баня, в которой три года назад отмывали Парашу от деревенской грязи. Из трубы заброшенной мыльни шел дым. Что бы это значило? Укрылись за сугробом, замерли.

– Ой, второе окошко засветилось, – громко шепчет Анна Буянова, старшая из воспитанниц, живущих при барах в Кусковском дворце.

– Кто?.. Кто там? – Аргунов Коля всматривается так напряженно, что всем кажется (а может, оно так и есть?), будто во втором окне мелькают тени. Павел поеживается. Видно, что и ему страшно. И Анна не строит сейчас из себя взрослую. В заиндевелых ресницах испуганные глаза:

– А вдруг?..

– Вдруг черти, да? – Параша прижимает руку к горлу. – Мне богомолка рассказывала... Положила она в сочельник гребень под подушку и нашептала: «Суженый-ряженный, приди косу расчеши...» Без молитвы легла. Пришел... На копытах и с рогами. Расчесал: полкосы выдрал.

– А-а-а! – отпрянули от Параши ребята. Малолетняя Таня Шлыкова от страха крепко зажмурилась.

– Чур! Чур! – истово крестится Параша.

И в этот самый миг от бани донеслись голоса, при луне стали видны две фигуры. Никак голые? Или то отсветы? Как молоко. Мужчина и женщина по пояс в снегу играли друг с другом, бегали, кидались снежками.

– Никак люди? Что они там делают?

Анна скорее всех смекнула, что к чему:

– Чертей гоняют.

Что-то неясное слышалось в насмешливом ответе Анны. И любопытно, кто из кусковских мог быть в эту пору в бане? Неведомая сила тянула Пашу туда, за белое снежное поле.

– Чертей? – приподнялась на локте. – Пойдем : поближе, посмотрим.

Но кроме нее никто не решался идти через открытую, страшную поляну. Павел так и сказал:

– Боязно.

Николай мялся:

– Поздно. Батяка ругать будет.

– В святки-то? – не поверила ему Параша. – В святки все до утра гуляют.

– Ему что святки, что не святки. Кисть в руку, и крась.

Малолетка Танюша не в счет. И Анна не из тех, кто рвется в неизвестное. Зато другого подначить – это пожалуйста. Отвела заснеженной vareжкой кудряшки от зеленых хитрых

глаз:

– Дуй, Паша, сама. Суженого увидишь, узнаешь, как зовут.

– Она знает, – вырвалось у Николеньки Аргунова.

Нарочито грозно вскинула Паша брови, схватила мальчика за воротник.

– Так это ты мне отвечал, когда я за ворота валенок бросала? Где прятался?

– За углом.

– Значит, неверное мое гадание... А я-то думала, что «Николай».

Анна хохочет:

– Ты бы спросила: «Какой Николай мне мужем будет?»

Он бы ответил: «Аргунов».

Игра игрой, но мальчишеское лицо напряглось, не нашелся Николай ответить шуткою. И Параша сосредоточена, но подругой причине. Будто кто ее толкает: иди, иди туда, через поле.

– А я... Обегаю все-таки... – азартно на душе, лихо, хочется страшного и таинственного. – Кто бы ни был, черт ли, человек ли... Напугаю. Николаша, размалюй меня. Ты уже был выряженком?

– Не был.

– И я в ряженных не ходила.

Скинула заячий свой тулупчик, вывернула серым мехом вверх. У Николаши уголь и мел с собой, обвел ей кругами

глаза. Павел приделал под платок кудели и пристроил рожки из палочек – коза и коза. Параша забрала и спрятала в варежку уголек и вышла из засады.

Ух, как делается жарко, если идешь такой долгий путь по снежной целине и с каждым шагом утопаешь все глубже и глубже. Еле взобралась на крыльцо. Прежде чем встать на завалинку, она ловко поставила крестики углем на дверях бани, наличниках и нескольких бревнах. Берегись, нечистая сила!

Подтянулась и вплотную прижалась к стеклу.

...Там, внутри, в клубах пара молодой граф ласкал девку тяжеловатой царственной красоты. Параша ее узнала: Беденкова Татьяна, среди крепостных певиц – первая. Параша не раз любовалась и ею, и ее голосом на домашних концертах у старого графа. Заслушивалась, засматривалась на бесстрастное правильное лицо с высоким выпуклым лбом и крепким подбородком. Сейчас это лицо было совсем другим, искаженным: закрыты глаза, закушены губы. Распущенные косы Татьяны накрывали плечи и спину Николая Петровича, а полно налитая грудь девушки была обнажена. По ней и бродила прекрасная, большая, чуткая мужская рука, и как только она касалась соска, по лицу и телу Татьяны проходила судорога. Рука замирала на миг...

Ощувив на себе взгляд, Беденкова открыла глаза и закричала, увидев в окне страшную рожу.

...Лицо в лицо, глаза в глаза смотрели друг на друга эти

двое: мужчина и девочка.

Параша оторвалась первая и скатилась в снег клубком. Когда граф выбежал на крыльцо, накинув на голое тело шубу, девочка была уже далеко. Она проваливалась в снег, но быстро выкарабкивалась, оставляя за собой глубокую неровную борозду.

Одну варежку Параша обронила на крыльце, и граф поднял ее. Следом за барином на крыльцо вывалилась девка в чем мать родила и повисла на графе:

– Ой, Николай Петрович, святочная невеста вам залог оставила, по рукавичке ее и найдете.

– Мала, – положил осторожно на завалинку детскую рукавичку.

– Подрстет...

– Кто? Кто там? – кинулись к Паше дети, как только она перекатилась к ним за спасительный сугроб.

– Не знаю, – соврала. – Стекло запотело, не видно.

Никому не сказала о том, что видела. Марфу Михайловну утром небрежно спросила, не приехал ли молодой барин из Европы.

– Не слышала.

– А если приедет, сразу сюда, в Кусково?

– Ну что ему зимой в глуши делать?

Вглядывалась Параша в Таню, ради которой тайно приехал из Москвы Николай Петрович. Татьяна все такая же спокойная, ко всему безразличная. Уж не приснилась ли ей,

Параше, сцена в святочной мыльне? Или не приснилась?

3

Лучше бы ей тогда не заглядывать в запотевшее оконце. Остаться бы там, за сугробом, и не знать...

Забыть бы...

Видение не уходило и мучило ее мгновенно накатывавшим волнением. Эта рука... Такая знакомая, опечатавшаяся в памяти давно, еще до ее отчаянного похода к мыльне. Вот рука, рука дирижера, приказывает музыкантам вывести из небытия мелодию. Вот держит Матрешу, обнимая крохотное тельце снизу и с боков: рука лекаря... Вот мягко задерживает Парашину руку – такая теплая и мягкая, рука доброго и любящего отца... И вот...

Можно ли назвать чувство, которое охватывало девочку, ревностью? В каком-то смысле да: ей хотелось привлечь внимание Николая Петровича, она мечтала нравиться ему, поражать его своими успехами и талантом к пению. Но хотела ли она быть на месте Беденковой? Невольно она пыталась ответить себе на этот вопрос. Обнять, поцеловать – это одно. А так... В том, как графская рука ласкала взбухшую плоть, были и мука, и музыка, что-то такое, чего она не могла понять.

Вот, значит, для чего существует женская грудь. Ею не только кормят детей, но еще и прельщают мужчин настолько, что они готовы, как молодой барин, ехать тайно, издалека,

чтобы в заброшенной мыльне ласкать ее. Вот почему актрисы поднимают бюст корсетом и носят платья с большими декольте, выставляя свои достоинства, как товар на прилавке...

Но что-то природой намечалось и у нее и поначалу заявило о себе туповатой ноющей болью. Однажды она случайно прижала ладонь к соску и обнаружила, что под ним набухла плоская «пуговка». Дотронулась до нее уже сильно и не случайно. Все тело откликнулось на это прикосновение, словно туго натянутая струна. Болезненное чувствилище шло сверху вниз от груди к животу и ниже, пропуская через себя мучительно-острое ощущение. Отдернула руку от груди: скорее неприятно, чем приятно. Но, представив в следующий миг, что по ее телу бродит его рука, Параша будто накрылась сладкой и душистой волной. Нет ничего желаннее на свете, не может быть...

Прежняя тяга – дочерняя, расплывчато-нежная, сменилась острой и чувственной женской.

Чахотка, гнездившаяся в маленьком теле от рождения, обостряла все нервные реакции и разжигала чувственность. Поленья в костер подбрасывала постоянно и музыка. Лаская слух, она, казалось, гладила и кожу Так задуманы все итальянские арии: прикосновение, отлив и прикосновение еще более настойчивое и нежное. О том же греховно-сладостном твердили романы, которые Параше перепадали от наставницы-княгини. Откровенно скабрёзных Марфа Михайловна не держала, но и благопристойные были сентиментальными

гимнами любви, и они намекали на то, что происходит между женщиной и мужчиной. Не договаривая всего до конца, они еще сильнее будили любопытство – точно так же, как многозначительные перегляды актеров и артисток на репетициях, «случайные» прикосновения, непонятные намеки...

Да что там среда! Что музыка! Что окружение! Что романы! Само время возбуждало ту самую энергию, которая, говорят, движет мирами, – энергию взаимного притяжения двух полов.

Шел изощренно-чувственный – «галантный» – восемнадцатый век. Приближался к своей вершине век удивительный, стоящий особняком в истории человечества. Мыслители-аристократы говорили: кто жил до нас, тот не жил вовсе.

Еще бы! Абсолютизм дарил своим знатым сынам блаженную праздность. Екатерина Вторая, издав указ о вольности дворянства, разрешила своим подданным, владельцам поместий и вотчин с крепостными крестьянами, лишь по мере желанья нести службу как в армии, так и при дворе. Никаких обязанностей, одни права и полная обеспеченность за счет труда черни. Пусть эта чернь стенала от непосильной нагрузки, кормя и обслуживая трутней, пусть бунтовала, выдвигая «своих царей», таких, как Емелька Пугачев. Крепостная кабала становилась все жестче, а жизнь дворян все безоблачнее и беззаботнее. Эдем, рай на земле, да и только!

Часть высвободившихся сил дворян пошла во благо. Век восемнадцатый стал веком просвещения, веком расцвета ис-

кустства и науки.

Но как оценить ту могучую энергию, которая хлынула во все возможные сферы наслаждений?

Мода, еда, танцы, музыка – отныне все должно было ласкать и радовать утонченных бездельников.

Костюмы праздных создавались не для жизни. На непомерно высоких каблуках нельзя было ходить, а женские прически достигали такой высоты, что их обладательницам приходилось спать сидя. Сохраняя эти бессмысленные произведения парикмахерского искусства, дамы не мыли головы месяцами. Никого не смущало, что в полутораметровых постройках из волос заводились насекомые – ах, лишь бы привлечь внимание, лишь бы поразить свет и поклонников.

Мода предлагала такие изыски, какие могут возникнуть лишь при полной незанятости ума.

Запахи – мускус, амбра, эфиры из цветов.

Простые и ясные цвета Возрождения – алый, небесный, золотой – были забыты. Все хвалили «цвет блошиного брюшка», нежно-телесный (нежнее не бывает) «цвет живота монахини», «цвет каки дофина», то есть испражнений грудного младенца, «цвет гусяного помета» и прочее, и прочее.

И, разумеется, все эти ухищрения приносились на алтарь нежных чувств.

Смысл «галантности» в том, что женщина стала высшим из всех возможных наслаждений. Она воцарилась как носительница всего самого влекущего и лакомого. Ей поклоня-

лись, ей курили фимиам как олицетворению чувственных радостей.

Нет, не страсть и, конечно, не жалость или нежность считались любовью. Адюльтер, игра, но игра не на жизнь, а на смерть...

Танцевать менуэт – значило «чертить тайные знаки любви».

Пастушьи сцены, разыгрывавшиеся повсюду, превратились в публичный флирт: что ни жест, что ни слова – подслащенная скабрёзность.

«Ах, кто придумал одежды?»

«Безобразник; чтобы прикрыть свое безобразие?»

Опера не скабрёзна, но до чего чувственна! До чего эротична?

А эти плавные, ласкающие взор излишества барокко и рококо в архитектуре?

Словом, все об одном.

О, этот век страстных посланий, кокетливых мушек на лице красоток, томной бледности – следа «жестоких» чувств, век дуэлей и всяческих излишеств!

Он формировал своих детей по своему подобию. И формировал быстро, настойчиво. Мужское и женское начало в людях созревало рано. Двадцать лет для женщины – почти старость, в тринадцать лет девушка – уже прекрасный бутон. Десять – как будто еще детство, но...

Все веяния Параша ловила, как и положено чуткой, арти-

стической натуре, из воздуха.

Правда, как это бывает во все времена, каждый берет у эпохи свое.

Век восемнадцатый назначил высочайшую цену любви индивидуальной. Все эти тонкие игры не могли свестись к примитивному сексу и партнерству. Единственная? Единственный? Вот чего жаждала романтическая девочка.

Парашин покой взрывало видение: рука мужчины на полной женской груди – тусклая мелодия сладострастия. Но только потому, что это была Его рука!

Во всех мечтах и размышлениях только Он. Он – Николай Петрович Шереметев. И мечты о нем были столь размыты и столь туманны, что не давали увидеть четкие свойства отношений между мужчиной и женщиной в их физической реальности.

– Княгиня Марфа Михайловна! Княгиня! Миленькая! Родненькая! – Параша зарылась мокрым лицом в заношенный шлафрок, охватила тонкими руками расплывшиеся бока стареющей женщины.

– Что? Что случилось? – пыталась отодвинуть ее от себя Долгорукая, чтобы посмотреть девочке в глаза. – Да что с тобою?

Какая пылкая, какая нервная, однако, девочка. Какие горячие слезы! Капля упала княгине на запястье и обожгла. Милая ты моя! Прижала Парашу к себе покрепче.

– Ну, ну, рассказывай.

– Я... Я... Умираю. Я боюсь. В ад, я попаду в ад.

– О, Господи, – осела княгиня на канapé. – При чем здесь ад?

– Я о таком думаю, что и священнику на исповеди не скажешь. Бесовские искушения»

– Все думают, все грешны, Пашенька. На то и люди. Да ты про болезнь, деточка.

Девочка вдруг метнулась на ковер, упала на колени и снова зарылась лицом в халатную ткань.

– Кровь...

– Горлом? – княгиня похолодела, но спросила спокойно, небрежно даже. В уме прикинула, кто из лекарей остался в Кусково на зиму. Лахман? Нет. Фрезер? Вроде Фрезер. Потянулась было к шнуру – вызвать горничную или лакея.

– Нет! – схватила ее за руку Параша. – Болезнь у меня стыдная, как и мысли мои. Срамно сказать, откуда кровь.

– Уф, отпустило... – догадалась княгиня и заколыхалась в радостном смехе. Только тут она отметила про себя, как хороши были движения девочки даже в момент полного отчаяния. Не зря ее муштровала: «Спина! Держи спину!» Не зря ставила к станку рядом с танцовками. Сколько живой грации! И сейчас... Тонкая рука продолжает линию высокой шеи, длинные пальцы бегают по оборке лифа, грудка (как не заметила раньше – уже выделяется плавная возвышенность) вздымается часто, губы, опухшие от слез, шепчут: «Стыд-

НО-ТО КАК...»

– Перестань, милая. Это у всех.

– Как это?

– У всех женщин. Это означает, что ты теперь не дитя, а девица. И можешь детей рожать.

– Рожать? Как матушка? И скоро мне?

– Ну... Не просто так, ни с того ни с сего... Не сразу... Когда замуж выйдешь... – старая женщина смешалась: перед ней стоял ребенок. – Как рано у тебя, однако. Десяти нет... В наших краях девушки позже взрослеют, да и вообще ты смуглая и чернявая, как цыганка. На юге, сказывают, крови так рано приходят.

Больно кольнуло Парашу – знакомые слова, какими досаждали ей раньше, в селе. Значит, и княгиня думает, что кузнец не ее батюшка? Не знает Параша почему, но почему-то все это семейное, тайное стыдно. На матушку тень, на батюшку, значит, и на нее.

Замолкла женщина, молчит и Параша, низко опустив голову.

С досадой подумала Марфа Михайловна о Варваре Ковалевой. Тоже мне мать, не подготовила девочку, не предупредила. Но вспомнила, что отпускали Пашеньку в село два раза в год – на Рождество Христово и на Светлое Христово Воскресение. Это она виновата, это ее упущение. Как в холодную воду кинулась княгиня:

– Чтобы понести, нужен мужчина. Ты видела, как петух

топчет курицу? Ну, кот и кошка... Как кобель на псарне кроет суку...

Увидела искаженное ужасом лицо девочки. Нет, не то.

– Иди, Паша, отдохни, ты здорова. Горничная даст тебе ваты. Бегай меньше, в жаркую баню в эти дни не ходи, три или четыре в месяц таких дней будет.

...Оставшись одна, Марфа Михайловна попыталась вспомнить, как, когда, от кого узнала о тайной женской особенности. Не от маменьки, это точно. И не от мамамы. Как-то само собой узналось, от подружек, наверное. Непреодолимое отвращение к властной и темной силе пола возникло в ней позже, уже в зрелые годы, после короткого и неудачного замужества, и крепло год от года одинокой жизни. Она никогда не знала влечения, освященного чувством, а без любви все это и впрямь отвратительно.

Полюбившаяся девочка дернула за какую-то скрытую ниточку, в душе стареющей женщины что-то заныло. Ах, эти собачьи свадьбы... Нет, нет, не ей заниматься подобного рода просветительством. А что делать?

Параша не шла из ума.

Совсем не похожа на крестьянских детей. Те на все «такое» умом быстры, как звери. А эта... Такая нежная натура. Всегда чувствует, когда она, Марфа Михайловна, грустит. И как ненавязчиво пытается в эти минуты скрасить ее одиночество!

С некоторой грустью призналась себе княгиня: все, что

имела, уже передала воспитаннице. Все-все, что набрала в парижских, московских и петербургских салонах (немного же!), что вычитала из книг, открыла в жизни сама и взяла от многочисленных гувернанток. Сколько раз раньше пыталась превратить крестьянку в аристократку, но не больно получалось. С Анной Буяновой делилась «тонкостями», а толку? Видно, что «обучена», а сквозь эту обученность так и лезет в глаза вульгарность. Параша не Бог весть какая красавица, но что-то в ней есть... Посадка головы, стать, грация, живость природы в каждом жесте. И как идет вперед! Не остановишь. От клавесина ее не оторвешь, наизусть выучила всего Скарлатти. А уж гитара... Заезжая знаменитость Кордона, согласившись дать несколько уроков артистам по просьбе старого графа, занимался затем с одной Парашей. Восхищенно кричал, воздев руки к небу: «Да у нее дар! Дар, который беречь надо как зеницу ока!»

Как ни горько, размышляла Марфа Михайловна, а пора отдавать девочку во флигель для регулярных занятий. Ей нужны уже другие учителя. Не больно сладка судьба актрисы, но горше судьбы приживалки нет. Будет кормиться талантом, а не милостью, и потому пусть начинает работать вместе со всей труппой.

Нельзя так привязываться ни к кому. К чужим детям – нельзя.

Грустно подумала княгиня, что во флигеле, среди подружек, быстро пройдет Параша эту... собачью науку. Нашеп-

чут, расскажут. Сделают из ангела обычную барышню. И, вновь почувствовав себя не у дел в мире и с новой силой ощутив свою униженность и одиночество, княгиня дала волю слезам.

В слезах и застала ее воспитанница. Кинулась к Марфе Михайловне.

– Что? Что?

– Да вот, пора тебе... к театру поближе. Во флигель.

В ту ночь, как в самую первую, они спали рядом и долго переговаривались в темноте.

– Никогда вас не брошу, – клялась Параша, – каждый день навещать буду.

И после робко так:

– А может, можно еще пожить с вами? Пока молодой граф не приехал?

«Что же это я? Своими руками оттолкнуть единственное свое счастье, расстаться с ней раньше времени? До срока кинуть ее в эту грязную, страшную жизнь?»

– Оно-то и так. Пусть Николай Петрович сам все решает, – сказала княгиня и облегченно вздохнула. – Спи, Пашенька.

И сама скоро заснула.

Она все ждала и ждала, а молодой барин не ехал и не ехал. – И хорошо, что не едет. Ему не театр, ему семью надо строить, – высказалась как-то княгиня. – Авось с невестой явится. В тридцать лет не только жену, но и деток иметь положено.

«Нет! Нет! Нет!» – молча крикнула в ответ Параша. И чтобы Марфа Михайловна не увидела этого крика, опустила глаза на вышивание. Не туда стежок, и этот не туда. Запуталась нитка.

«Господи! Только не это, – молилась она про себя так истово, как делала это в церкви, упав на пол перед иконой. – Это конец...»

Его женитьба была для нее как смерть. Что есть у нее еще? Для того чтобы жить, ей нужно владеть им. «Царь сердца моего», – так вслед за библейской девочкой Суламифью могла она сказать о том, кого любила больше всех на свете. Воцарив его в своем сердце, Параша тем самым отделила его от мира и в себе заточила. Овладела им.

Граф и другая женщина с ним? Она даже подумать не могла о таком. Да, Беденкова была. Но это явное «не то», – со странным высокомерием рассудила Параша. Да и не может быть «то», потому что... Дальше она не хотела продолжать мысль и останавливалась. Вовсе не все подвластно сознанию,

оно умеет одно – подводить к тупикам и неразрешимым вопросам.

Справившись с первым ужасом, Параша теперь время от времени пугалась то одной, то другой мысли, связанной с возможным браком графа...

Вдруг она вообще больше не увидит его? Впервые осознала она свою малость. Ничто не зависит от ее усилий.

И снова падает сердце: а будет ли она петь? Вдруг барин забудет о своих словах и планах, если женится? Что тогда? Назад в село? Или, как Марфа Михайловна, всем барам до конца жизни низко кланяться за хлеб, за чай с конфетами?

Ожидая перемен и решения своей судьбы, она уже не могла мечтать вольно, как раньше, и только напряженно приказывала себе: жди и готовься. Единственным, что отвлекало ее от трудных мыслей, были французские романы. Тайком от княгини она брала из комода любимого Руссо. «Юлию, или новую Элоизу» она знала от корки до корки почти наизусть. Не слишком дотошно вникая в самую причину всех интриг, она проживала бурные страсти вместе с чуткой и нежной Юлией и огненным кавалером Сен-Пре. Сам ритм прозы уносил ее в неведомую, но желанную страну любви. Волнение, бушевавшее в ней, обретало форму.

«Ах, приди... Я протягиваю руки, но ты ускользаешь, и я обнимаю тень... Право, ты слишком хороша и слишком нежна, мое слабое сердце не вынесло. Оно не в силах забыть твою красу, твои ласки, чары твои сильнее разлуки, ты мне

повсюду мерещишься...»

Пусть! Пусть унылы и безотрадны обстоятельства! Она – Прасковья Ковалева-Горбунова, дочь горбатого крепостного кузнеца. Он – страшно подумать! – знатный вельможа». Но ведь в глубине души она знает; это случится. Значит, надо идти поверх того, что для всех непреодолимо. Как эти двое в романе. Юлия – знатная дама, Сен-Пре – разночинец, между ними стена, как между Парашей и графом, но они любят друг друга. Все возможно, когда душа обретает ту силу, с которой молния бьет в землю, ветер валит деревья, волна затопляет берег. Чудо возможно! Оно случится!

Параша входила в бесконечное одиночество отрочества не совсем обычно.

Куда проще такой порядок событий: пришла пора, и природа заговорила к сроку пробегающими по телу соками. Один поцелуй случайный, одно прикосновение – и влечение осознает себя.

Сложнее все происходит у Парашаши. Все начинается с мечты, с неясных детских предвосхищений. Первой просыпается мечта, а уж под ее воздействием тело. Тонкие энергии души просветляют энергии телесные. Возгонка возникших желаний идет снизу вверх, к сердцу, к мысли. Любовь перестраивает всю личность, далеко продвигая ее в развитии.

...Чем ближе был приезд в Кусково Николая Петровича, тем более частыми и более продолжительными станови-

лись занятия педагогов с актерами. Вокал теперь преподавали профессиональные певцы, и даже «первый сюжет» антрепризы Медокса Марии Синявская согласилась прослушать солистов кусковской труппы. Параша ее потрясла не только необычным тембром голоса и манерой пения, но и выразительностью исполнения...

Так чувствовать Монсиньи! Так понимать Гретри!

Замечательная русская певица полагала, что для этого надо прожить большую жизнь, быть женщиной, много любить и быть хоть раз любимой. Не может ребенок обладать опытом сильного чувства.

Ни Синявская, ни Марфа Михайловна – никто на свете не подозревал, что опыт был. Опыт долгого ожидания, опыт долгой и терпеливой любви, опыт бесконечных мечтаний, заменявших жизнь. Никто не оценил еще по-настоящему возможностей богатого воображения.

– Барин приехал! Барин! Молодой барин!

Носятся по двору слуги. Параша, спрятавшись за штору, смотрит, как он выходит из золоченой кареты, как точными жестами распоряжается, куда отнести сундуки, шляпные коробки, картины, статуи, упакованные в особые ящики, похожие на деревянные клетки. Она видит его руки. Отшатнулась. Показалось Параше, что смотрит он ей прямо в глаза. Нет, взгляд безразлично прошелся по верхним окнам дворца.

Тайна лица... Отмытость, чистота высокого поблескивающего лба. В том интересе, с каким Паша смотрела на барина, было что-то от непреодолимого интереса к человеку, говорящему на другом языке. В движении губ, бровей, глаз крылась тайна.

Граф ушел в свои покои, и это стало мучением Параша: хотелось вспомнить лицо Николая Петровича, а она не могла. Представляла линию скулы. Щурились синие с поволокой глаза. Взбегали на чистый лоб удивленно поднятые брови. Подергивалась левая щека и подрагивали пепельные локоны. Но все это порознь, все это не складывалось в таинственное прекрасное единство. Детали лица, не лицо.

О, смотреть бы на него, смотреть не отрываясь. Сейчас, завтра, всегда. И ничего больше на свете не надо.

Утром проснулась от удара счастья: он здесь. Он будет слушать, как она поет; будет проверять ее французский, ее итальянский. От одной мысли, что его взгляд остановится на ней, кружилась голова...

Но... Прошел день, второй, третий... О, как тянется время! У Марфы Михайловны попыталась выведать, почему барин не занимается театром.

– Дело молодое. Ленится или гуляет.

«С Татьяной?» – заныло у Паши в груди.

– Впрочем, – добавила княгиня, – жаловался на хандру. Может, недомогает.

Ему плохо, как ему помочь?

Наконец она столкнулась с ним. Увидев издали, заметалась. Вернуться, убежать, свернуть. Куда деться в узком коридоре? Надо бы улыбнуться, да куда там! Уперлась взглядом в малиновость бархатного шлафрока, не в силах поднять глаз на светило свое. Остановился граф. Двумя душистыми пальцами коснулся ее подбородка, обращая к себе пылающую девчоночью рожицу.

– Никак Ковалева? Хвалят тебя за прилежание.

И по тому, как прошел дальше через анфиладу комнат, поняла: не узнал. Заметил, не более того. А что она для него и для его театра значит, не понял.

Как, однако, дрожат коленки. И руки дрожат тоже.

Дальше было совсем непонятное. Молодой граф, от которого ждали действий быстрых и решительных, укрылся от всех в дальнем флигеле и никому не показывался.

Говорили разное. Что готовится к свадьбе и что матушка императрица приказала ему жениться и даже подобрала невесту. Приезжала «невеста», немолодая и некрасивая доска в кружевах. Но у кареты ее почему-то встречал старый барин и провожал, подсаживая в карету, тоже он.

«Не женится. Только бы не женился, – молила Бога Параша. – Если женится, все пропало». Спроси она себя, что значит это «все», ответа не нашла бы. А только... Конец. Катастрофа.

После поползли слухи – болен. Не телом болен, а духом. Деревенская знахарка варила из трав настой «для усиления радости». Рассказывали, что старый граф вызвал из Петербурга магнетизера, который по утрам делает над молодым баринком пассы, а по вечерам совершает наложения рук, восполняя потерянную жизненную силу. У Николая Петровича, говорили, нервное истощение и усталость.

Параша не могла понять, что это такое. Если бы Шереметев-младший и захотел бы ей объяснить, то не смог бы этого сделать. С унынием знаком тот, кто его познал. И этот смертный грех, как и у всех, был у него расплатой за грехи другие, им совершенные.

Жизнь наносила Николаю Петровичу одно поражение за другим, не давая проявиться его человеческой сути и постоянно отводя графа в сторону от единственно желанного и возможного для него пути.

Он устал терять самых близких и самых дорогих людей. Сначала смерть младшего брата, после чего у него, тогда еще совсем юного, в минуты волнения и напряжения стала подергиваться щека. Матушка... Почему она оставила его так рано, в трудную пору становления, когда жаждешь не только и не столько совета, сколько душевного сочувствия? После ушла старшая сестра Анна – доверенный друг, она делила с ним любовь к музыке, она, как и он, обожала Тициана. А те, что остались...

Вторая сестра Варвара никогда не понимала его. Да и мог-

ла ли она понять хоть кого-нибудь, хоть что-нибудь? Глупая, недобрая, не любимая мужем, которого соблазнило лишь наследство. Блестящий Долгорукий и не пытается скрывать этого.

С батюшкой все дальше разводит время. Старость усилила отцовский деспотизм. Не хочет и не может Петр Борисович осознать, что он, Николай Петрович, уже не мальчишки подошел к тридцатилетию своему вплотную. В такую пору человек сам себе хозяин, а батюшка ему выдает на расходы гроши. Сам тратит состояние на дурацкие, устаревшего вкуса постройки, смеха только достойные, да на девок, которые над его старческой похотью потешаются. А ему не дает развернуться, смеется над серьезными планами. Да к тому же направо и налево всем жалуется, что не отмечен сын жадной славой и всеобщего уважения. Требуя отчета в копейках, сам толкает к дешевым увеселениям. Цыгане, карты, попойки, случайные связи с женщинами – на это только и хватает того, что от щедрот своих дает отец сыну.

Он устал от одиночества. Друзья отошли, переженились. Все талдычат ему: пора заводить семью. И сам знает – пора. Да не от знания такое делается. Как-то незаметно проскочил он тот возраст, когда свой дом заводят радостно и просто. Ох уж эта любовь до гроба! Каждый пристальный взгляд светской кокетки заставляет его вздрагивать: так смотрит охотник на дичь. Есть, есть за чем охотиться женщинам: он наследник самого большого состояния в России, русский Крез.

И такие деньги прилагаются к чести принадлежать к древнейшему, славнейшему роду России. Заманчиво! Да его так просто не охмуришь.

Позади долгая мужская жизнь и много побед сердечных, ибо среди любовников он не последний и собой хорош весьма: и рост при нем, и лицо правильное у него и чистое, и, главное, та почти женская чуткость (не сказать – чувствительность), которая так привлекает слабый пол. Только вот беда: чем больше побед, тем сильнее каждая напоминает поражение, ибо итог каждой новой связи – грусть, разочарование и еще большее одиночество. Сладки женские ласки, но сладкое приедается. Острота достигается переменами. То одна, то другая, а в конце все одно.

Вот недавно в Париже сколько сил потратил на красотку, чтобы убедиться: своя, кусковская, девка не хуже. Да что там не хуже? Много лучше! Танцовка из Гранд-опера все карманы его выворачивала в поисках денег, прежде чем позволяла добираться до своих сомнительных прелестей. Худа, костлява... То ли дело Беденкова! В жизни спокойна, в ласках горяча, поет – тихий свет струится из серых больших глаз. А главное, принадлежит ему от рождения и по склонности.

Но сейчас граф не хотел думать о Беденковой. Брюхата. Дело обычное, дело житейское. Чьи девки не тяжелеют от барина? Дите он пристроит, Таню выдаст замуж. На сцене (да и не только на сцене) заменит ее Анна Буянова, красивая, лихая девка. Нет, лучше не вспоминать и не загадывать, ибо

на дне всех этих мыслей – противное недовольство собой. Грех – всегда грех. Он легко забывается в ранней юности, а сейчас трудным упреком ему и вздернутый к носу бабий живот, и несчастные, тупые бабьи глаза. Душа – христианка, от нее не уйти...

Он устал от непосильной ответственности перед собой. А ведь есть еще другая ответственность – перед Историей, от того, что родился Шереметевым. Дед – известный сподвижник Петра Великого – спасал Россию от шведов. До того предки бивали татар, ливонцев. Отец – и воин, и незаменимый человек при дворе государыни Екатерины. Он же не может быть ни полководцем, ни, увы, царедворцем. Его поприще – музыка. Она одна способна занять его и захватить. Но музыка в глазах высшего общества – занятие не слишком достойное. Развлечение, пустой звук, не только не дело, но вроде как и порок. Нет, когда ради забавы или в отрочестве для развития чувств, то ничего, сама императрица поощряет домашние театры с балетом и оперой. Но всерьез...

Сколько он убеждал батюшку, что в Европе на искусство смотрят совсем по-иному, считая его такую же необходимостью, как хозяйствование. До конца не поверил отец, хотя и позволил осуществить затею с небывалым театром и даже пообещал еще раз заманить матушку Екатерину в Кусково. «Ладно, – сказал, – готовь торжество, как в Версале». Николай Петрович взялся за дело горячо и тут же ощутил вязкое сопротивление всех и вся – такова русская действительность.

Как только начинал говорить кому-либо, даже другу юности, рассказывать о французских театрах, взявших на себя смелость отражать реальную жизнь и даже влиять на нее, глаза собеседника становились пустыми. Многие по-прежнему путали театр с бессодержательными живыми картинами. О присутствии духа, души в игре актеров здесь и не подозревали.

Тут-то и напала на Николая Петровича хандра, с которой он тщетно боролся половину марта и весь апрель, да так в конце концов и сдался ей. Иные дни не брился, не снимал шлафрока и не смотрел на себя в зеркало.

В музыкальной гостиной скучала по хозяину виолончель, а в маленькой комнатке на антресолях дворца билась над вопросом «почему бездействует барин?» отроковица Параша.

Но однажды и сила, и желание жить и действовать беспричинно вернулись к молодому графу. А точнее, благодаря множеству причин, каждая из которых казалась ему малозначимой или вообще им не замечалась.

Николай Петрович ожил оттого, что май всходил на свою вершину. Бушевала сирень, буйством своим путая четкую графику регулярного Кусковского парка. Горланили по утрам птицы, а ночью орали коты. Небо вдруг поднялось и набрало голубизну. И все это по воле Божьей слилось в такой мощный гимн бытию, что его нельзя было не услышать. Даже сквозь опущенные шторы.

И перед этим гимном все дурное вдруг обернулось мало-стью.

Да, юность прошла, но он не стар, не болен. У него впереди еще немало времени.

Он богат и потому меньше других зависим от верхов. Батюшка славен не только своими военными доблестями, но еще и тем, что строил свои усадьбы с роскошью и размахом. Он убедит старика и внесет в устройство поместий еще и утонченный вкус. Не зря же он объездил всю Европу. Он знает последние веяния. Картины, статуи и книги, привезенные им из-за границы, могли бы украсить и царский дворец И, что тоже очень важно, все им собранное даст направление крепостным мастерам, а среди них столько талантов! И если отстают они кой в чем от западных собратьев-художников, то только по причине оторванности от мирового процесса, из-за вечной российской провинциальности. Он еще поработает, потрудится, как положено достойному гражданину.

И, наконец, театр. Не будет он оглядываться на замшелых российских индюков, надутых самомнением. И если удастся ему воплотить в жизнь идеал, придет-таки уважительное отношение к его делу и к нему самому.

В то утро он проснулся необычно рано, потянулся, как в мальчишестве, и с удивлением понял, что улыбается. Просто так, ни от чего. Сделал легкую гимнастику, оделся без камердинера и вышел на балкон.

Расплавленное золото восходящего солнца разлилось по небесной лазури, по глади пруда, по юной еще траве, золотя ее и перебивая зеленый цвет. И в этом текущем, светящемся, разнооттеночном золоте ритмично двигалась девочка в алой накидке. Не танцевала, нет – передвигалась прыжками. Не прямо, а волнами – вправо, влево, вновь вправо. Малиновое пятнышко приковало взор графа, оно как бы собрало, стянуло к себе распавшийся было мир.

«Нет ничего на свете лучше моего Кускова, – подумал Николай Петрович. – И все это – мое...»

«Какое счастье, что я здесь», – подумала в этот же миг Параша. Здесь – где белые колонны и застывшие статуи, глядящие друг на друга, где каждое дерево посажено так, чтобы прибавлять красоты всему ландшафту, а стеклянный купол оранжереи горит в первых солнечных лучах, как драгоценный камень.

Ее поднял раньше срока гомон птиц, и она, набросив на себя легкую малиновую мантилью, тихо, чтобы не разбудить Марфу Михайловну, сбежала вниз.

Все сложности ее отроческого существования отступили перед сиянием майского утра, нежной его прохладой. Она снова была ребенком, и этому ребенку хотелось петь, бегать, дурачиться. Петь в голос она не решилась и прыгала в ритме любимой мелодии Монсиньи, заставив ее звучать в себе. Вот туда, по песчаной дорожке до «пещеры», до «рыкающе-

го льва», охраняющего вход в нее денно и ночью.

«Не боюсь, не боюсь, не боюсь...» И, смеясь, коснулась оттянутым по-балетному носком открытой пасти. Выгнулась так, что отлетела, откинулась и коснулась земли малиновая накидка. Не знала, как была в этот миг грациозна и что ею любуются граф.

Впрочем, он не выделял ее из открывшегося с балкона пейзажа. Он смотрел на мир глазами художника в миг озарения, когда через все детали для него проступает замысел Творца. Зеленые сполохи кустов, волны рассветного золота и девочка – малиновая подвижная точка. Благодатным дыханием овевая сердце, гармония погрузила его на миг в странную тишину. А когда он снова слышал гомон птиц, пришли простые, будничные мысли.

Кажется, это Ковалева. Надо ее послушать, все прочат ее в будущем в примадонны.

И вообще хватит киснуть. Он решил сегодня же заняться театром. Товар надо показать лицом. Он еще удивит свет. Или он не Шереметев?

После полудня Парашу вызвали в музыкальную гостиную. «Барин желают послушать пение».

Параша так долго волновалась, представляя себе этот момент, что когда он наступил, на волнение не осталось сил.

Ей повезло: когда она вошла, граф заканчивал разговор с Дегтяревым. Реверанс – ответный кивок, и она села в уголке,

избежав пристального к себе внимания.

Собственно, она очутилась в привычной обстановке привычной работы. Граф и певец дочитывали клавиру новой оперы, присланный из Парижа Иваром. В эти минуты Николай Петрович и Степан были на равных, занимались общим знакомым и любимым делом. То Дегтярев в половину чудесного, мягкого своего тенора выводил мелодию, то перехватывал мотив граф, старательно подчеркивая ритм. В какой-то момент, чтобы лучше воспроизвести замысел сочинителя, граф кинулся к виолончели. Прекрасные руки извлекли из нее долгий и печальный звук.

– Все! Все! – кивнул граф Дегтяреву. – Отдыхай. А я вот сыграю один отрывок... Из «Альцесты». Глюк это, из Вены. Но по мелодичности не уступит итальянцам.

Граф играл, прикрыв глаза, и Параша могла смотреть на него не таясь. Но он вдруг оторвал смычок от струн и спросил ее:

– Ты слушаешь?

Девочка вздрогнула.

– У тебя такой взгляд... Все время его чувствуешь.

В этот миг, как когда-то в детстве, к ней пришла та отчаянная, несущая вперед без оглядки уверенность, которая будет переполнять ее всегда рядом с графом. Свободна и сильна, и все, что ни сделает – лучше невозможно...

– Ваше сиятельство, вы радовали не только мой слух.

Он посмотрел на нее с удивлением и рассмеялся.

– Нынче и я любовался вами, сударыня, – подхватил он игру, подумав при этом: «Какое забавное, однако, дитя». – Вы прыгали по парковой дорожке весьма мило.

– Вы принимаете меня за ребенка...

«Чутка не по летам. Бойка. Находчива».

– За прелестного ребенка. Вашей грации могла позавидовать любая танцорка.

Все поставлено на места, но он продолжал всматриваться в нее. Лицо живое, не простонародное и как бы вообще не русское. Тонкое, нервное лицо девочки, стоящей на пороге девичества. Бесплотна. Чересчур бесплотна. Самое красивое – выпуклый лоб с крутыми смоляными завитками да еще скулы, опаленные румянцем смущения. И губы... Детские, пухлые, еще не ухоженные, не знающие помады потрескавшиеся губы.

– Вы принимаете меня за ребенка, а между тем я успела кое-что понять во взрослом мире.

– О! Замечательно! Я же ничего не понял, прожив в нем немало, совсем немало. Пожалейте меня, сударыня.

– Я всегда жалела... – и осеклась.

А графу вдруг вспомнилась кроха в темной и смрадной деревенской хате Как настойчиво, по-матерински разглаживала она его волосы... Сегодня ей нет и одиннадцати, да-да, немногим больше десяти, говорил Вороблевский. Какое странное существо эта Ковалева! И, поймав недоумевающий взгляд Дегтярева, свидетеля не то серьезного, не то шутили-

вого, а в общем совсем невозможного разговора, граф сменил тон:

– Ладно, Прасковья, спой, что умеешь.

Тут как тут очутившийся Вороблевский предложил современную песню про Савушку, ибо, по его разумению, выгоднее предстать перед графом в действии (песня такая игровая), чем с открытым ртом вести арию. Не в хор отбирает артистов Николай Петрович – для сцены.

– Гитару! – скорее приказала, чем попросила Параша, взяла ее у Вороблевского и бережно обвила тонкими руками.

Савушка грешен,
Сава повешен...

Граф вздрогнул: голоса такой силы он ждал все эти годы. В таком-то тельце... И ведь понимает птаха, что поет! Волна к волне, плотно, ровно идет звук, а интонации какие точные! Лукавство и женская жалость одновременно:

Савушка, Сава,
Где твоя слава?

Немудреная песенка, но как разыграла! Целую историю рассказала ему девочка, целую бытовую притчу. Гневная поза, резкий удар по струнам гитары, грозное их гудение:

Где делись цуки,
Деньги и крюки?

Голосом, голосом донесен начальственный упрек, да как истинно, как выразительно! А вот снова печалующееся, ма-теринское:

Савушка, Сава,
Где твоя слава?

– Ну? Какая певица будет? – гордо, будто бы он сам только что прекрасно исполнил номер, спросил Вороблевский.

– Почему – «будет»? Есть!

– Что прикажете? Вводить в спектакли?

– Э... Это такая драгоценность, что бережно надо обращаться. Любой ценой и побыстрее доставь в Кусково самого Рутини. Он у Медокса сейчас певцов учит. А вообще он и в Европе среди педагогов на особом месте, в самой Гранд-опера голоса ставит. Пусть подзаймется с нашей птичкой и все о ней нам расскажет.

Почему-то граф не решился погладить Парашу по голове и сам удивился своему благоговению перед ней. Впрочем, чему удивляться? Такая актриса!

Срочно доставленный в Кусково итальянец на своем языке (вот когда Параше впервые пригодилась выученная с такой прилежностью чужая речь) объяснил: петь она будет с

листа. Одни ноты, без слов и «а капелла», безо всякого то есть сопровождения. Ничего не надо изображать или пытаться выразить. Его интересует не ее умение, а только ее горло, и даже точнее – глотка. Так мог бы интересоваться бездушный инструмент.

И хотя граф тоже пришел на прослушивание, Параша не волновалась. Работа собрала ее и забрала всю. Глянула на присутствующих еще раз, чтобы уйти в музыку, в себя сосредоточиться. Круглое, расслабленное лицо старика Рутини улыбалось. Вороблевский просматривал ноты. Граф откинулся в кресле и закрыл глаза.

Она взяла первые ноты, и если бы могла одновременно читать с листа и наблюдать за слушателями, то увидела бы, как все они стали вдруг чем-то похожи друг на друга. Удовольствие... Блаженство... Уход в иное измерение.

Николай Петрович полностью отдался наслаждению. Голос, освобожденный от слов, был чист до прозрачности. Не детский, не женский. Ангельский, если бы не глубокие грудные низы. Прохладные серебристые верхи вызывали физический экстаз, звуки ласкали не только слух, но и, казалось, кожу, вызывая легкий озноб. А низы вдруг окатывая ли волной такого бурного тепла, что перехватывало дух.

...Все женщины, которые оставили хоть малый след в его жизни, были певицами. Так уж устроила природа, создавшая его музыкантом, что женская суть для него раскрыва-

лась именно в пении. Цвет волос, рост, походка, запах кожи – да, конечно, он реагировал на все это, как и другие мужчины. Но прежде всего голос.

Слишком доступны для него с отроческих лет были простые физические радости. Любая приглянувшаяся девка (а сколько их, крепостных') была его, принадлежала ему изначально. Удобно, но скучновато. И потому шли поиски на пограничье тела и духа. Область скрещения – музыка, вершина его – женский голос.

Голос Тани Беденковой – ровный, малоподвижный. В голосе Анны Буяновой, которая последнее время останавливала его внимание, игривом и откровенно кокетливом, завлекающем, нет-нет да и прорежется резкий металл. В этом голосе, голосе Ковалевой, жила душа, вздымаясь истинной радостью и чистотой. Малиновое в лазури, перекличка теней и света...

Сердце его вдруг сжалось тоской от предчувствия чего-то, что войдет в жизнь, изменит ее. Он, по сути, еще никогда не любил и потому не знал закона: свеча еще не внесена в комнату, а отсветы уже видны на стене. Мир уже стал другим.

...Параша кончила петь, и граф открыл глаза. Чистота детского выпуклого лба, обиженность губ, незащищенность шеи и трогательность линии чуть наметившейся груди – все это никак не соединялось с опытностью и силой в пении. Но было таким новым, нетронутым, что ему вдруг захотелось коснуться губами пушка щек или плеча. Он, осознав

желание, тут же задавил его. Беречь, охранять, не губить. Без слов, одним чувством он дал себе клятву – не трогать.

Граф до этой поры никогда не любил и потому не знал, что запрет – как стена, о которую бьется и бьется страсть, пока не перехлестнет через верх, не обрушится с силой, сметающей все на своем пути.

А маэстро Рутини с подлинно итальянским темпераментом выражал бурный восторг. Он возбужденно объяснял графу, мешая русские, французские, итальянские слова, то, что Николай Петрович знал и без него. Голос – чудо, голос – из ряда вон, голос – дар.

– Тембр... – размахивал руками Рутини, не в силах подобрать сравнение. – Диамант? Нет, мягче. Perl...

– Да, жемчуг, – согласился граф. – На солнце, полный света.

А еще Рутини был поражен тем, что голос оказался поставленным от природы именно так, как требовало нынешнее, новое время.

– Откуда она, эта девочка, знает, что нынче в Гранд-опера и в Неаполе поют именно так? – заходил в восторге маэстро. – Да, точно так: звук опирается на диафрагму. У вас в России так долго ценился дишкант, что даже очень хорошие певцы до сегодня, как ни учи, пытаются брать верха горлом. А это... Да это просто жемчужина, ваше сиятельство.

– А можно ли ей уже петь?

– Ей можно от рождения и до последнего вздора. Такая

всем радость... И простаивать? Не петь?! На сцену ее! На сцену!

На том прослушивании Николай Петрович ощутил: проснулась не только душа, но и плоть Поморщился, вспомнив Беденкову. Брюхата. Огромна, как колонна дорическая. И раньше не отличалась умом, а тут совсем отупела, глаза приобрели коровье выражение. Жалко Таню, но... Смешно отказывать себе в малом.

– Буянову ко мне, – приказал лакею Никите поближе к вечеру.

Когда Анна вошла, порадовался яркой зелени ее глаз, бойкости движений. Хороша. И голос неплох. Конечно, не как у той (при воспоминании о Параше что-то заныло в груди, но отогнал), так и цена им разная.

Подошел к девушке Чуть касаясь гладкой шелковой кожи, провел рукой от пухлого подбородка по шее до соблазнительной развилки у лифа. Ощутил, как напряглась Анна. Беденкова в такие минуты опускала ресницы, эта же смотрит, сияя глазами. Нравится ей. Тем лучше, совесть молчит, когда удовольствие обоюдно, и все проще, О! Прижала к своей груди его руку, вроде бы поначалу хотела отстранить, а на самом деле...

– Барин, войдут...

– Прикажи от моего имени управляющему купить тебе изумрудного цвета атласу на платье, тебе пойдет. Будешь ум-

ницей, получишь подарки и подороже.

Лучше так – все сразу поставить на свои места, без романтики, без мучительных расставаний, без слез. Не стоит вспоминать, как плакала у него на груди Татьяна в последнее свидание, – лишнее это.

Когда граф потянулся к шкатулке с драгоценностями, что стояла на комод, Анна облизнула губы цвета спелой вишни. Руки быстро и жадно перебирают недорогие браслеты, броши и кольца, специально для такого вот случая припасенные. Жадна. Но и до ласк, видно, жадна тоже. И понятлива.

– Когда? – выдохнула не жеманясь.

– Подарок выбери тотчас. А... Жди, позову.

Посмотрел вслед. Спина сильная, по-змеиному гибкая.

Привычный прилив желания. Нет места лучше Кускова, все здесь твое и все можно.

А Пашеньке дали первую в жизни роль. Поначалу совсем небольшую, роль служаночки Губерт в опере Гретри «Опыт дружбы». Ставил спектакль сам Николай Петрович. Он же приказал Настасье Калмыковой поселить девочку в актерском флигеле по первому разряду. Ей полагались отдельная комната, питание с барского стола. Надзирательница не скрывала своего удивления:

– Чем взяла? Ну Анька – понятно, девка в теле... А эта?

Вынужденное одиночество воспитанницы при дворце оборвалось резко. Паша очутилась в стае актрис разного воз-

раста и положения. Та просвещенность в отношениях женщины и мужчины, которая ее миновала в свое время, хоть и с опозданием, но, конечно же, пришла. Да и как ей не прийти? Девицы, искусственно собранные вместе, лишенные здоровых чувственных радостей, не занятые физическим трудом и не обремененные никакими житейскими заботами, только и говорили об «этом». В своих секретах они были готовы поведать самые сокровенные подробности о свиданиях и радостях, которые были у них до театра. У привезенной из Малороссии Вари в деревне остался парень, о нем она вспоминала каждый вечер.

– И тогда мой Васюня стал упрашивать. Мол, дай моему воробышку твою вишенку один раз клюнуть. Не поврежу, не разорву до сока. А сам, – голос Варьки прерывался от волнения, дыхание становилось сбивчивым, – сам лезет рукой под юбку, я руку отбиваю, а сама мокрею, слабею...

– Сладко было? – спрашивает Анна, особо охочая до таких разговоров.

– Ой, сладко, – не скрывает Варька. – Жалею теперь, что устояла, да ребеночка побоялась понести.

Нельзя сказать, что все эти рассказы и разговоры не оставляли следа. Душные, жаркие волны окатывали Парашу, томило желание узнать еще больше, но вне связи со всем этим другое жило в ней.

В ее новом расписании значились часы для занятий с ба-

рином. Как было приказано, она приходила в библиотеку. Но то ли Николай Петрович забывал о ней, то ли ему было некогда...

Параша ждала, она привыкла ждать его. Ждала и надеялась – вот придет. Чувство, однажды возникшее, росло, развивалось по своим законам. Подобное притягивает подобное: романы Руссо, жития святых, рассказанные Димитрием Ростовским, – все это, читанное в прекрасные и светлые часы ожидания, навсегда связалось с графом.

Библиотека, а не еда с барского стола – вот что было важнейшим из благ, ей дарованных. В библиотеку она по распоряжению молодого графа допускалась в любое время, и сама Настасья Калмыкова, строгая и подозрительная надзирательница, не противилась Пашиному стремлению читать.

...Все чаще свободное время она проводила среди книг. Однажды так зачиталась, что пропустила обед и не заметила, что подошел вечер. Странный озноб, и не хочется двигаться. Забилась в кресло поглубже и оцепенела... Сумерки, наполнившие библиотеку, улеглись в бессильно брошенные ладони, занавесили шкафы с книгами, покрасили легкой синевой окна. Затем синева и ее всю накрыла своей пеленой.

...Тихо-тихо звучит музыка Гретри... Ария Коралли, прекрасной Коралли, которая жалуется, что любимый не доверяет ей.

Но что это? Скрипнула дверь... Какой знакомый силуэт за синей завесой сумерек. Сад! Ближе, ближе, и вот прекрасная

его рука на уровне ее глаз. Потянуться немного и поцеловать, но руки целуют только женщинам. Мужчинам – лишь когда очень любишь... Она тянется. Но нет сил. Сумерки и сырость сковали ее.

– Пашенька, девочка, почему ты здесь?

– Я жду. Вас...

– Давно?

– Всегда.

– Нет, – отшатывается Николай Петрович. – Нет, так не бывает.

– Бывает.

Куда это он? Почему такими быстрыми шагами уходит из библиотеки? Пойдите, барин. Какой странный получился у них разговор. Слов сказано мало, а все понятно, будто не люди говорили, а души. Она любит, а он любить боится.

Очнулась она в своей комнате. Рядом Танюша Шлыкова с вышиванием сидит.

– Жар у тебя был, Паша. Сколько полотенец выжала, тебе пот вытирая.

– А... Кто меня из библиотеки принес?

– Дегтярев Степан.

– А нашел кто?

– Не знаю.

Полусон, полуявь. Был тот разговор или не было его? Так и не узнала до конца жизни. Но считала – был.

Болела она недолго, жар прошел так же внезапно, как и начался. Лекарь Лахман выслушивал, выстукивал, высматривал красноту в горле, но вынужден был признать: простуды не было... Выходило, что все от нервов, от переутомления. Опытный же педагог Рутини отметил, что настоящий, актерский темперамент очень часто сочетается с хрупкостью здоровья и склонностью к чрезмерному возбуждению не только по реальному поводу, но и без оногo. К тому же тот самый возраст, какой называют переломным... И доктор, и музыкант пришли к одному выводу: девочке нужен покой и приятные переживания.

Приятные переживания не заставили себя ждать. В середине августа в Кускове устраивали очередной праздник, на который приглашались гости из Москвы и соседних поместий, а так же допускались все желающие, вплоть до ремесленников и крестьян. Для показа в летнем – «воздушном» – театре была приготовлена опера «Опыт дружбы». Первую свою роль в ней должна была играть Параша.

Роль маленькая всего несколько реплик, княгиня Марфа Михайловна в тайне от Паши попросила графа не нагружать девочку сразу, а вводить в дело жалеючи. Николай Петрович и сам придерживался постепенности.

«Справится ли?» – думал граф. Дитя. К тому же почти не репетировала со всеми, только пару раз прошла текст с

Вороблевским.

...Театр заполнялся. Всем гостям понравилась затея показать оперу на свежем воздухе. Кулисами служили зеленые заросли, задником – закат, а крышей – небо. Один холм – сцена, другой – партер, и все это отгорожено от парка шпалерами.

– Как романтично! Эти облака... И будет, кажется, луна, – щебетала в ухо Николаю Петровичу очередная знатная «невеста» в летах.

– Да, это позволит нам освещать свечами только сцену, а кресла видны и так, – нарочито невпопад прозаически ответил он.

Оркестр играл прекрасно, а в открытом пространстве мелодичная увертюра звучала и вовсе волшебно. Спектакль начался.

Что же это?'

Среди манекенов, движущихся с заученной точностью, была одна живая душа, живая фигура. Параша – Губерт.

Что же это?

Почему не оторвать глаз от этой полудевочки-полудевушки? В центре внимания положено быть героине Коралли. Спасенная во время кораблекрушения капитаном Бланфором и поселившаяся в его доме, это она разрывается между двумя решениями, двумя чувствами: любовью к Нелзону и долгом, не позволяющим отвергнуть спасшего ее моряка. Нет, не доносит всего этого Степанида Дегтярева. Поста-

ревшая, малоподвижная, грубоватая, будто бы наскоро вытесанная из камня, – что она может? И только через эту непонятную Ковалеву просвечивает жизнь влюбленных со всеми страстями, несоответствиями, рухнувшими мечтами и счастливыми находками. Больше того, через Парашу только и можно узнать Коралли и понять ее.

Как это сказано! Как выкрикнуто маленькой Губерт! «Вы сердитесь?!» В голосе и удивление, и сочувствие, и тревога. Значит, в иных, обычных обстоятельствах Коралли равна. И добра Коралли к своей маленькой служаночке Губерт. «В первый раз вижу вас в таком сердце», – в этой реплике уже помощь. Мол, возьмите себя в руки, не теряйте головы, госпожа. Весела Губерт, лукава. Кружит вокруг Коралли, закалывая иголками на хозяйке красное платье редкой красоты. Отпрянула, любуясь госпожой и своей работой. Ой, уколола палец! И так трогательно, по-детски взяла его в рот, что граф вздрогнул, решив: и вправду уколола.

После спектакля, выяснив, что уколола она палец понарошку, еще раз удивился граф той свободе, с какой Параша жила на сцене. И еще тому, как верность жизни, верность наблюдениям подсвечивалась у нее фантазией. Непредвиденность жеста была сравнима только с игрой актеров парижских театров. Там актеры натурально беседовали на сцене, натурально пили кофе, натурально поступали. В России же Николай Петрович ничего подобного не видел.

В разговоре с маэстро Ругани после спектакля граф при-

знался, что и его опередила Параша. Он только собирался вводить новую жизнеподобную манеру игры, а она ее показала.

– У больших, очень больших актеров это случается. И потому, ваше сиятельство, вас можно поздравить. Когда есть такая актриса – есть театр, – ответил знаменитый педагог.

Все зрители заметили Парашу.

Племянник графа, князь Долгорукий-«Балкон», прозванный так за свой огромный рост и великую глупость, тоже поздравил:

– Какая прелесть эта крошка... Эта сильфидочка... Так и летает по сцене, так и порхает...

Когда же Вороблевский подвел итог, похожий на жалобу – «служаночка забивает госпожу, третьестепенная роль выпячивается на первое место», – Николай Петрович ответил неожиданно:

– В следующий раз первым сюжетом будет Прасковья, и все станет на свои места.

– Белиндой?

– Отчего нет?

– Страсти там больно тяжелые, а Паша мала.

– Ничего, одолеет.

5

Опера Саккини «Колония, или новое селение» о страстях: Белинда страстно любит губернатора, губернатор не менее страстно любит Белинду. Но, узнав от недоброжелателей о ее «неверности», возлюбленный решает жениться на другой; недоразумение выясняется, и влюбленные в конце концов сочетаются браком.

Граф и сам сомневался: роль Белинды не для девочки, вдруг не справится Ковалева? Но когда ему об этом стали твердить со всех сторон, уперся и утвердился в своем намерении.

Анна во время очередного вызова даже попыталась закатить Николаю Петровичу небольшую истерику. В постели и в самый неподходящий момент вдруг зашмыгала носом. На вопрос, в чем дело, ответила не столько словами, сколько жестами.

– Со сцены актриса без этого (его рукой провела от бедра к тонкой талии и от нее к пышной груди) не производит впечатления, даже если голос у нее...

Граф пытался перевести все в шутку:

– Если по этому выбирать, ты беспорный вечный первый сюжет, – и добавил: – В постели...

Анна капризно отбросила его руку, повторно оглаживавшую прочерченную ею линию:

– Что она в чувствах-то понимает? Заморыш... Разве ведомо ей, что мы знаем?

– Мы?!

О, сколько в этом «мы» разного! Презрение. Гнев... Поняла Анна, что переступила черту.

– Иди к себе!

Многое еще прочувствовала Анна в те минуты, когда одевалась перед зеркалом под невидящим графовым взглядом. Что не быть ей, полюбовнице, в театре прямой. Что в дела театральные, в их обсуждение с барином вход перекрыла ей некрасивая девчонка. И еще: что как-то связаны эти двое – Пашка и Николай Петрович, и связь эту разорвать ей не под силу.

Граф вышел из задумчивости, когда Анна была уже у двери. Тупая, рабская покорность в ее спине... Скучно...

Не одна Анна была против одиннадцатилетней Белинды. Музыканты отговаривали: не помпезна. И даже хорошо относившийся к Паше Степан Дегтярев высказался непривычно резко:

– Ее и не разглядишь. Мала, subtilна, обнимать ее не тянет.

Николай Петрович прекрасно понимал – не соответствует Ковалева расхожему представлению о красоте и привлекательности. Что спорить? Любая примадонна в России должна иметь грудь – «две сахарные головы наслаждения», бед-

ра – «два сладострастных полушария блаженства». Он улыбался, слушая музыкантов. Перед глазами всплыла вдруг ваза для фруктов, которую он видел в Версале в Малом Трианоне. Придворные Людовика XVI сплетничали: ваза точь-в-точь повторяет форму груди ветреной супруги французского монарха. Мария-Антуанетта полегче московских властительниц сердец, но и ее женских достоинств у Пашеньки нет.

Дегтяреву вторил первый тенор Кохановский, намеченный на роль губернатора. Равнодушный к женским прелестям и сам женоподобный, напоминавший евнуха, он заботился о чувствах:

– Не знает она, что есть любовь. Чистый ребенок – и о страстях?

– Это и хорошо, – вырвалось у графа. – И на сцене чистота прелестно ощущается.

Кохановского поддерживал и Вороблевский:

– Если бы только петь! Ведь и показывать чувства надо. А для этого их пережить прежде положено...

Граф перебил своего режиссера:

– Я с Ковалевой займусь сам, – и самое странное, что в этот миг он покраснел. Когда-то в юности такое с ним случилось: как многие блондины, он знал невольные приливы крови к лицу. Но со временем это ощущение было им напрочь забыто. И вот... Актеры опустили глаза: двусмысленность замечена. Одна мысль посетила всех, одна... Знали, чем занимаются господа со своими актрисами наедине.

А через пару дней за ужином грубо и прямо высказался на эту тему старый граф.

– Что-то ты, сын, больно носишься с этой девочкой. Придумал ее взрослой бабой на сцене выставить. Учти, Ковалева девица серьезная. Какую другую испортить – невелик грех, сама на тебя лезет, эта же птаха Божья. Марфа Михайловна за неё тревожится.

Николай Петрович взорвался:

– Наплели чепухи, а вы, батюшка, верите. Господь с вами. В мыслях не имел такого.

И сам себе не признался бы он в том, что было в его мыслях помимо воли.

Ему казалось, что любому по-настоящему понимающему в искусстве человеку он смог бы сразу объяснить, почему именно Параша – лучший «первый сюжет» из всех имеющихся.

Степанида Дегтярева – актриса, выросшая еще в старом батюшкином театре. Можно ли его назвать театром вообще, как и прочие усадебные театры, которые видел граф Николай? Из какого источника черпали свое умение актеры?

Чуть-чуть из простонародного, ярмарочного скоморошьего представления. Коли надо зрительный зал рассмешить, прибежали и к грубым жестам, и к нелепым позам. И все это безвкусно мешали с приемами, перенятыми у актеров в «храмине».

Храмина эта была построена при царе Алексее Михайловиче в его вотчине, а после из Преображенского перенесена Петром Первым на Красную площадь и отдана на откуп немцам. Немцы были знакомы с европейским театром, но не стремились к особым тонкостям, а работали, применяясь и к огромному помещению, которое не назовешь «залой», и к простоватому шумному зрителю, и к диким обычаям мало-знакомой страны. Батюшка и дед, старый граф Борис Петрович, всегда восхищались директорской женой немочкой Паггенкампф, которую все звали на русский манер Поганкиной. А на расспросы, чем та была хороша, ответа дать не могли. Ничто не свидетельствует о том, что она потрясала души. Была белокура, миловидна, воздушна. Умела красиво носить тунику, обнажая ножки, и вообще искусство представлять понимала как искусство показывать свои женские прелести. Никаких чувств, мыслей, даже простого развития событий от того действия не требовалось.

Дегтярева же и смотреться не может, не грациозна и громоздка, а уж изобразить страдающую, любящую женщину ей и вовсе не под силу.

Только Парашенька из всех его актрис и актеров старается выразить то, что происходит с душой героини. Каким-то неведомым путем идет она вослед французским актерам, рассказывающим зрителям, чем живет сердце.

Кстати, а чем оно живет, ее сердечко?

Он не сознавал того, что это его интересуется ничуть не

меньше, чем предстоящая работа над новой постановкой.

Не думал, почему он так радовался, когда говорили о чистоте и детском неведении Параши. А была тому причина.

Начать с начала: создать свою женщину – именно ту, которая нужна, – после бесчисленных разочарований во встреченных ранее... В каждом зрелом мужчине, задержавшемся со строительством семейного очага, живет мифический царь Кипра Пигмалион, ожививший статую Галатеи – воплощение мечты, идеала, не обнаруженного в жизни. Девочка – завтрашняя женщина, а сегодня еще ничто, которое ты можешь сделать всем по своему разумению, по своему чувству. Твое творение, и потому особенно близкое и дорогое существо.

Ему нравилось, что она бессребреница. Ни разу ничего не попросила – ни рубля; ни побрякушки. Другие актрисы чуть заметят к себе внимание, сразу начинают либо слезами, либо смехом подталкивать: награди, подари. И это даже без всяких постельных дел, они – случай особый. Конечно, Парашенька – дитя, но и ребенок иной пытается выпросить куклу. У этой же нет корысти в натуре и мысли не тем заняты. Такая если полюбит, то без лжи. В поступках, словах ею движут не корысть и не коварство, а подлинное чувство.

Вернуться к собственной юности, доверчивой и романтической... Мечты о такой романтической и высокой любви были задавлены горьким опытом, но вот... Оказывается, то, что дано Господом изначально, не исчезает и возрождается,

словно феникс из пепла, при первой возможности, при звуках жемчужно-светлого женского голоса.

И еще одно очень тайное, необъяснимо-странное, возникшее на изломе природных мужских желаний. В Параше совмещалось несовместное. Невинность, нетронутость возрастом: кожа без намека на морщинки или отечность, детские припухшие губы, тонкие руки... И – взрослая зрелость чувств. В этом скрещении противоположностей открывалось для Николая Петровича переживание такое острое, что хотелось еще острее, до невыносимого. Выявить это несбыточное скрещение – одеть отроковицу в женские одежды, вменить ребенку, девочке слова о страсти. И... Погибнуть, пропасть самому.

Открывалась в этом выверте приговоренность узнать, понять ту, что задела, ударила своим пением. Сбила с ног...

Он волновался перед первым занятием с удивительной своей ученицей, но понял это не изнутри, а лишь по тому, что нервный тик мешал больше обычного, когда брил его куафер.

...С порога взгляд выхватил ножкой в белых чулках. Параша забилась в глубь огромного кресла, и алые туфельки не доставали до пола. Дитя... Если бы это была его дочь, он с нежностью притянул бы ее к себе, погладил бы по головке. Какое славное, серьезное дитя!

Увидела его. Напряглись крохотные ступни, пытаюсь до-

стигнуть паркета, вытянулись носочки. Невольно он отметил женственную округлость икр, полетность длинной и плавной линии, теряющейся в беспорядочном ворохе юбок. Включился тот острый и радостный интерес, который зачеркнул все прежние заготовки и задал беседе не только неожиданное направление, но и свободный внутренний ритм.

– Сиди, Парашенька, – ласково сказал граф. – Паша, Паша... Параскева ты? В честь Параскевы-Пятницы родителями названа?

– Наверное. Только святая Параскева покровительствует людям торговым, а я... Да и летняя я. В июле родилась. У ма-тушки с батюшкой не спрашивала, а сама для себя, согласуясь со святцами и житиями святых, имя веду от Евпраксии.

– Радует сердце твое Евпраксия?

– Да. Но и печалит.

И на невысказанный удивленный вопрос Николая Петровича, на взгляд расширившихся и без того больших выпуклых глаз ответила:

– Не могу следовать ей, хотя прямые указания даны.

– Какие такие указания, Пашенька?

– Вечор только, барин, не могла сдержать внутреннего гнева на одну свою подругу. И знаясь с ней не хотела, а нынче вспомнила, что читала у Димитрия Ростовского. Когда недоброжелательная монахиня Германа переложила на Евпраксию немалый свой грех, моя святая не стала отрицать вины, а кротко епитимью наложенную приняла и отработала.

ла. Игуменья о своей обидчице при этом говорила только хорошее, и настоятельница, лишь случаем узнав истину, высоко оценила поступок Евпраксии.

– Святые живут по иным законам, Парашенька, Ты же мне скажи, кто тебя обидел, я накажу...

– Нет! – разом выбралась Параша из кресла. Став рядом, она оказалась выше и взрослее, чем сидя. – Вы не должны так... Если и вы считаете, что мы не должны тянуться к доброму и высокому...

– Они оттого и святые, что могут то, чего не можем мы, грешные. Надо исходить из других законов, мириться...

Ух, каким огнем опалила его – в черных бездонных глазах сверкнул а молния.

– Нет! – такая страстность может сбить с ног. – Нет! Тогда и Христос зря принес себя в жертву, принял смертные муки. Разве не для того все, чтобы показать нам путь?

...Не было в его жизни мгновения, которое вместило бы столько самых разных чувств, ощущений, отрывочных и противоречивых мыслей. Разве сам он где-то в начале своей жизни не загадывал жить праведно? Разве не бился вот так же над невозможностью соединить жизнь и мечту? А если бы он был не один? Если бы рядом была та, которая тоже решила бы идти по пути, указанному свыше? Возможно, тогда он не покончил бы с юными грезами, не опускался бы, не падал все ниже и ниже – до того предела, когда жизнь теряет смысл и становится непосильной тяжестью. Впрочем... Поздно.

Однако каким же великим должно быть счастье, если отношения между мужчиной и женщиной не оканчиваются минутным сладким покоем, а имеют результатом достойную жизнь. Слева в груди появилась легкая боль, и он машинально приложил к сердцу руку.

– Что с вами? Вам... плохо?

Метнулась, приблизилась, и он вдруг ощутил, что ее волосы пахнут малиной, прогретой на солнце. И душный и теплый запах этот был сплавлен с ее потрескавшимися шершавыми губами, опаленными румянцем скулами, алым пятном башмачка и непокорными кольцами смоляных волос на тонкой шее. Именно шеи, невинной и слабой, ему мучительно захотелось коснуться ртом. Он даже почувствовал солоноватость кожи, покрытой нежным детским пушком. Пройтись губами от плеча до кисти, задержавшись у локтевого сгиба – там запах летнего леса будет еще сильнее, запах ее чистого полудетского, полудевического тела.

Он вздрогнул и отступил на шаг, а после и вовсе перешел на другую сторону большого библиотечного стола.

– Нет, все хорошо. И то хорошо, что ты много думаешь о жизни, это поможет тебе понять новую роль. Но в силу своих малых лет ты многого знать не можешь, и я попытаюсь тебе подсказать... История Белинды закончилась благополучно...

– Да, я прочла либретто.

– Чем взяла Белинда? Почему губернатор вернулся к ней?

– Тем, что не унижалась, но и не скрывала своих чувств.

Можно не верить обстоятельствам, но страданиям не верить нельзя.

– Пожалуй, точнее не скажешь. Умница.

Ободренная графом Параша преобразилась. Раскованная в движениях, она была очень хороша. Чего стоят признанные идола красоты перед этими сполохами жизни? Юность, подвижность, игра ума, отражающаяся на лице... Он не мог оторвать от нее глаз.

– Подруги мои считают, что любовь у мужчины надо вымогать ловкостью и лукавством. Но я – то есть Белинда, конечно, – полагает уловки делом низким и не хочет заменить любовь на скрытую войну с губернатором. Она готова ко всему к тому, что ее не примут, отвергнут, не оценят... Но ей не нужно малого. Только привязанности истинной хочет...

То, что она говорила, было для Николая Петровича неожиданным. Не такой и ребенок, если понимает и сложность, и неоднозначность отношений мужчины и женщины. Может, не так и невинна?

– Да, так. Неужто тебе приходилось переживать нечто подобное?

Вопрос застал ее врасплох, пухлый рот приоткрылся, совсем по-женски закусила нижнюю губку, молчит в растерянности. С трудом произнесла:

– Да... В мечтах, конечно. Когда читаешь роман и представляешь...

– Ну ладно, ладно. Я не требую от тебя открывать деви-

чьи секреты, – засмеялся Николай Петрович, с невольной радостью отметив ее полную неспособность ко лжи. – Как Белинда встретила весть о предстоящей женитьбе губернатора? Как ты выразишь это? Пение после, за него я не опасуюсь.

– Показать?

– Покажи.

...Отступила от кресла. Окаменела... Еще несколько шагов в тень, в глубь пространства. Прислонилась спиной к стене, распласталась, словно пытаюсь удержаться за нее разведенными руками. И граф ощутил силу беды, силу не нашедшей выхода страсти. И это было сродни чуду – перед ним была уже не девочка, а страдающая женщина. И женщина прекрасная, чувственная, со всеми признаками настоящей породы.

Пауза. И только когда Параша села по-ученически на самый уголок огромного кресла, граф сказал:

– Замечательно. И неожиданно. Великая Рокур из Гранд-опера в подобном случае делала так...

Смешно показал, прижав большие руки к лицу.

– Я примеривала и этот жест, он тоже подходит. Только в clavире здесь есть два такта, которые требуют движения.

Вскочила. Напевая, снова сделала шаг назад, после еще несколько – так, чтобы ритм и движения слились естественно.

– Какая же ты умница! И clavир знаешь, и либретто.

А главное, понимаешь все как надо. Вот уж мы покажем, что значит настоящий театр. Не гагаринский и не голицынский-шереметевский! Попроси у меня подарок, Пашенька, я был бы рад...

Бессильно рухнула в кресло. Дыхание трудное, ходуном ходят под самой кожей ключицы.

– Эта роль для меня – лучшая награда.

– Я бы рад был... Брошь хочешь? Или колье?

– Что вы, что вы, барин... Не ношу я пока.

Забыл, что мала она. И порадовался еще раз, что бескорытна.

– Ну, тогда до завтра.

Выходя, граф подумал: «Что за яркие розы на щеках? И отчего эта слабость после подъема? Уж не болезнь ли? – Но тут же прогнал тревожные мысли. – Актер и должен быть по природе подвижен и чувствителен до нервности».

Отныне по утрам он просыпался в счастливом предчувствии встречи. После завтрака спешил в библиотеку, где ждала его девочка. Дитя, конечно же, дитя. Но и великая актриса, какая внесла в его жизнь и смысл, и реальную цель. Дитя, но и серьезный, нравственный человек Паша на своем уровне решала те же вопросы, что и он. На нее, правда, не давил груз ошибок – ну да и не дай такого Господь никому!

Их встречи в библиотеке стали ежедневными. Он радовался и удивлялся ее образованности. В музыке и литературе

у нее был неплохой вкус, ей нравилось то, что нравилось ему в годы его собственной романтической юности. Она охотно читала ему отрывки из Дидро, Карамзина, написанные с литературным блеском богословские труды Димитрия Ростовского. Он бесконечно слушал. При этом не отрываясь смотрел на нее, ловя влажное поблескивание белых зубов и не уставая любоваться рисунком пухлых детских губ.

Однажды он попросил ее рассказать о себе, о своей жизни. Она не поняла.

– Ну, как жила без меня, кто тебе нравился, кто был неприятен...

– Как жила до театра? – глаза удивленно распахнулись. – Ну... – беспомощно огляделась вокруг. – Так... Матушку мою в селе вы видели.

И он понял, что обид на мир она не нажила и сердечных увлечений у нее не было, никто не касался не только тела ее, но и души. И тайная надежда помимо воли утвердилась в нем.

В ту встречу был он очень оживлен и долго с удовольствием рассказывал ей о странах, по которым путешествовал, о голландских каналах и лодках, похожих на плавучие домики, о привычке немцев к чистоте и порядку, о французских цветочницах и антикварных лавках, в которых он нашел прекрасные вещи для Кусковского дворца.

– А... французенки? Они и впрямь так хороши, как рассказывают?

– Разные, Пашенька. Самая прекрасная француженка, которую мне довелось видеть, это королева. Я танцевал с Марией-Антуанеттой на балу в Версале. Это были не худшие мгновения моей жизни. И как танцует! Легка и музыкальна...

И вдруг он увидел, как румянец на Парашиных щеках становится ярче Неужели? Как он неловок... Боже, она ревнует его!

– Она умна?

– Скорее натуральна. Впрочем, явно не глупа, глупость, как правило, вычурна.

– И образованна?

– Да. И потому вкус у нее безупречен. Тому, как она перестраивает Малый Трианон и улучшает Версальский парк, всем архитекторам стоит поинтересоваться. Правда, не у всех найдутся средства, чтобы действовать с таким размахом. Она тратит деньги, не размышляя, что вызывает неудовольствие у своих подданных.

– А наряды?

– Они так своеобразны и совсем не похожи на тяжелые платья наших дам. Ее осуждают за них и за то, что она не дорожит честью своего венценосного мужа. Но я отдал ей дань своего восхищения.

Теперь граф кокетничал, граф играл с ней, как кошка с мышкой, пытаясь добиться безусловных примет ее неравнодушия, но зашел чуть дальше, чем хотел. По ресницам, подрагивающим над опущенными долу глазами, по трепету

тонких пальцев, поглаживающих золотой обрез старинной книги, понял – ей больно.

Глупец! От жалости к ней стало больно ему. Обидел. Поселил в ней неуверенность в собственной значимости для него. Она, эта девочка, и блестящая аристократка, чье: призвание – прельщать, играть в страсть... Если стоит сближать их хоть в чем-то, то совсем иначе.

– Пашенька, – сказал он, – посмотри вон в то зеркало, что против тебя. Французская королева чем-то похожа на это отражение. Только в зеркале дева куда более юная... чистая... и... прекрасная.

Взгляд от стекла на него, сияющий, благодарный, влажный от старательно сдерживаемых слез.

– Вы шутите, барин. Я свою цену знаю, – снова низко опустила голову – Только ведь... Коли Господь не послал красоты несомненной, то силы свою невидность преодолевать мне все же дал. На сцене хотя бы... Мне, конечно, придется стараться больше, чем Анне Буяновой...

– При чем здесь Анна? Ты несравненно лучше.

Он хотел было поцеловать ей руку, как делал это всегда, отпуская комплимент даме в свете, но вдруг почувствовал, что смущается и краснеет, как в юности.

Все эти разговоры тоже назывались работой над ролью. И были работой душ, которая позволяла им быстро идти вперед во взаимном влечении.

Граф еще не признался себе в том, что жажда ощутить

плотную волну лесных запахов, исходящих от девочки, становится раз от разу сильнее. И видеть ее странное, нездешнее лицо, и прикоснуться к бессильной руке... Что говорить о голосе? Как только она брала первую ноту, он терял волю. Все уступало этому – еще, еще, еще...

Параша становилась напротив него, держась за спинку кресла. Он утопал в кресле по другую сторону стола. Правый подлокотник был нагрет солнцем, пробравшимся через окно в просвет листвы. Тень от веток ходила по стене, бывшей фоном фигуре Параша, иногда ложилась на ее плечи, и Николай Петрович как замороженный следил за пятнами, выявлявшими милую округлость форм.

Душа отдыхала, прежде чем пережить самые высокие свои мгновения, прежде чем женский голос начнет свою страстную исповедь, восходя от затененных низов вверх – к сиянию, свету. Дрогнет пятнистая вязь на стене, дрогнет и пойдет выше и выше переливающийся звук. Этот миг внешней неподвижности станет для графа одним из мгновений безоглядного, одержимого внутреннего бега, приближающего к тому, за чем начинается неизвестность, пропасть, обрыв, туда не проникает мысль – туда выносит чувство отчаянной радости, заменившее Николаю Петровичу волю. Как хорошо! Какая небывалая, невозможная полнота бытия!

Все это не прошло незамеченным для окружающих. Удивленно переглядывались Дегтярев и Вороблевский, которым было запрещено прерывать графские занятия с Парашей во

всех случаях без исключения. Откровенно злилась Анна, ощущавшая торопливую холодность графа во время регулярных свиданий. И очень тревожился старый граф, зная строптивость сына, непредсказуемость его поступков.

Все чего-то ждали, все ощущали возникшую напряженность. И только двое проживали лучшие минуты своей жизни. Утро любви, светлое, еще безоблачное...

Он понял, что любит, после одного яркого и мучительного сна.

Во сне он раздевал ее, пробираясь через одежды и жесткий корсет к телу – такому новому словно недавно сотворенному. И оказалось, что не надо было стремиться к тому, к чему обычно стремился он, обладая другими женщинами. Достаточно было положить ладонь на то трогательное, не защищенное тканью пространство, которое открывалось вырезом платья – у основания шеи треугольник между ключицами и развилкой меж двух наливающихся возвышений. Покой... Тишина... И одновременно – музыка. Музыка неподвижная в ее лице – таком, каким он его никогда не видел: запрокинутом, с глазами, полуприкрытыми длинными ресницами, с закушенной нижней губой...

Это видение поселилось в нем и не уходило от того, что он раза два-три в неделю все же вызывал к себе Анну. С ней все происходило внешним, механическим даже образом и не касалось сознания, ничего не меняло и не облегчало ничего.

6

Репетиции затягивались. Затягивалось и строительство театра, к открытию которого Николай Петрович хотел приурочить премьеру «Белинды». Ждали от Ивара чертежа машины для сцены, способной извергать громы и метать молнии, а также быстро передвигать декорации вместе с полом.

Осень пришла ранняя, с холодами, бурями, в ноябре – с настоящими морозами. Актеры вместе с господами перебрались в Москву.

Здесь, на Никольской, вполне можно было показать высокому обществу «Новую колонию», но граф отказался. Не скрывал, что хочет представить Ковалеву в наилучшем виде, но умалчивал о том, что видели все бесконечные репетиции радовали его и были поводом для встреч с Парашей тет-а-тет. Между завтраком и обедом никто не смел входить в музыкальный кабинет, откуда доносились смех, пение, игра на виолончели и клавесине, обрывки разговоров. Параша и граф чувствовали себя вдвоем все свободнее, все раскованнее. Возникла потребность вновь видеть, вновь слушать друг друга, вновь делиться сомнениями и новостями. Они привыкали быть вместе, и в этом крылась опасность.

Анна совсем не без умысла решила именно в это время подружиться с Парашей.

Как только Калмыкова гасила внизу, на первом этаже актерского флигеля, свечи и закрывала двери на засов, думая, что все уже спят, на втором этаже начиналась своя жизнь. Девушки либо сбивались в стайки в больших общих спальнях, либо шушукались группками по углам. Тихо-тихо на цыпочках пробиралась Анна от своей отдельной комнаты к отдельной Парашиной (только им двоим полагалось такое жилье). Скреблась в дверь. И хотя Параша предпочла бы почитать, поиграть с Таней Шлыковой, которую опекала как старшая младшую, или, в конце концов, просто поспать, Анну она выпускала. Боролась с собой, преодолевая неприязнь по примеру святой Евпраксии, и не давала воли недружелюбию.

Сколько раз Анна обижала ее, высмеивая ее девичью неопытность и то, что Паша не пытается завести поклонника среди хористов или танцоров. Сколько раз подчеркивала свое превосходство в телесной красоте. Параша кротко соглашалась. Одно преимущество девочки Анна признавала безоговорочно – голос, но тут же оговаривалась, что одного голоса для театра недостаточно, а для жизни и вовсе мало. Без всякой охоты отворяла Анне дверь Параша и, уж конечно, не шла ни на какую откровенность с немилой гостьей. Анну злило, что девочка не подпускает ее к себе, держит на расстоянии, но затеи своей она не оставляла.

Вряд ли она ставила себе определенную цель, но неясным желанием ее было выведать что-либо об отношениях юной певицы и молодого барина. Как распорядиться тайной – это

можно решить после. Можно Пашку опозорить, уязвить ее сердце – она чувствительная. Можно старого барина Петра Борисовича напугать: мол, страсть пылкая, куда заведет? И принимать меры не самое ли время? А можно и молодому в нужный момент намекнуть – полощет Параша его белье, болтает языком.

Но Паша не болтала, ни об одной, даже самой крохотной, детали отношений с графом Буяновой не говорила.

Пришлось Анне несколько вечеров рассказывать младшей подружке об Артемии. Как сначала переглянулись. Как он коснулся ее, Анны, руки при входе в репетиционную комнату. А вот и вовсе событие – с дворовым мальчишкой передал ей записку. Риск большой: поймают парня – могут вернуть в село или плетьюми наказать на конюшне. Девуц-актрис у Шереметевых блюдут строго.

Записку эту читали вдвоем с Парашей ночью, при свече, поставленной под кроватью, чтобы никто не увидел света снаружи, через окно. «Мы, как птицы в клетке. Но душа моя летит к тебе...» Вот-вот из глаз Параша брызнут слезы. Самое время спросить:

– А у тебя было такое?

– Что... такое?

– Ну, чтобы тебе... так же?

Хоть бы соврала, что ли... И это пригодилось бы. Так, мол, и так, сказать Николаю Петровичу мимоходом: не такая тихоня эта Пашенька. Как все Нет, мотает головой девочка –

не было.

Последнее средство: сказать Параше о том, что у нее, Анны, с барином... Да страшновато. Чем ответит? Жаловаться не побежит, но что-нибудь совсем непредвиденное выкинуть может. Слезы развести или повеситься, как крепостной художник Семенов из-за чувств сделал. Ну а если совсем немного шагнуть в эту сторону и, в случае чего, назад отступить?

Как-то пришла к Паше ночью, бухнулась на лежанку, тихим голосом завела: «Ах, мой милый, ясный сокол...» Сунула Паше под нос тонкий батистовый платок.

– Понюхай, знакомо пахнет?

Знакомо. Было с этим запахом связано что-то хорошее. Но что? Не вспомнила.

«Одного вечор любила, нынче нового люблю», – мурлыкала Анна.

– Знаешь чей? – и платок ближе к Пашиным глазам, да так, чтобы виден был вензель, сплетенные «Н» и «Ш».

– Может, барина? – так спокойно, без всякого второго смысла спросила.

Анна поняла: «того» между барином и девчонкой пока точно не было.

Не меньше Анны обеспокоен был Петр Борисович. В отличие от актрисы он долго не придавал особого значения ежедневным встречам в библиотеке или в музыкальной го-

стиной и не видел в них беды. Да и мудро было увидеть: больно уж не похожа Параша на вертихвостку, способную вскружить голову взрослому мужу. Дитя чистое...

«Уж это увлечение театром!» – раздражался старый граф. Дни проводить в репетициях вместо того, чтобы выехать в свет... А в свете, известно, женщины, и должна среди них отыскаться в конце концов одна, которая обратит взоры сына в сторону гнезда. Он, старик, ждет внуков, чтобы спокойно умереть. Хочется ему знать, кому отойдет несметное состояние, а наследник не спешит, как с писаной торбой носится с голосистой девчонкой и тратит на нее все свое время!

Но постепенно смутные подозрения все же закрались в голову старика уже после возвращения из Москвы в летнее Кусково.

Его удивило решение молодого графа отметить Парашины именины. Тринадцать лет – дата не круглая, да и круглые празднуются не у каждого актера или актрисы. Впрочем, полетному, в парке... Может так, повод порадоваться жизни, погулять?

В тайне от именинницы Николай Петрович объявил труппе о предстоящем празднике, так что каждый в театре мог подготовить в подарок девочке песню или романс, а собравшись по двое, по трое – и веселую добрую сценку.

Стал готовить свой «сюрприз» и Николенька Аргунов. Воспользовавшись случаем, попросил у молодого барина

разрешения попробовать свои силы в парсуне. С природы она пишется, а значит, будет у него возможность видаться с Пашенькой и говорить.

От графа он получил разрешение, но девочка неожиданно заупрямилась:

– Ты же только горшки умеешь изображать похоже...

Дразнит его?

– Вовсе нет. Я научился, – он старался держаться как можно взрослее и увереннее.

– Ну, если бы ты и вправду умел, то понял бы, что нет во мне ничего такого, что на полотно просилось бы. Смеяться и над тобой, и надо мною будут.

Грустно так сказала. Неужели и вправду так думает? Но мальчик не нашел слов, чтобы быстро возразить ей. А она вдруг засмеялась и взглянула на него так ласково, что он и вовсе растерялся.

– Если ты такой мастер, барина молодого напиши. На медальон. Я его вот здесь, на груди, носить буду.

– Ну уж нет! – вспыхнул юный живописец. – Он, конечно, и впрямь красавец... И над нами господин. А только мне тоже дана воля, что изображать, если не по заказу.

До вечера он маялся, ощущая как занозу первый в своей жизни укол ревности. Вечером нашел выход. Три дня истово постился, сидя на сухом хлебе и воде, исповедался в церкви и причастился, а после, устроившись в иконописной мастерской в самом дальнем уголке, два дня писал крохотный, со-

всем миниатюрный лик Богоматери. Получилась Дева слегка похожей на Пашеньку, но это знал лишь он, иконописцы же не заметили и похвалили. И радость от хорошо сделанной работы сняла горькую мальчишескую обиду, просветлила душу.

Еще один человек был всерьез озабочен подарком для Пашеньки – сам молодой граф.

В ту шкатулку, что стояла у него в музыкальном кабинете на камине и хранила дешевенькие цацки для девушек, заглядывать не стал – не тот случай. Просто к золоту, просто к яхонтам Парашенька равнодушна. Тут должен быть знак особый, тайный смысл.

Помнились ему золотые цепи, которыми он сам играл в детстве, когда матушка приходила целовать его на ночь. На сестре Варваре он их не видел, значит, цепи ему отошли по завещанию. Отважился спросить у батюшки ключ от тайника.

– Зачем? – вопрос был прямой, вид у старика суровый, а взгляд пронизательный. Не проведешь, да и не умеет хитрить Николай Петрович.

Попытался ответить уклончиво. Мол, в матушкином наследстве есть и его доля, мол, сестре изумруды и яхонты отдали, пора бы и ему свое получить...

– И тебе отдам сразу, как женишься. Зачем теперь-то?

Пришлось молодому графу признаться:

– Хочу порадовать девицу более чем достойную ко дню Ангела.

– Прасковью-то? И я к ней расположен, росла на глазах. Но... Не дай Бог, если матушка там, на небесах, твои слова слышит. Семейные драгоценности... Десятилетиями, да что там, столетиями копившиеся... От прабабки – бабке, от матери – к дочери переходившие... И вот так, простой девке? Да не свихнулся ли ты, сын мой?!

– Она... Она... Актриса чудесная, редкая...

...В этот миг они, почти столкнувшиеся лбами в напоре, были удивительно похожи друг на друга. Гнев занимался, гнев разгорался в них с одинаковой скоростью. Оба пытались сдержаться и оба могли вот-вот сорваться в открытую ссору. Даже пятна на лицах у них выступали зеркально. У одного – склеротические, со старческой синевой, у другого – еще поюношески розовые, но одинаковых очертаний.

– Впрочем, – отступил молодой, боясь худших неприятностей, чем невозможность взять из тайника золотые цепи (он так и видел их на милой девичьей шее!), – Впрочем, хоть театр-то по-прежнему в полном моем распоряжении? Я многое хочу в нем поменять.

– В полном, – недовольно махнул рукой старик. – Делай там что хочешь.

На ровной полянке расстелены скатерти, в серебряных ведерках со льдом вынесены бутылки шампанского. Не слыш-

ком ли шикарно для такого случая? Но не стал старый граф попрекать управляющего, потому что отвлекся на именинницу, впервые увидев ее в совсем неожиданном свете.

В красной шали на фоне яркой летней зелени она вся была как в огне. С гитарой вышла на пригорок:

Мил, любезен василечек –
Рви, доколе он цветет,
Солнце зайдет, и цветочек...
Ах, увянет, упадет.

Закружилась, замелькала в глазах полымем.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
«Ай, ай, ай, жги!» – припевай.

Впервые после смерти жены и дочери старый граф вспомнил, что женщина может пьянить, захватывать душу и волновать над ней. Песня была не цыганская, слова сочинил поэт Дмитриев. И Параша не перенимала цыганскую манеру полностью. Все под простонародность, но только «под» – с изяществом и грацией аристократки. А темперамент, а внутренняя сила в ней были те самые, которые даются одной из многих и против которых не устоять.

Первым преподнес подарок сам Петр Борисович. Не без

труда встав с единственного на поляне кресла, специально для него из дворца вынесенного, он набросил на девушку вторую шаль – кашемировую, цветастую.

Художник Николай Аргунов через голову повесил девушке на шею ладанку с ликом Богородицы, подруги подарили вышитые рушники, вязаные скатерки.

Когда очередь дошла до молодого графа, все вдруг смолкли. Николай Петрович, известно, щедр с девицами, скольких одарил кольцами и брошками за особые услуги. Что достанется этой?

Букет. Огромный изысканный букет белых заморских лилий, выращенных в оранжерее. Такого не ожидал никто, такое водится между барамы, но чтобы хозяин своей крепостной... Пусть даже актрисе... Но еще удивительней был его тост.

– За именинницу! За Парашеньку! – и после того, как выпил: – Довожу до вас, друзья мои, что несравненную нашу певицу отныне все мы с почтением будем называть Прасковьей Жемчуговой. Ибо она – чистый жемчуг среди других драгоценных находок нашего театра. Зная равнодушие именинницы к золоту, яхонтам и прочим украшениям и стремясь приготовить подарок, соизмеримый с ее талантом, мы решили искать его в совершенстве любимого нашего театра. Поэтому здесь сообщу вам о грядущих переменах в нашей жизни. Мы оставляем все прежние постановки, которые не смогли довести до желаемого вида по многим причинам, и

приступаем к новой работе.

Главные мужские партии остаются по-прежнему за Кохановским и Дегтяревым. А вот диспозиция с женскими ролями изменится. В каждой опере, с которой вы отныне будете знакомиться, главной героиней будет несравненная наша Пашенька. Она отныне первый сюжет. На второй назначаю Буянову, какая будет зваться на сцене Изумрудовой. Присваиваем имя Гранатовой Тане Шлыковой, поощряя прежде всего за танцы. Прежних наших девиц на первых ролях не обидим, просватаем не без приятности.

Ты будто огорчена, Степанида? Долгие годы ты радовала наш слух, в хорошем приданом найдешь за то награду.

Не ответила ничего Дегтярева, только низко склонила голову. Тоска на лице другой первой «звезды» Беденковой, недавно родила она дочку и жила в селе, но на приглашение Параша прийти на празднество не отказалась. Зло закусила губу Изумрудова. Щурится, скрывая ревность свою, давно влюбленный в Парашу Аргунов. Актеры насмешливо перешептываются, Параша чувствует себя мишенью под их взглядами, тонкий ее слух улавливает: «За какие заслуги?»

– И еще, – продолжал Николай Петрович, – еще сообщу вам, что в отличие от прочих певцов, даже первоклассных, Прасковья Ивановна будет иметь свои покои не во флигеле, а во дворце. Во-первых, потому что девица сия жила во дворце в детстве, будучи воспитанницей Марфы Михайловны, и княгиня по ней скучает. Во-вторых, куда чаще, чем к другим,

я хочу обращаться к ней за советом относительно всех театральных дел, потому что, невзирая на юный возраст, обладает она вкусом отменным и знаниями весьма обширными. Безмерно почитаю в ней талант и нравственные свойства.

Теперь изменился в лице Вороблевский. Сколько лет он был единственным советчиком барина. Какую оперу ставить, как лучше перевести ту или иную сцену с иноземного языка на русский – все решал он. И вдруг – девчонка...

Встрепенулся и старый граф. Взлетели вверх тонкие брови калмычки Аннушки, взятой во дворец для «восточного колорита». Теперь она, подросшая и недобрая к слугам, повсюду сопровождает, старого барина, обращая его внимание на все недостатки в доме. Непорядок, ой беспорядок...

Параша нервничает. Треплет тонкими пальцами бахрому алой шали. «Зачем он? Почему не предупредил вчера в библиотеке? Она бы уговорила: не так все надо делать...»

И даже княгиня Долгорукая, единственный человек, который радовался за себя и за девочку без оговорок, чего-то вдруг испугалась и не к месту охнула.

Бросилась к Пашеньке с поздравлениями только Таня Шлыкова. Девочка все больше и больше привязывалась к старшей подруге.

– Паша, ты рада? Рада? – шепнула Таня, целуя в щеку.

– Не знаю, – лицо именинницы горело. – Тревожно как-то, – тоже шепотом ответила Параша.

Она и до этого сталкивалась с завистью, зависть сопровождала ее с той минуты, как выделил ее молодой граф среди прочих девиц, поручив роль Белинды. Но, будучи доброй и доверчивой, она не обращала на зависть внимания и ощутила ее лишь тогда, когда злое чувство достигло той плотности, при которой она бьет, как кулак. Кулаком-то ее даже пьяный батюшка никогда не бил, а вот зависть ударила, чуть с ног не сбила.

...Что-то неладное сразу почувствовала, когда Анька предложила:

– Давай вечером праздник продолжим меж собою. Твое возвышение отметим, во дворец тебя, дорогую-разлюбезную, проводим.

Ох, не хотелось праздновать Параше, но откажись – и впрямь сочтут: вознеслась.

Общий ужин на девичьей половине актерского флигеля начался как всегда. Только Анна к чаю выложила на блюдо птифуры, прихваченные с дневного пиршества.

Таня Шлыкова протянула к пирожному руку. Сильно хлестнула по ней своей пухлой и крупной рукой Анна:

– Отяжелеешь. Сильфиду представлять не сможешь.

И съела маленькое пирожное сама, двумя кусами.

– А тебе можно? – огорчилась Танюша.

– Мне другая роль предназначена. Вот смотри, – Анна больно схватила Парашу за руку и вытянула из-за стола. – Эту корми не корми, все равно такой не будет, – и Анна звон-

ко шлепнула себя руками по крутым бедрам. – И здесь, – оттянула глубокий вырез, – видишь что? А у этой «жемчужины»? Чем здесь любоваться можно? – рванула Анна Парашино платье на груди.

Та отступила, бледнея:

– Не трожь...

– Ишь, недотрога нашлась. Знаем таких Только помни: тебе со мною не равняться. Короток бабий век. Голос тебе дан, так ведь и он не вечен. Аль самого барина хочешь? Много таких найдется. Танька была Беденкова – не тебе чета. И что? По ночам кровью кашляет над дочкой своей. Остерегись, дура. Дорогу другим уступи, что тебя постарше.

– О чем ты? Не понимаю я.

– Ишь, непонятливая!

Тянула за подол Парашу Таня Шлыкова:

– Пошли, Пашенька, отсюда.

В коридоре Таня прижалась к Параше, и в рев:

– Не оставляй меня с этими злюками. Возьми с собой во дворец.

Параша обняла девочку за плечи.

– Не плачь, Танюша. Плохая я тебе защита, а все же... Не брошу.

А на другой день, придя в библиотеку на очередной урок, Николай Петрович увидел на месте Парашин... старого графа Петра Борисовича. На невысказанный вопрос тот ответил:

– Девицу отправил прогуляться к пруду.

Когда же сын в гневе развернулся, чтобы уйти, старик властно остановил его:

– Разговор есть.

Николай Петрович взорвался:

– Я полагал, что вам негоже равняться с помещицей, которая для аппетита и хорошего настроения щиплет дворовую девку. Позвал, прогнал... С кошкой так не поступишь, с собакой... Сюда пришла репетировать свою партию блестящая певица, не только достоинством человеческим, но и редким Божьим даром владеющая.

– Девчонка сопливая – раз, в нашем владении находящаяся – два. Не больно-то заигрывай с крепостными, помни, какой урок нам преподавал Емелька Пугачев.

– Как же тогда с идеалами вольности и равенства, которые императрица сама провозгласила вслед Вольтеру и Дидро?

– Пикантные извороты досужей мысли... А уж после «маркиза» Пугачева и вовсе... По мне что Спарта, что Афины, лишь бы все оставалось как есть.

– Зачем тогда провозглашать высокие истины?

– А затем, что слова «равенство», «свобода» звучат приятнее, чем «ложь», «рабство»...

– И только-то? Но... Представьте себе, что вы родились не графом, а одним из тех, кого можно... вот так послать погулять. А при случае – и под плети. Какая, однако, боль и несправедливость!.. Душа та же, суть та же...

– А ты представляй, что ты граф! Не раб – господин! Только дурень не понимает, что несправедливость всегда допустима, если доставляет выгоду! Вы бы, сударь, лучше помнили: от рождения владея рабами, вы управляете частью империи. И держать их в руках – ваш долг. Дурень!

Ярость перехватила горло Николаю Петровичу – какое безверие, какое высокомерие! Цинизм какой!

– Да, я дурень! Потому что считал: положено иметь убеждения, из которых дела вытекать должны.

Но и старый граф был охвачен гневом. И, как обычно в такие минуты, желание поиздеваться над собеседником, «потоптаться» на нем взяло верх над логикой и разумом.

– Зачем же, позвольте, убеждения, коли есть соображения? Соображения же твои такие: Пашку очередной своей отрадой сделать и, пользуясь тем, что девица не дура, обставить все самым возвышенным образом. Ах, романтизм какой! Ах, как равны-то все... Ах, певица, ах, репетиции, ах, лилии – цветы невинные... А сам на нее смотришь, как кот на сметану... И во дворец надумал, поближе к спальне...

– А это уж дело мое, и ничье более!

– Заблуждаетесь, сын мой! И мое! Не позволю девицу переводить во дворец, пусть остается во флигеле. Как могу уйти на тот свет, зная, что наследник брюхатит своих актеров и не живет христианином, с женой и детьми? Хватит!

– «Христианином»... Из-за вас маменька столько слез пролила, вновь и вновь принимая побочников на воспита-

ние!

– Не смей покойницу трогать! Ты ее не стоишь!

– И вы не стойте! – с этими словами Николай Петрович так хлопнул дверью, что из ближайшего окна посыпались стекла. А Петр Борисович отвалился на спинку кресла. Дурно ему стало. Душно.

– Лишу наследства, – хрипит. – Всего лишу. Господи, за что караешь? Варвары нет, Анны нет... А этот... Этот... Прощка! Прощка, капли сердечные!

Параша и впрямь гуляла у пруда, как велел старый барин. Не приказал даже, попросил; надо срочно поговорить с сыном. Знала ли, что разговор о ней? Не знала, но чувствовала необъяснимую тревогу. И уж совсем испугалась, увидев бегущего к ней Николая Петровича. Побелевшее лицо дергалось, движения были размашистые и вразброс, будто махал издали кому-то руками.

– Ковалева! Ковалева! Парашенька! Собирайся, едем!.. Иди переоденься. Что-нибудь поярче.

И тут же поспешавшему за ним лакею:

– Беги на конюшню. Двухместную карету! В Москву! Да живее!

В большом смятении прошла Параша те несколько шагов, которые отделяли крыльцо флигеля от экипажа. В любимом своем алом платье, в туфлях на каблуках. Глянула на окна –

во всех белеют лица. Все смотрят – и актеры, и актрисы. И все видят, как подсаживает ее граф, словно знатную даму, в золоченый выходной экипаж.

Цок-цок – весело постукивают по дороге копыта. А в закрытой от посторонних глаз карете они двое, и меж ними тишина. Первым заговорил граф:

– Парашенька, – голос грустный и нежный, – ты не спрашиваешь, о чем говорил со мной батюшка. Он не хочет, чтобы ты переезжала во дворец. Но я потребую...

– Вот и не надо этого вовсе... Я боялась сказать вам, но... Мне неловко от других актеров отрываться и быть над ними. Когда докажу своим старанием – иное дело... Когда спою так, чтобы всем понравилось, как вам, тогда сами выделят...

Говорит, а глаза вопрошающие – то ли делаю? И на все, на все согласные. Доверчивые, любящие глаза, девочки, девушки, женщины.

– Что ж не спрашиваешь, куда везу тебя? Куда умываю?

Пожала плечами:

– Куда бы ни везли... В оперу, вы сказали.

– Передумал. Я решил... встряхнуться. Развлекся. Плохо мне... здесь... – приложил Николай Петрович руку к груди.

И ей плохо, и ей хотелось ему пожаловаться, рассказать о своих горестях. Но разве может она на него свои беды вешать, коли и своих у него хватает?

– Да и тебе пора узнавать взрослую жизнь. Ты вот по-цы-

гански пела, а цыган никогда не слышала. Поедем к цыганам?

Кивнула согласно. Мол, все одно, лишь бы так было – и жизни не жаль, и души не жаль, и ничего прочего совсем не жаль. Не сказала, да он и без слов услышал. А руки ее на коленках так странно лежат – ладошками вверх. И захотелось ему уткнуться лицом в те детские ладошки, как когда-то утыкался в ладони матери – обиженный, заплаканный, несчастный.

Не очень ловко, не слишком умело опустился на дно кареты. Вздрогнула девочка, отвела руки, и он лбом ощутил прохладный шелк платья там, где оно обтягивало девчоночьи еще, не мягкие коленки. Сквозь шелк шло ровное тепло, странно легкое, не женское, а детское.

– Можно... погладить? – спросила его, как когда-то в совсем ином мире и времени – в деревенском своем детстве.

Вжался лицом в ложбинку меж коленями – да, да. И ощутил ласку ее рук – легкую, прерывистую, словно дуновение.

Тишина и бездна...

Бездна и тишина, похожая на обморок.

Они очнулись, когда кучер спросил, какой дорогой ехать.

Граф попросил:

– Ты напой что-нибудь... Повеселее.

На все для него готова, лишь бы сбросил он с себя печаль. А уж петь-то ей – что дышать. Да если ритм движения! Да если для него, того, к кому уже привыкла, с кем связана при-

ВЫЧНЫМ ВОЛНЕНИЕМ!

У речки птичье стадо
Я с утра стерегла.
Ой, Ладо, Ладо, Ладо!
У стада я легла.
А утки-то кря, кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га, га,
Га, га, га, га, га, га, га, га.

Отъехали далеко от Кускова. На широких, открытых солнцу полях уже начиналась жатва. Мужик, прикрывая глаза от солнца, смотрел на пролетающую мимо карету. Взмокла от пота посконная рубаха, на которой даже издали выделялись огромные заплаты. Молодуха чуть поодаль закрыла от взглядов грудь и кормила ребенка, прячась за копной. Все это схватывал Парашин взгляд, а мысль отмечала: там, там ее место, а не в роскошном барском экипаже.

Впереди огромный пустырь, посреди дороги лужа, в ней развалилась свинья с поросятами. И вполне натуральные гуси вторят песенному «га, га, га». Параша смеется, и смеется граф, глядя на нее.

– Пой, Пашенька, ну пой же... Где ты услышала такую смешную песенку?

– Подружки научили. Дальше еще смешнее.

– Утешаешь меня?

– Мне не хочется, чтобы вам было грустно.

Под кустиком уснула,
Глядя по берегам.
За кустик не взглянула,
Не видела, кто там.
А утки-то кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га.

Приблизила свое лицо к лицу графа, озорно блестя глаза в полутьме кареты. Все мрачное забыто, все трудное отодвинуто. Друг с другом играют ребенок и взрослый. Она поет, он подпевает, повторяя смешную припевку.

А они уже едут по ямской слободе. Улыбаются из окон толстые трактирщицы и миловидные заезжие провинциальные барышни, сидящие на балконах с французскими романами, пытаются показать прохожим повыгоднее и ножку и вздернутый носик.

Почасту ветерочек
Дул платьице на мне;
Почасту там кусточек
Колол меня во сне.
А утки-то кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га.

Как бы из благодарности за удовольствие Николай Петрович берет ее руку и целует. Рука совсем детская; маленькая и шершавая, совсем не похожа на «бархатные» руки записных

красавиц, рука, не привыкшая к французским притиркам и не пахнувшая духами. Здесь опять он ощутил запах нагретой солнцем лесной малины.

За кустиком таяся,
Иванушка сидел,
И тамо, мне дивяся,
Сквозь веточки глядел.
А утки-то кря, кря, кря,
А гуси-то га, га, га.

– Смешная песенка, – улыбнулся граф. – Озорная.

Музыка... Не скрипки, конечно, а трубы и барабаны. Карета проезжала через военную слободу. На берегу Язуы идет гулянье, танцы, променад. Бравый юнкер послал Параше воздушный поцелуй, и граф, нарочито сердясь, опустил шторку.

И сразу исчезла непринужденность. Таинствен блеск глаз. Параша осторожно отодвинула уголок занавески, чтобы впустить в карету солнечный луч.

...Все вдруг стало в молчании так просто, так ясно, как в том ее сне в библиотеке, который был равен яви. Вот и явь теперь равна сну. Она смотрит на него, потому что смотреть – радость и удовольствие. Полная открытость, доверие, нескрываемое любование дорогим человеком и детский почти восторг от того, что свершается вымечтанное, потаенное, невозможное. А он снова, словно прося защитить от бед,

положил голову ей на колени. Параша гладит и гладит светлые кудри, а после, благоговейно приподняв его лицо, целует лоб, глаза, ресницы. Сколько прошло времени? Мгновению следовало остановиться и лошадям замереть, но они уже въехали в первопрестольную. Виден Кремль, звонят колокола, рыночные торговцы предлагают разную снедь, нагло заглядывая в оконце, пристают бараночники.

Проехали театр Медокса.

– Вот и Грузины, – сказал Николай Петрович. – Приехали.

В окраинном ресторане графа провели в самый дальний, затененный угол. Здесь на большом диване так естественно было сесть близко, плечо к плечу, нога к ноге. Вот рука его ласково обвила ее шею. От этого и от шампанского пошла голова кругом, а уж от хора... Что-то внутри сдвинулось, и стало Паше так хорошо, как и не может быть на земле человеку.

Граф оказался в ресторане самым почетным гостем. И Парашу не обошли вниманием красивые парни с гитарами: ей, только ей дарили они надрывные свои напевы. По малейшим ее движениям угадав редкую музыкальность, они вдохновлялись все больше. А она разгоралась в ответ.

– Не цыганка ли, не наша ли барышня? – спросил молодой певец в красной атласной рубахе.

– Ваша, сердцем ваша, – неожиданно бойко, раскованно ответила Паша.

А уж когда она сначала подключилась к мелодии, а после перехватила ее и повела, восторгу хозяев не было предела. И величальную ей спели, и танцевали около стола в ее честь с особым запалом. Николай Петрович смотрел на нее с удивлением и восхищением и видел, как на глазах рождалась какая-то особая, не поддающаяся обычным оценкам красота, которая, как и цыганская, может приколдовать, увести невесть куда, сгубить. Глаз нельзя было оторвать от пылающего, яркого, каждую секунду меняющегося лица, от угловатых и ритмичных ее движений.

Тут и подошла к столу старая цыганка с дубленным морщинистым лицом, огромной серьгой в одном ухе и трубкой.

Всем граф давал немалые деньги, но с ней был щедр без меры. Цыганка взяла Парашину руку и, отложив в сторону дымящуюся трубку, долго рассматривала, водя указательным пальцем по линиям ладони. И в лицо время от времени вглядывалась острыми, как у хищной птицы, глазами.

– Ты любишь. И он любит. Только ты знаешь это, а он еще не знает, как любит. Узнает нынче...

Опьяненный цыганскими песнями, шампанским, а, главное, близостью Параша (этот запах лесной малины!), граф снова поднялся, чтобы одарить весь хор. Судьбе нужно быть благодарным. В этот миг и увидел его заглянувший к цыганам князь Яшвиль с друзьями.

Князь-полковник по-грузински горяч:

– Ваше сиятельство! Николай Петрович! Сколько лет,

сколько зим! – обнимая Шереметева, похлопывая его по плечу, он одновременно оттеснял его в сторону, противоположную той, где сидела Параша, окруженная цыганами. – Рад видеть тебя, уже собирался заехать к тебе в Кусково, и вот везение: ты здесь. Есть разговор.

И, усадив графа за свой столик, князь задышал ему в лицо:

– Предлагаю объединяться. Пора приближаться к власти и нам, не все же нами старикам править. Это судьба! Сегодня, именно сегодня прекрасный повод представить тебя новому фавориту государыни, – это он говорил, уже совсем придвинув лицо к лицу графа, так, чтобы никому не было слышно. – Пробиваться легче, поддерживая друг друга.

Пьян? Да вроде не пьян. Возбужден, но не вином.

– Ты о ком?

– Знаешь, с кем императрица Екатерина утешается после того, как предыдущий любимец женился на ее фрейлине? Взгляни туда, – показал глазами Яшвиль. – Запомни, друг: Зубов. Его зовут Платон Зубов. С виду мягок и... не производит впечатления. Молод к тому же. Но по влиянию на царицу не уступает самому Потемкину. Самое время приблизиться, пока не все места подле него заняты.

И, не спрашивая согласия, под локоть подвел графа к субтильному ротмистру с темными, «бархатными», женскими глазами.

– Платон Александрович! Позвольте представить друга...

Вот какие орлы влачат свои лучшие годы вдаль от двора вместо того, чтобы украшать его. Богат – богаче нет. Знатен – знатнее быть нельзя. Образован, брал курсы в Европе... Граф Николай Петрович Шереметев.

Ротмистр еще не привык вращаться среди знати и потому был польщен.

– Ваш род известен. Ваш дед... Ваш батюшка... А вы?.. Неужели и впрямь не в должности?

– Прочат директором Московского банка.

– Для кого другого большая честь. Для вас, мне кажется, место... обочинное. Надо подумать, с матушкой Екатериной посоветоваться. При случае...

Яшвиль незаметно толкнул Николая Петровича в бок, а вслух сказал громко:

– Слово не обух, в лоб не бьет. Поговорить стоит, получится – хорошо, не получится – что ж... А сейчас – едем! У Измайлова собрались картежные академики.

А Зубов вдруг по-детски доверчиво сказал Шереметеву:

– Академиком сих побаиваюсь. Боюсь проявить свою несообразительность и прослыть глупым. А карточное дело придется освоить, ибо должен я каждый день составлять компанию государыне. По утрам играем на интерес во что-либо простенькое. Вечерами же на двух столах в «макао». Выигравший черпает ложечкой бриллианты из шкатулочки, – Зубов сглотнул слюну, и глаза его стали грустными. – Ни разу не довелось, но главное перед светом... Поможете

мне советом или партнерством?

– Охотно. Однако же сейчас...

Яшвиль не дал закончить, снова потянул графа за локоть и в сторонке горячо зашептал:

– Ты редко появляешься в Москве. Второго случая такого не будет. И если позволишь... Дама поймет. Где она? Здесь о певичке из твоего театра ходят слухи...

«Неужели уже о ней?» – подумал Николай Петрович и, видно, резко изменился в лице, потому что Яшвиль осекся.

– Все. Молчу, молчу, – глазами показал в сторону Зубова. – Верь мне, это судьба.

Николай Петрович путано объяснял Параше, почему должен срочно покинуть ее. Что-то о картах, что-то о карьере, что-то о мужской дружбе... Сбивался под ее взглядом, начал сначала. Параша молча поднялась, спокойно и ласково поблагодарила цыган и вышла.

Граф был в растерянности. Подсаживая в карету и целуя руку, спросил:

– Где будешь ждать меня? На Никольской? На Воздвиженке? – и только спросив, спохватился, что в Москве с ним она в первый раз, что вообще не знает порочного языка его прежних связей, что все другое, другое... Расширились темные бездонные глаза, вспыхнули щеки Параша.

– В Кусково! И быстро! – так властно это было сказано, что кучер рванул с места.

– Постой! – а громко кричать Шереметеву неловко.

Дернулось лицо графа, провожавшего глазами быстро удалявшийся экипаж.

Играть в карты ему хотелось еще меньше, чем минуту назад.

В карете за опущенной шторкой Параша дала волю слезам. Она даже прилегла на сиденье, потому что плакать всегда лучше лежа. Бархат подлокотника стал мокрым, глубинная сладость рыданий исчерпалась, уступив место противной, тянущей душу пустоте, а Параша все гнала от себя мысли о том, что произошло и что будет дальше.

Но вот кучер Игнат остановил тройку, чтобы зажечь каретные фонари, стало совсем темно. Параша поднялась, откинулась на спинку и застыла.

Почему она послушалась господина? Что оскорбило ее? Зачем все эти слезы?

Она не могла бы ответить себе на эти вопросы внятно. В рамках привычного, того, что она видела каждый день, ответа и не было. Николай Петрович – хозяин, его желание – закон. Вот захотел он ей сделать приятное – привез к цыганам, был внимателен. А после занялся своими делами, отодвинув ее с дороги. Его право. Ее долг – повиноваться.

Но под этим внешним происходило нечто очень важное и совсем другое. И там многое решала она. Он спрашивал, она отвечала. Он просил о любви, она соглашалась. И... Вдруг отношения перешли во внешнюю, всем видную плоскость,

где у нее нет воли, нет прав... Как с куклой. Нет, с куклой она никогда не поступала так была нужна – стала ненужной. Как с вещью, в которой больше не видят никакой пользы.

Нельзя сказать, чтобы она успокоилась, осознав в себе естественную женскую гордость. Скорее обрела решимость. В село так в село, в монастырь так в монастырь. Если бы барин приказал ей быть с ним всюду, она бы поняла это как приказ. Но он не приказывал, он добивался. Она открыла душу, и она вправе закрыть ее. Если сможет...

Руки вспоминали его кудри, колени вспоминали жар его дыхания, и все мысли путались от желания принимать его ласки.

В тот вечер граф неправильно истолковал для себя Парашину обиду. Он решил, что оскорбил невинность, предложив девице остаться в Москве на ночь. Николай Петрович и подумать не мог, что она настолько невинна: именно покушения на ее девичью чистоту она и не заметила. Впрочем, он не знал точно, хочется ли ему спать с ней, делать то, что он делал с другими? Рвать, мять, вторгаться... Эта девочка для такого не подходила. Просто видеть, просто любоваться новой, недавно сотворенной Господом красой... Больше всего на свете ему хотелось тут же исправить свою неловкость. Броситься вслед, догнать и целовать плачущие глаза (в том, что она плачет, он почему-то не сомневался), ощущать солоноватый вкус ее слез.

А между тем Яшвиль уже вводил его в гостиную с большим столом под зеленым сукном.

Даже играя в паре с Зубовым, Николай Петрович не смог собраться – оба остались в проигрыше, и немалом. Подвыпивший Яшвиль, чувствуя себя в ответе за «учителя», пытался объяснить фавориту императрицы:

– Платоша... Ты на него не злись. Ему и не должно везти, ибо везет или в любви, или в картах.

У графа задергалась щека, и неожиданно для окружающих он ответил на шутку гневной вспышкой:

– Прошу не касаться моих дел и не совать нос туда, куда не положено.

Как порох вспыхнул и южный человек Яшвиль, ответивший дерзостью и обещанием не иметь дела с бирюками, предпочитающими глупую деревенскую жизнь жизни столичной и просвещенной. Все шло к дуэли. И если бы не Измайлов, не любивший скандалов за картами и потому выманивший Яшвиля в другую комнату, а после и вовсе под каким-то предлогом из своего дома спровадивший, неизвестно, чем закончилось бы представление Шереметева-младшего «нужному человеку».

...По дороге в Кусково граф чувствовал себя препротивно. Трезвый утренний ум был согласен с батюшкиными «предупредительными» суждениями. Зарекался не связываться с девчонкой, с дитем, да норов подвел. Теперь распутывай узелок.

В то же время он жалел Парашу, как никогда никого прежде не жалел. Впервые в жизни он как бы вошел в чужую шкуру, ее обида ранила сильнее, чем свои собственные обиды, а мало ли их было? Он закалился, а бедный ребенок... Как загладить свою вину? Что сделать? Что сказать? Происшествие было какое-то нечеткое, непонятное, отношения – и того более. Храбрый в простых и однозначных ситуациях, в подобных сложностях граф был, как и многие мужчины, очень нерешителен. И потому решил он положиться на судьбу, а пока прекратить занятия в библиотеке, тем более что требовались уже самые настоящие репетиции.

Лето катилось к своему концу. Кусковский театр еще не был по-настоящему переделан, новую машину для сцены изготовить не успели. В конце концов все же решили показать «Колонию» этим летом, в прежнем театре, пригласив самых близких знакомых. Приехало куда больше народу, чем ожидалось. Собрался весь свет, прослышав о затее молодого графа устроить домашний театр на европейский манер. Ходили слухи о редкой певице, которую Шереметеву удалось отыскать среди собственных крепостных. Сплетни разожгли любопытство: влюбленность Николая Петровича ни для кого не являлась секретом, о ней не знал только он сам. Точнее – не хотел знать.

Дни от поездки к цыганам до премьеры были самыми

горькими в жизни Параши. Она боялась разговора с баринном. Тысячи раз прокручивала в уме тысячи возможных диалогов. Объяснит так... Нет, так... Или, как Белинда, будет абсолютно искренней и откроет ему все свои чувства. Сегодня же... Нет, завтра... И только через неделю она поняла, что разговора не будет. Поначалу это просто потрясло ее. Она не интересна ему, все так просто. Но согласиться с этим было невозможно, и память услужливо подсовывала детали: то, что произошло тогда в карете, не может случаться с каждой. Он был как ребенок, нуждающийся в ласке и утешении. Трепетность, нежность – их ни с чем не спутаешь.

Репетиции шли на сцене, и вел их Вороблевский. Иногда в зал входил граф, но тут же, посмотрев действие минут пять, уходил. Все эти пять минут ей было больно дышать, смотреть, слышать. Только необходимость петь переключала в ней что-то и приносила облегчение. Все кончено. Но в глубине души, на самом ее дне хранилось другое знание: она и граф уже связаны, и связь эту не оборвешь собственной волей. На самом деле взаимное притяжение только растет, и потому ничто не кончено. Все впереди!

Зал был переполнен. Гостей принимал старый граф, а Николай Петрович укрылся от всех в боковой ложе. Больше всего он волновался за Парашу. Под силу ли ей целых два часа пробыть на виду? За этой мыслью крылась другая: выстоит ли она без его поддержки? За этой, другой, таилась и

вовсе не выявленная, им самим для себя не высказанная – не слишком ли болезненным стал для нее разрыв? Он виноват. Он опытен, почти стар, она – девочка. Бросить ее одну в такой момент». От мысли о ее беззащитности начинало ныть в груди. Вдруг обнаружившая себя способность переживать за другого человека мучила его, изнуряла.

Но как только пошло действие, он забыл обо всем, что не было музыкой и... Белиндой.

Как хороша оказалась его Белинда! Не поющая статуя, не российская примадонна домашнего замеса, а неповторимая возлюбленная. В Белинде-Параше обнаружилась чувственная яркость расцветающей женщины. Откуда эта волнистая линия полуповорота? Грудь невысокая, но дающая плавный сход на талию, волнующее расширение в бедрах, линия ноги удлиненная и напрягающаяся из-за высокого каблука – коварного изобретения французов, только что достигшего России. Как загораются глаза мужчин, как провожают они взглядами каждое движение Ковалевой на сцене!

Параша вошла в красную девическую пору. В богатом, алом с голубым рисунком, парчовом платье, со сверкающей драгоценными камнями диадемой в смоляных волосах, она была не просто хороша, а еще и недоступна величественна. Николай Петрович видел перед собой настоящую, породистую женщину, о такой можно только мечтать. Все рядом с ней «мебель», фон. Буянова – обученная коровница, Дегтярев – застывший на месте хорист, Кохановский – партнер,

подбрасывающий слова. А вот Белинда-Жемчугова отвечает на все в опере происходящее неожиданно тонко и страстно, одновременно пылко и изысканно. И всем в зале интересно смотреть только на нее, только с нею поражаться, печалиться, страдать, ликовать.

И голос ее ни разу не потерялся среди других голосов. Неповторимым тембром своим и выразительностью он околдовывал, вознесенный над остальными голосами. Граф всегда верил в миф о сиренах. Склована воля, и все обеты забыты. Только бы видеть ее, только бы слышать ее снова и снова. Помани она пальцем – сию минуту, на глазах у всех пойдет он в мир светящейся жемчужной лазури.

– Фора! Фора! – взорвался зал театра, как только Параша закончила арию в финале. Молодые мужчины протиснулись к сцене, чтобы бросить к ее ногам кошельки. Некоторые из них вскакивали на сцену, чтобы отдать золотые броши, кольца.

Николай Петрович не помнил, как очутился с Парашей рядом.

– Умница! Какая же ты умница! – целовал он ей руки. – Кланяйся, милая! Я виноват перед тобой. Прости.

Она кланялась, вызывая новый взрыв оваций.

Со сцены граф соскочил, чтобы занять место в первом ряду рядом с батюшкой, который словно вылил на него ушат холодной воды:

– Дурень! Девке-то руки... При всех... Щенок!

Хорошо, что аплодисменты заглушали довольно громкий шепот старика. Боже мой! Какое значение имеет то, что он граф, а она – крепостная. Они оба музыканты, и ближе их нет в этом зале.

За кулисами они бросились друг другу в объятия. Ничего не было, ничто не может их разлучить. Тому, что началось в полутемной карете, суждено продолжиться.

– Какой успех, Пашенька! Твой успех...

– Ваш!

– Какая Белинда! Я не знал тебя... Я не знал, что ты так красива...

Она не оттолкнула его – напротив, приблизившись, уткнулась лицом в его грудь.

– Я... Я люблю тебя.

– И я вас.

– Ты придешь?

В этот миг аплодисменты в зале достигли нового пика, и Параша, высвободившись, побежала кланяться, а вернувшись, сказала:

– Я приду.

– Я велю Калмыковой, тебя выпустят после десяти вечера.

В мой кабинет...

Ни граф, ни Параша не видели Буяновой, укрывшейся задником и слышавшей весь их разговор.

Параша лихорадочно примеряла платье перед зеркалом. Одно, второе, третье – на лежанке образовалась гора отвергнутых нарядов. Алое! Она знала, что все оттенки красного ей идут. Именно в этом алом она была с ним в Грузинах у цыган. Приложила платье к груди, огненные блики усилили природную яркость лица. Хорошо. Но тут представила, как пойдет в алом мимо Калмыковой. Да и во дворце ей может кто-нибудь встретиться. Нет, лучше серое, невидное.

Торопясь на свидание, Параша забыла закрыть на задвижку дверь и вздрогнула, почувствовав на себе взгляд Буяновой. Закрылась платьем:

– Ты что, Анна?

– Да вот пришла. Думала, ты празднуешь успех, французское с подружками распиваешь. Хотела присоединиться.

Буянова была разодета по-праздничному. Зеленое платье из плотного шелка, изумрудная брошь, кольцо этой броши в пару, высокая прическа, делавшая Анну еще выше. Пышность форм и одновременно статность. Победная, безусловная красота освещалась огромными кошачьими глазами. И на Парашу Анна смотрела сверху вниз, да еще с оттенком презрения. Гостья кивнула на грудь одежды:

– Куда собираешься на ночь глядя? Уж не сам ли тебя перчаткой вызвал?

– Кто – сам? Какой перчаткой?

– Что ты душой прикидываешься? Не старик, разумеется, – он так, за бок или за что другое подержаться еще может,

а то, зачем по ночам зовут, ему не под силу. Молодой барин, вот кто. Он и мне на столике перед зеркалом перчатку либо платок с монограммой не один раз оставлял.

Нахалка. И несет непонятное. Как сверкают зеленые глаза Аньки!

Подошла она к Параше вплотную, говорит прямо в ЛИЦО:

– Тебе что за успех твой дали? Леденцы, да? А я за свои умения – вот (показала на брошку) и вот (перстень прямо к Парашину носу) заработала.

Бесстыдно выгнулась Анька, сладко потянулась:

– А молодой барин – он ничего... В постели...

– Как, ты с ним?.. – сквозь смуглую кожу (и при свече видно) такая мертвенная, такая страшная проступила бледность, что Анна испугалась.

– Да ты... Ты что думала, с тобой одной? Не заносись, Паша. Сейчас мой срок, мое время получать деньги и цацки...

– Так он что, и тебя вызывал? – еле слышно спросила Параша.

– Или не поняла? Я зачем тебе платок показывала с его меткой? Для Калмыковой знак, чтобы ночами меня к нему из флигеля выпускала.

Всего ждала Анна от мелюзги, только не этого.

– Ненавижу! Тебя ненавижу! И его ненавижу! Весь мир... – и платьем, что держала в руках, Паша ударила гостью по плечам, как плетью. Она шла на нее, стиснув зубы, с

таким лицом, что Буянова поняла: не в себе. Еще удар с размаху, еще один, еще... Рассыпалась с таким старанием возведенная прическа и отлетела с лифа драгоценная брошь с изумрудом.

– Вон! Вон! Вон!

Зазвенела брошенная вслед золотая безделка, громко щелкнула изнутри задвижка.

Параша застыла, прислонившись к двери. Как стыдно! Стыдно, что, не раздумывая, кинулась навстречу человеку, к ней равнодушному. Стыдно, что так унизилась перед Анной и перед собой, устроив драку. Все кончено! В ней нет больше того обжитого призрачного пространства, куда уводили ее мечты и где протекала ее истинная жизнь. Не надо выдумывать. Есть только эта договоры с помощью платка или перчаток, Анькина грудь, вываливающаяся из платья, харкающая кровью Таня Беденкова, которая когда-то пела... Ни страсти любимой героини Юлии, ни усталые, грустные глаза графа не должны ее трогать.

Страшная тоска по другому существу, с которым можно разделить непосильную сложность мира, объяла ее. Внутренний диалог с графом оборвался. Мама! Матушка! Никто не заменит ее. Долгорукая тоже не заменит. Не рассказать – посмотреть на родное лицо, прижаться...

Параша бросилась на пол перед иконой с горящей лампадкой.

– Богородица! Дево! Пречистая Мать Божья! Прости мне злобу непреодоленную и наставь, научи, помоги в трудный час. Не могу понять и принять, что сказала о нем Анна. Не могу не верить глазам его. Так хочется полететь к нему, видеть его, слышать его, его касаться. Не жалко мне ни жизни, ни чистоты своей девичьей, чтобы утишить ту скорбь, какую в нем чувствую, разогнать те сомнения, какие его одолевают. И все проступки его кажутся мне лишь ошибками, слабостью, которые можно простить... Одного боюсь: уничтожить в себе Господа нашего подобие, им же всякий человек изначально является. Поддаться слабости, потерять себя...

Застыла в молитве-раздумье и не сразу, через немалое время продолжила:

– Ох, как же трудно сделать то, что нужно сделать мне. Дева, дай сил! Приснодева Мария, помоги...

Поднялась с колен, нашла в комодe черный платок, повязала по глаза, как те странницы, которых видела она когда-то в родительском доме. Постояла над кружевными, блестящими, разноцветными своими платьями, сгребла их все в одном и сунула в шкаф.

Граф ждал Парашу с тем ощущением гулкой пустоты в душе, которая иногда приходит после больших волнений. Он не мог себе представить, как она войдет к нему, не знал, что сам скажет. Он даже не знал, хочет он этого свидания сейчас или нет, и только метался из угла в угол по маленькому ка-

бинету, словно пытаюсь сдвинуть остановившееся время.

Когда каминные часы пробили одиннадцать, он выпил рюмку водки и вдруг понял, что она не придет. В полночь он выпил еще дважды, и печатный штоф опустел. Но и трех немалых мадерных рюмок хватило, чтобы отогнать сон. Что делать? Как избавиться от этого чудовищного напряжения?

Николай Петрович чуть не оборвал шнур, вызывая лакея. Взъерошенный, одуревший спросонья Никита явился наконец.

– Приведи Ковалеву! – приказал граф и тут же испугался, что Никита приведет Парашу и произойдет вовсе непоправимое. – Постой! Буянову! Не Ковалеву – Буянову, Никита!

– Вот житуха, господин, – покачал головой парень.

– А по пути налей-ка еще водки в штоф.

«Да, вот это жизнь», – взглянув на часы, подумал парень.

Как только Никита ушел, граф понял, что зря вызвал Анну, однако тот быстро и в точности выполнил указание.

– Сядь, – приказал Николай Петрович Буяновой. – Выпей со мной.

Он с порога отослал спать лакея и сам налил девушке злого зелья. Анна взяла рюмку, попытавшись при этом рабски коснуться его руки щекой.

– Будет! Спой лучше... – предложил граф.

– Нельзя, барин. Разбудим во дворце всех.

– И то верно.

Ее присутствие стало ему так скучно и так ненужно, что

только и смог он сказать:

– Иди. Спать пора.

Стоило ради такого вскакивать среди ночи, пробираться мимо Калмыковой из флигеля во дворец? Анна сделала вид, что услышала «иди сюда». Руку его поникшую приложила к своей щеке, шее, груди. Нет отклика. Или и впрямь граф перебрал, как тихонечко сообщил по пути Никита? Тогда и стесняться нечего, завтра забудется.

– Барин, к той броши, к тому колечку еще сережки должны быть, – и сама все ближе и ближе к шкатулке.

– Возьми.

Как много может выразить спина! Хищная девка, жадная. Ощувив на себе взгляд не столь затуманенный, как думалось, Анна приблизилась к графу, будто в порыве благодарности и будто поскользнувшись, присела к господину своему на колени. Какой мужчина устоит против пышной тяжести, против ноги, прижатой к ноге? Разогретая водкой, Анна была совсем не прочь перейти из кабинета в спальню, но граф брезгливо отстранил ее.

– Иди...

Однако день этот не мог просто сойти на нет. Слишком много восторгов, «волнений, ожиданий, слишком трудно далось объяснение с Парашей – на бегу, мимоходом, повинувшись порыву, попросил ее о встрече. И сейчас душа требовала действия, пусть разрушительного. Водка заглушила голос разума и разожгла самолюбие.

«Барин я или нет? Мужчина или тряпка? Чтобы со мной, Шереметевым, так? Ослушаться... Обмануть... И кто? Моя (он все же и в мыслях не решился назвать Парашу – «дев-ка»)... Моя актриса...»

Граф снова вызвал Никиту. Парень с удивлением отметил, что Буяновой уже нет, и еще с большим удивлением («Ну и житуха», – про себя, разумеется.) услышал:

– Приведи Ковалеву.

Вернулся быстро:

– Нет Ковалевой на месте.

Только не этого ждал граф.

– Как нет?! Ночью нет в спальне?

Заикаясь от ужаса (таким страшным стало лицо Николая Петровича – белое, дергающееся), Никита рассказал, что соседка Паши, Таня Шлыкова, призналась: девица Ковалева решила уйти в монастырь. Перед тем заглянет в село свое, попрощаться с матушкой. Ушла из флигеля около двух часов назад.

Ночью? Через лес? Одна?

– Коня мне! Да быстрее, быстрее!

Параша прошла мимо Калмыковой незаметно. Ни одна половица не скрипнула под легкими ногами. Осторожно пробралась через парк в сторону села и побежала. Бежала она, как маленький обезумевший зверек, не разбирая дороги. Ветви больно хлестали ее, на одной, зацепившись, оста-

лась черная косынка. Параша не остановилась. Споткнулась о сплетение корней и упала. Не смогла найти соскочившую прюнелевую туфельку, забросила подальше в кусты и вторую. Только бег давал ей освобождение от душевной боли, и цель растворилась в движении. Проснувшийся инстинкт помогал выбирать песчаные мягкие дорожки раньше, чем их различал глаз. Вечерняя августовская роса дождем осыпала ее темные завитки. Дальше, дальше... Неведомая сила подхватила ее и несла сквозь неподвижный лес, залитый лунным светом.

В этот миг она мало отличалась от оленихи, покрывающей во время гона десятки километров пространства. Ласточка, перелетающая через океан, рыба, преодолевающая встречное течение... Безумие, сила пола, сдвигающая ритм жизни, переводящая живое существо в новое состояние. Такие вот грубые, сильные вибрации только и могут окончательно разбить скорлупу несносного, одинокого детства, дать вырваться на свободу не только чувствам, но и чувственности. Слова Анны ударили ее, сбили с ног, она поднялась и побежала.

Неожиданно лес расступился, и она очутилась на поляне, в центре которой круглилось озеро. Святое? То, до которого мечтала добраться еще в детстве? Сзади подступал залитый лунным светом лес, не деревья – литая стена, окружающая иной, нездешний мир. Перед ней – расплавленная лунной водой, уходящая в глубокую черную тень. И все вокруг было полно мыслью такой огромной, всеохватывающей, какую не

под силу постичь одному человеку.

Господи! Она опустилась на колени, а после легла на холодную предосеннюю землю и ощутила ладонями влажную мягкую мураву. Горе и одновременно восторг и желание такое сильное, что перед ним нет обиды. Все пустое, кроме прикосновений: его голова на ее коленях, его волосы под ее ладонью. А есть еще и губы, и движение мужской руки по женской груди...

Параша не заметила, как крепко сжала руку в кулак, и с удивлением увидела вырванную с корнем траву, которая только что ласкала ей кожу между пальцами. Она встала, сбросила серо-розовое платье, которое отобрала для свидания, да так и не сменила на другое. Сняла панталоны, чулки, порванные чуть ли не в клочья. Корсета она не носила. Луна превратила ее голое тело в статую из неведомого сияющего металла. Параша вошла в обжигающе холодную воду и поплыла.

Вода смыла с нее боль и сомнения. Все будет, как должно быть.

Она оделась и дальше к родному селу пошла быстро, но уже не бегом.

Часа через два она добралась до села, до крайней своей избы, где ей были знакомы на ощупь каждый угол и каждая ставенка. Тихо-тихо приоткрыла дверь: странно как, спят, а щеколдою не заложено.

Но в доме не спали.

Горит лучина, освещая закопченные образа, спящих на полу двух отроков, серую занавеску, за которой постанывает мать.

Ни одна половица не скрипнула под легкими девичьими ногами. Вошла, встала у двери, прислонилась к косяку.

Боже мой! Какая тоска увидеть все это: пьяный батюшка уронил голову в крошки, в разлитую по столу брагу. Брат Афанасий напротив, отвалился на лавке к стенке, вот-вот сползет в пьяном бессилии на пол.

– Кто? Кто там? – не услышала, просто почувствовала родимая.

Параша опустилась на колени перед широкой кроватью, на которой лежали двое – ближе мать, у стены – сильно выросшая Матреша.

– Это я, матушка.

– Пашенька, разве не ночь?

– Время позднее, тут я по случаю близ оказалась. Соскучилась.

Попыталась Варвара приподняться на локте, да не смогла, бессильно упала на подушку голова. Разметались по сторонам волосы, в которых даже при слабом свете увидела Параша седые пряди. Прикоснулась к материнской руке – горячая.

– Болею... И скучаю. Когда силы есть, бегу к имению, все смотрю: не ты ли от дворца идешь? Не различишь, а за во-

рота не пускают. Да что с тобой? Не боялась идти ночным лесом?

– Не страшно мне ничего.

– А, человек страшнее зверя стал, да? Было это и со мной, когда открылось зло мира... Бедная, бедная, Пашенька. Не целуй меня в губы. Чахотка...

Паша поцеловала Варвару в горячий лоб, как покойницу. Встала, вышла из-за легкой занавески. Осмотрела темную избу, надбитые горшки, черную печь. Снова уперся взгляд в неподвижные мужские фигуры за грязным столом. Вернулась к Варваре.

– Матушка, хотите, петь брошу и к вам вернусь? Петь ведь нельзя заставить силой... Буду коров доить, в поле работать...

Женщина испуганно подняла голову и тут же зашла кашлем.

– Что ты, что ты, Пашенька! Ты слабая, грудью плохая, как я. Тебе нельзя, сразу сгоришь. Да и нам хуже будет. Деньги, какие ты присылать стала... Не принесла ли? Я бы Мишутку сладостями побаловала...

– Я пришлю, матушка, скоро пришлю.

Все убого, все пронизано несчастьем и нищетою. Она, даже неприбранная, в рваном платье, – словно тропическая бабочка в серой пыли. Ползут к браге мухи, коптит лучина, на стенах, на потолке огромная уродливая тень горбуна. Не ее это все, не ее...

Нежно поцеловала забывшуюся в жару мать, еще раз огля-

дела избу, заглянула в лица спящих братиков и неслышно вышла.

Пора возвращаться в актерский флигель, не дано ей строить жизнь по своей воле. Шереметевская она, не себе принадлежит – барам. И как ей без сцены, без пения? Даже если в монастырь, без их разрешения не обойтись. Но знала уже – и к монастырю не готова.

По куполу дальней церкви определила, где графская усадьба, и пошла в том направлении.

Когда услышала цокот копыт, поняла: он. Вышла навстречу.

...Взметнулся на дыбы конь, закусивший удила, на полном скаку остановился перед крошечной фигуркой, кося огромным бешеным глазом, в котором застыла всевидящая луна. Параша прижалась щекою к мягкой замше охотничьего сапога, протянутые вверх руки скользнули по мокрому от пота лошадиному боку.

– Жизни без вас нет, барин.

– И мне без тебя.

Образовалась неразрывная внутренняя связь одного человека с другим, а через это – со всем существующим под светлеющим предрассветным небом.

«Боже, какой я сейчас живой. Боже, какой живой!»

«Боже, если он не поддержит меня своими руками, я упаду от счастья».

Он наклонился и поднял ее, невесомую, на коня.

Их приютом стала старая мыльня на лесной поляне. Та самая, где когда-то в святочную ночь они смотрели глаза в глаза друг другу через запотевшее оконце.

Пахло распаренным деревом, пахло березовыми листьями, пахли лесом Парашины волосы, губы, руки.

...Ее бег продолжался. Бег в тот хаос, в ту первозданную мглу, в которой ничего нет и куда влечет желание исчезнуть, раствориться, умереть. Немыслима острота касаний, острота, не могущая не завершиться болью, и боль та желанна...

Графу в ту ночь была дана радость зрелой и мудрой любви. Нет тела, нет духа, все едино, и все ему мило в этой девочке. И груда березовых веников, на которой она лежит, — лучшее в мире ложе. Ничто не препятствовало чувству обратиться в нежность.

Даже девственность возлюбленной не стала препятствием для полного единения. Первичная монада, о которой писал Платон, воссоздалась. Единство мужского и женского, невозможная полнота бытия... Зверь о двух спинах... Кто мог бы предположить в девочке такую страсть и такой дар зажигать?

В первом порыве разум не принимал участия, но постепенно он стал мерцать, освещая нежностью близость.

– Прости меня, Пашенька...

– Нет, вы меня простите. Я намечтала, вот и случилось.

Господь мне дал душу живую, но не дал свободы ей повиноваться. Совсем было решила – в монастырь. Бегу по лесу, от себя бегу, а сама об одном думаю: увидеть бы вас, прикоснуться бы. Услышала стук копыт, все поняла, ужаснулась и возликовала. Стояла бы за кустом и стояла, так нет – навстречу вышла.

– Прости меня, Пашенька, – повторил граф. – Не совладал я с собою. Давно меня к тебе бросало, а тут... К отказам я не привык, распалило меня твое непокорство. Забыл я за страстью, какая ты... маленькая. Грубо я? Больно?

– Да что боль... Светает... И на душе... Странно, как будто и нет греха Будто правильно все, будто все так и должно быть.

Его руке упрямо противились пряди ее волос, скручиваясь в крутые завитки. Нежная ее бровь длилась до бьющейся на виске жилки. И ресницы, как бабочки, бились под пальцами...

– В мечтах я видел все это другим. Равным твоему пению, равным душе твоей, которая почему-то открыта мне каждый миг. Но что я мог сделать, чтобы тебя не обидеть?

– И вы не вольны в своих поступках, я знаю. Нет вашей вины передо мною, ничем вы мне не обязаны. Хотя... – Параша замолкла, не зная, как сказать о том, чего боялась. – Я все же решусь попросить... если вы ко мне, как к прочим... К тем, кого вызываете перчаткой или платком с монограммой...

Николай Петрович закрыл ей рот поцелуем:

– Сказали тебе, значит. Вот почему не пришла. Кто тебе душу растравил?

Слегка высвободилась:

– ...Тогда отпустите меня в монастырь. Потому что не просто я...

– И я не просто...

И тогда Параша снова ответила на его ласку всем своим тонким и гибким телом. И руку его положила на свою грудь:

– Сюда, теперь сюда. Не венчана, а нет стыда. Где любовь, там и Бог.

И снова лежали они рядом, чувствуя, что страсть, только что избытая, вновь наполняет их – одного прикосновения рук достаточно, чтобы покой сменился волнением. Но пока еще могут они говорить.

– Помните, – спрашивает Параша, – мы перед светлой Пасхой читали с вами Димитрия Ростовского? Что тело – храм Божий и всегда само чувствует, что есть грязь, а что – омовение чистое?

– Мне больно сейчас, Пашенька, от чистоты этой. Оттого, что вся жизнь прошла в непотребстве и слякоти. Ты прикоснулась, и... высветлилось здесь, в груди. И больно, как перед смертью.

– Это старое отходит, я знаю.

– Откуда тебе знать? – повернул ее к себе. Легкая-то какая, одним движением руки повернул. Или сама поверну-

лась? – Откуда тебе знать? – повторил и засмеялся. А после серьезно-серьезно: – Ты мне мать, и сестра, и дочь, и... Господь.

– Не надо... Такое...

Ночью убежала из флигеля девчонка, ошеломленная недобрым словом. Во дворец возвращалась любящая женщина, готовая отстаивать свое чувство.

Она возвращалась именно во дворец, чтобы занять место, однажды ей предложенное, но отвергнутое из робости и из предрассудков. Она шла босиком. И вел ее, обняв за плечи, защитник, мужчина, муж Николай Петрович набросил на рваное, мятое, в пятнах крови серо-розовое платье свой дорожный кафтан, и шел граф спокойно, не сторонясь ничьих взглядов.

Впрочем, утро было совсем раннее, мало кто видел их, а кто видел, был так поражен увиденным, что и не знал, как это понимать.

Николай Петрович уложил Парашу в свою огромную, похожую на библейский ковчег кровать, и сделал это с нежностью любящего отца и старательностью умелого слуги. Отодвинул тяжелый полог, чтобы легче дышалось. Обрядил девочку в собственную ночную рубаху, в которой она утонула. Подоткнул под бока одеяло и с особым тщанием укутал запыленные ножки.

Лечь рядом он не решился, ощутив внезапную робость перед детской свежестью и непонятностью того явления, которое звалось Парашей. Заснуть он даже и не пытался. Сел в кресло напротив.

Параша спала. Легким и ровным было ее дыхание. Она лежала в его постели, и ему захотелось оградить ее от всего, что может на нее нахлынуть и унести детский покой ее тела. Какая жалость в нем к маленькой хрупкой Паше! Он любовался черными локонами, спутавшимися с белоснежными кружевами, смуглым румянцем, четким рисунком скулы и тонкими пальцами без украшений, чуть отодвинувшими от лица одеяло.

Удивительна зоркая сила чувства! Из будничной невнятицы дел и отношений мир вдруг выступает в такой отчетливости... Граф отмечал про себя: это запомнится. И это – тоже. Небывалая легкость во всех мышцах, лай приبلудной

собачонки под окном, бой часов и еле заметное покачивание от ветра тяжелой занавески. Впервые после детства, после раннего юношества через все обстоятельства он пробился к самому себе, и будто кто-то написал в мозгу: «Все идет как надо».

«Такого у меня не было, – думал граф, – не было. В этом моем состоянии я не выделяю телесного наслаждения. Вся жизнь стала радостью, неразделимы плоть и дух, все едино, всё – душа. Мне так же нужно смотреть на тебя, как и ласкать...»

Он смотрел и не мог насмотреться.

Самое счастливое утро графа было и самым несчастным, потому что наплывали и другие мысли, ввергавшие в отчаяние.

«Господи, как странно расставил ты людей на этой земле. Души близкие, а судьбы далекие. Все, что произошло, не может иметь продолжения в реальности. Так уж устроено общество, что не признает моей ответственности перед ней. Я – ее господин, и только. Кто о ней позаботится? Кто ее защитит?»

Он ждал и боялся Парашиного пробуждения. Ее сон был продолжением другого – того, что в мыльне, в лесу. И только теперь она сможет понять, что произошло.

Однажды он видел случайно, как она молилась в кусковской церкви. Она верит, верит безоговорочно – это было видно сразу. Да и разговоры их часто сворачивали к Нему, к

Господу. Граф не встречал натуры более религиозной. Что, если обрушится на нее ужас греха? Что, если она возненавидит того, кто ввел ее в грех?

Что ж, может, оно и к лучшему? Мелькнула трусливая мысль об отъезде, о разлуке. Разлука заставит забыть все, обрубив те узлы, которые нельзя развязать. Он всегда предпочитал рубить узлы, а не развязывать...

Но в легком ее сне было столько доверчивости! Он не мог обмануть эту девочку. И, вздохнув, – приходилось действовать – пошел к батюшке.

Петра Борисовича он застал в постели. Клевретка Аннушка, видимо, еще не успела доложить о ночных похождениях сына. И это было удачей: следовало сообщить «новость» до того, как гнев захватит безудержную натуру отца полностью. Начал с главного:

– Отныне Прасковья Ковалева все-таки будет жить во дворце и пользоваться многими правами супруги, поскольку пользуется любовью моей и уважением.

Непривычная твердость прозвучала в заявлении. Ни сомнения, ни истерики – одна решимость. И как только старый граф попытался что-то сказать (возразить, разумеется, не согласиться же?), наследник перебил его:

– Предупреждаю, батюшка, что речь идет о моем мужском достоинстве, и коли вы не учтете этого, я вынужден буду резко переменить жизнь, покинуть нашу вотчину и поселиться с девицей лицом частным и незаметным в одном из селений,

отошедших мне после смерти матушки.

Только этого не хватало! Сын и так не радовал старого графа участием в общественных делах. И вот сейчас, когда подошло место директора Московского банка и почти есть высокая договоренность быть сыну выдвинутым в сенат... Сейчас, когда он вошел в здравые лета, такой скандал...

Грозно взметнувшиеся было ко лбу густые брови старика бессильно опустились.

– Не наигрался? Я соглашусь до поры... Ради девицы, заслуживающей самой доброй участи... Пока не перебесишься. И другим прикажу ее не донимать.

Николай Петрович взял с одеяла старческую узловатую руку и поцеловал.

– Не в священном я, чай, сане, – растрогался, вдруг Петр Борисович.

– Для меня в священном.

– Только, – крикнул вдогонку уходящему сыну старик, – только не очень ее показывай. Чтобы все здесь, в Кускове, и кончилось.

Окрик вернул сына от двери.

– Прячь и в Кускове... Лет ей мало. Недавно высокий Совет при императрице одного дворянина осудил за связь с тринадцатилетней. Думай!

...Дверь в спальню Николай Петрович открывал так осторожно, что Параша не проснулась. Словно не он, а кто-то другой коснулся ее лба губами, сдул с чистого лба темные

завитки. Встрепенулась и резко, сразу села на постели. «Ма-тушка...»

– Здесь ты, у меня, Пашенька...

Встала навстречу и кинулась ему на шею. От первого прикосновения снова оба переполнились желанием.

Она была на пике первой чувственности – самой острой, пробуждающейся, настойчиво ищущей выхода. Он давно не был прыщавым неумехою и, несмотря на силу чувства, владел собой. И потому уже в эту близость они познали те глубины сладострастия, к которым иные возлюбленные идут долгие годы, а иные так к ним и не приходят до конца жизни.

В миг передышки, в миг исполненного влечением покоя, он спросил то ли ее, то ли Господа:

– Почему? Зачем это? Что с этим делать?

И она поняла. И ответила тихо.

– Значит, надо. Узнаем... Потом... А сейчас просто...

Просто отдаться этому счастью, этому доверию, теплу, этому прикосновению ее потрескавшихся горячих губ, ее рук, таких легких и таких печальных в тихом движении по его телу.

Но все кончается. И когда она снова села, опершись о подушки, он услышал такое детское.

– Я боюсь. Я думала – смогу... Но... Я не выйду туда, – кивнула на дверь. – Но... Но... Я... Я хочу есть, – лицо ее стало растерянным и жалким.

– Тебя не посмеют обидеть.

Она представила, как встречается с лакеем Никитой... С графом Петром Борисовичем! С калмычкой Аннушкой! С милой княгиней Долгорукой! Последнее было так стыдно, так страшно, что Параша зажмурила глаза.

– Но выйти придется, Пашенька! Ты же актриса. Представь себя моей невестой, супругой.

– И в этом случае не очень удобно.

– Ты права, и в этом случае девицам свойственно смущаться после первой ночи. Постарайся сыграть роль... Ту, что предписана тебе небесами, хотя и запрещена людьми. Здесь, в Кусково, эти люди будут молчать, понимаешь? Я ведь рядом.

В ней что-то менялось на глазах.

– Могу я попросить вас приказать Шлыковой принести мне одежду? Платье... Последнее парижское... Туфли к нему. И прочее...

В столовую она вошла твердо, опираясь на руку Николая Петровича, и все сидевшие за столом на несколько минут потеряли дар речи. Стройность и прекрасная осанка словно добавили ей роста, горящие щеки сделали лицо ярким. При каждом движении вспыхивал синий шелк платья, подчеркнувшего стройность стана и открывшего плавную линию плеча. От Параша исходило ощущение спокойной уверенности. Так могла войти в семью богатая аристократка, благодетельствовав жениха своим согласием на брак.

Общий поклон... Особый – глубокий – старому графу,

еще один – Марфе Михайловне, невольно округлившей и без того круглые глаза. Параша села, выпрямив спину, развернула салфетку, быстро задвигались в ловких руках тяжелый серебряный нож, тяжелая вилка. Ела она с явным аппетитом.

А над столом повисла неловкая тишина. Только молодой граф нарушал ее, предлагая Параше новое блюдо.

Было ясно: долго так жить они не смогут. Просторен Кусковский дворец, а никуда не укрыться от осуждающих и удивленно-любопытствующих глаз приживалок, старой дворни, знавшей еще матушку Николая Петровича... Сильно болеющий и вечно раздраженный батюшка заводил при Параше разговоры о знатных невестах. Сестра молодого графа Маргарита (сводная – по батюшке, рожденная от крепостной) не упускала случая упомянуть о прежних привязанностях Николая Петровича и перечислить внебрачных его детей. Горестно вздыхала при встречах Долгорукая, жаждущая и не решающаяся задеть щекотливую тему. Калмычка Аннушка рассуждала о достоинствах других актрис, отличавшихся скромностью и примерностью поведения.

Даже в спальне при закрытых дверях молодой граф и Параша не чувствовали себя свободными. Отыграв на людях свою роль «почти супруги», в опочивальне девочка сжималась, не могла скрыть своего напряжения. И хотя она ничего не требовала и ни о чем не просила, часто все кончалось нервной лихорадкой, жаром.

С той же несвойственной его натуре решительностью, с какой он повел разговор о Параше с бабушкой, Николай Петрович начал перестройку старой бани. Той самой... Не дворец, но прекрасный и светлый большой барский дом вскоре вырос на подступах к усадьбе. Звался он по-прежнему – «Мыльней».

Где и поселиться любящим, не насытившимся друг другом, как не здесь, вдали от всех и вся, вдали от голосов, от запахов кухни, от подглядывающих, подслушивающих и осуждающих домочадцев?

Изнеженный красавец, знавший Париж с его утонченными утехами, достигший вершины своей мужской силы, одухотворяющий свою последнюю и единственную любовь, но в то же время вкушающий ее во всех чувственных тонкостях – в деталях, в полутонах, – совсем не случайно выбрал место для совместной жизни с возлюбленной – «Мыльню», затерянную в Кусковском лесу, спрятанную от глаз домашних и гостей, овеваемую лавандовыми ветерками и сохранившую стойкий запах распаренного дерева. «Мыльню», которую он на европейский манер украсил мраморными розовыми ваннами. Ванны бросали светящиеся блики на смуглое гибкое тело девочки-девушки, делая его вдвойне живым. Их, эти ванны, изобрел чувственный Восток, чтобы выявить все, что заложено в плотских радостях. Рим одухотворил их, воспев телесную женскую и мужскую красоту.

В этом потайном жилище граф создал привычный инте-

рьер. Любимые копии обожаемого Тициана были перенесены сюда из основного дворца. Шандалы, люстры, шпалеры и прекрасные безделушки тоже имелись в полном наборе здесь, в новых покоях. Разрезной нож из слоновой кости на письменном столе, ониксовое пресс-папье. В кабинете много книг – Вольтер, Дидро... В музыкальном кабинете – и клавишин, и виолончель, и гитара для Пашеньки. Николай Петрович хотел и Парашину половину обставить в том же «господском» духе, но она неожиданно воспротивилась.

– Я сама...

Увидел и поразился. Из всех комнат она заняла одну, точь-в-точь повторив убранство своей комнаты в актерском флигеле. Бог ты мой! Крестьянская девичья светелка. Образ Богородицы в красном углу. Ольховый старый комодик, небольшой сосновый шкаф для одежды. Затрапезные серые занавески на окнах и подзор на узенькой кровати. Подзор деревенский, может, ею самой и связанный.

– Пашенька, – спросил Николай Петрович, – тебе это больше нравится?

– Меньше. Но это мое. То, что положено судьбою. Изображать барыню перед теми, – кивнула в сторону усадьбы, – я еще могу. Но перед вами?.. Вороне рядиться в павлиньи перья? Смешно. Здесь я такая, какая есть.

И он был здесь самым собой.

Когда он покидал «Мыльню», уезжая в Москву на очередной бал или по делам хозяйства, то надевал на себя не только

фрак или камзол, но и личину делового, ловкого, расчетливого знатока жизни, каким он вовсе не был.

Он возвращался в Кусково, в свой дом, и становился добрым и романтичным человеком. Этот человек не ушел в небытие вместе с юностью, а продолжал жить в нем. В светелке его ждала женщина, которая была не только всегда ему желанна, – он доверял ей больше, чем самому себе.

Его многое поражало в ней, и прежде всего странная зрелость души, жившей в юном теле.

– Ты, Пашенька, будто не в первый раз на этой земле, – часто повторял граф.

Но все это можно было объяснить и без мистики. Целыми днями она читала, играла на любимой своей арфе, размышляла, склонившись над рукоделием. Набирала знаний, умений. Росла.

Графу приходила в голову мысль, что он обкрадывает Парашу, лишая обычных в такие лета удовольствий. Кто из молодых женщин согласится жить без пылких ухаживаний, на которые щедр был век? Без танцев, без интриг, без многолюдных сборищ?

Но на все расспросы она отвечала, что не просто счастлива, а счастлива вполне, и ей нечего просить для себя у Господа.

Господь посылал им бурные ночи и ровные дни. Впервые рядом с графом была женщина, которую он хотел бы назвать женою, но не мог даже думать об этом. Никто среди тех, кто

окружал Николая Петровича, не захотел бы понять, как возникла самая мысль о таком браке.

И потому за порогом «Мыльни» он расставался с душевным покоем. Все, кроме дома, затерянного в зарослях, несло ему неразрешимые проблемы.

Он на четвертом десятке жизни – и не женат. Бездетен. То есть дети у него, а точнее, от него были. Те младенцы, которых рожали время от времени крепостные девушки, были здоровы и часто милы, но глубоких и подлинно отцовских чувств не вызывали. Он их не бросал на произвол судьбы, не обрекал на крестьянскую нищету, но и не привязывался к ним ничуть, потому что с молоком матери впитал истину аристократов: настоящий сын тот, что является наследником, настоящая дочь – наследница. Мужчина должен прежде всего думать о судьбе родового состояния, не давать волю всяким там сантиментам, агукая над слюнявым малышом.

Жизнь перешла вершину, а он не славен, как полагалось Шереметеву. Даже не самое завидное место управляющего Московским банком все еще «висит». Он вынужден унижаться перед молодым дураком – фаворитом Екатерины Платошей, просить о содействии. Тот обещает, но...

Он, наконец, не сумел доказать нужность своих театральных хлопот и заслужить признание высшего общества. «Тем хуже для общества», – так он обычно отвечает на упреки, батюшки по этому поводу, но, оставшись наедине с собой после разговоров на эту тему, впадает в панику: жизнь про-

ходит, жизнь почти прошла, а чем он отчитается там, перед Высшим Судией?

Только рядом с Пашенькой мучительные мысли отступали...

Параша тоже совсем не случайно основную часть прекрасного летнего времени проводила в дальней комнате, в четырех стенах. Как только она покидала «Мыльню», ударяла людская недоброжелательность и зависть, словно хлыст – внезапно и больно.

Таня Шлыкова не раз сообщала, что актеры и актриски рассказывают пришлым людям, кусковским гостям о ней, о Параше. Показывают на нее пальцами: «Видите, вон гуляет «царица». То графская любовница». Подучивают: «Идите, спросите, откуда она и кто».

Однажды пятнадцатилетняя девочка услышала грязную ругань – кто-то из зарослей прокричал; «Эй, барская барыня! Скажи-ка, а где живет Кузнецова дочь? Того горбуна, которого проезжий цыган наградил Парашкой? Где она, эта крепостная продажная девка?» Бежала в «Мыльню», оглядываясь: слышал кто или нет?

От подружек отдалилась, чтобы не вздрагивать от их явных и скрытых колкостей.

Параша пыталась понять природу злого и столь распространенного чувства зависти. Почему окружающие ее люди не завидуют, скажем, настоящей царице? Екатерине? Никто,

наверняка никто не считает, что той меньше досталось счастья, чем ей, погрязшей в грехах и сложностях отношений. Просто богатым и знатным, тем, кто наверху, «положено». С этим все мирятся, потому что боятся власти. Но если кто поднимет голову из «своих»... Не опасных и даже слабых... Рабы, желающие быть рабами и держать близких в рабстве...

Иногда подступала обида на возлюбленного. Почему даже не пытается оградить ее от болезненных ударов? Конечно, если она пожалуется на мальчишку Петьку или на актрису Аньку, он их накажет. Но и само это наказание будет новым унижением для нее.

Впрочем, думать дальше в этом направлении не давала любовь. Бог ты мой, она каждый день видит его, слышит его, целует его! Да разве это не то, о чем она мечтала, сколько помнит себя?!

Парашино новое положение дало ей новую точку зрения на мир и на человеческую натуру. Многое ей открылось и отозвалось в ней печалью.

Барин разрешил видеться с родимой семьей, когда хочется. Но хотелось не так уж часто, потому что и родные не хотели щадить ее душу и ее честь – как жалкие рабы, торопились извлечь из всего выгоду.

Сколько просила батюшку меньше пить – куда там! О долгах его сообщали другие. У того полтинник на пропой занял от ее имени, у того рубль. Не жалко ей, да стыдно. На виду она у всех недоброжелателей. Рады они всякому напомина-

нию о «той грязи», из какой она вышла в «князи».

Брат Афанасий не лучше. Первый был во всех кулачных боях и драках, а как появилось решение управляющего сдать буяна в солдаты, прибежал к сестре – спаси от рекрутчины. Спасла.

Даже кроткая, вечно больная матушка то и дело присылала к Параше Мишутку не без корысти. То Матрешу просила взять под крылышко – нездорова, ни к чему не годна, кроме пения, то Николку, чересчур шустрого и озорного, умоляла определить дворовым мальчиком и положить ему жалованье.

Для себя ничего не просила Параша у любимого. Никогда. Чем подчас его даже огорчала. Ломала себя, если приходилось хлопотать за своих Николай Петрович, чувствуя это, выполнял ее просьбы тут же.

– Ах, Пашенька, экий пустяк...

Не было между ними двумя ни тайн, ни обид. Будто начертали они круг и встали в него – чур, все дурное, чур! Прочь беды, что за невидимой линией!

Но мир наступал на них со всех сторон – уж и вовсе спиной к спине, защищали они свою любовь. Того и гляди собьют их с ног, разлучат, разбросают в разные стороны.

8

Как только схлынуло первое опьянение любовью, молодой граф вернулся к делам. Он достраивал и перестраивал любимое свое Кусково, но все больше жаждал испытать себя в ином, не вотчинном масштабе. Сильное чувство давало сильную же энергию к действию. Желание утвердиться не только в глазах батюшки, но и во мнении всего общества росло день ото дня. Как пойдет его государственная служба? Способен ли он сделать карьеру? Конечно, театр – всегда радость, он для души. Но хорошо было бы доказать, что и другие поприща ему под силу... Он с нетерпением человека, уже во многом опоздавшего, ждал решения о назначении его директором Московского банка. Он многое ставил на это...

Старый же граф хлопотал о месте для сына в Сенате, преследуя две цели: естественное для наследника возвышение в обществе и удаление его от Параша. В северной столице, где полагалось сенатору проводить почти все время, выполняя свои почетные обязанности, развлечений немало. Немало и блестящих красавиц, которых хотел бы старый граф видеть рядом с Николаем. Расстояние же от Петербурга до Кускова такое, что на свидание с актрисой сын не наездится. С глаз долой – из сердца вон.

Не без умысла так настойчиво снова и снова приглашал граф императрицу в родовую усадьбу. Показывая диковин-

ные красоты, угощая домашними яствами и заморским вином, легче поговорить о судьбе и карьере молодого Шереметева. Наконец вырвал-таки любезное обещание Екатерины летом, при посещении Москвы заехать и в Кусково, где она гостила лет десять назад и провела незабываемые часы.

Готовиться к визиту стали заранее. Придумывали всякое. Сюрпризом должна была стать беседка из полевых цветов, столь любимых царицей-матушкой. Но основные надежды возлагали на новый, отстроенный наконец-то театр и на спектакль «Самнитские браки». Музыка Гретри, первый сюжет – Жемчугова, которой в это лето должно было исполниться семнадцать лет.

Семнадцать... Это значило, что немислимо долго тянулась немислимая связь аристократа с простолюдинкой-рабыней. Четыре года – примерно тот срок, за который женщина и мужчина утрачивают жажду познания друг друга и разбегаются, если их не держит семья.

В этом случае все было по-другому. Невозможность раскрыться в семейном созидании оставляла невыявленные стороны в каждом. Графа поражала кротость Параша. Почему она не испытывает их отношения на прочность? Почему не заботится о собственном будущем и не спрашивает, что думает об этом он? Как решает свои дела с Богом – все же не венчана истая христианка? Задевало: неужели не хотелось бы ей видеть его супругом перед людьми? Неужели и впрямь

довольна тем, что есть, и не желает большего?

Была ли она довольна?

Какое там!

Вместо сердца гигантские качели. Р-р-р-раз! И в самое небо несет ее блаженство – быть рядом с тем, кто один во всем свете мил, гладить его мягкие русые волосы, слушать его рассказы о берлинских музеях, парижских театрах или нравах московского высшего общества. Р-р-р-раз! И нет ей места в его жизни. Он в столице и в свете, она одна в «Мыль-не». Каждая поездка любимого в Москву или в Петербург для нее большое прощание и маленькая смерть. Улыбайся, жди, встречай. А не вернется... Что ж, он не только ничем не обязан, но обязан когда-нибудь не прийти.

Странно, но она больше не ревновала его к женщинам. Не от себя вела отсчет событиям, а от него, и потому по-матерински жалела его, попавшего в ловушку обстоятельств. Понимала: надо ему жениться, завести детей, но отрешиться от необъяснимой надежды, что все устроится как-то по-другому, не могла. Каждая клеточка в ней кричала: навсегда, во всем, в жизни земной и вечной им предначертано быть вместе.

Не говоря о главном, они о нем говорили... с помощью театра. Здесь они проигрывали возможные и невозможные варианты своей судьбы, жадно вглядываясь друг в друга и готовя свои души к романтическому подвигу.

Нет, совсем не случайно Николай Петрович подбирал

для постановки спектакли, разными сторонами поворачивающие один и тот же сюжет: двое любят друг друга, не могут соединиться из-за внешних обстоятельств, но ценой огромных усилий все-таки преодолевают их. Началось с «Лоретты», небольшой оперы, по ходу которой богатый граф женится на бедной девушке, презрев осуждение своего круга. Через год в Кусково ставили «Добрую девку» Пиччини. Теперь Параша звалась Розеттой, и роль исполняла, используя немалый опыт печали, а значит, сильнее трогая души. Дальше шла «Люсиль» Гретри. Люсиль живет в господском доме, хозяин которого влюбляется в героиню, не зная ее позорного происхождения. Все открывается, но знатный рыцарь не отступает от своего намерения и женится на любимой.

В опере Гретри «Самнитские браки», которую готовились показать императрице Екатерине, та же тема – неравный брак, правда, в зеркальном варианте. Знатная Элиана любит Парменона, вождя восставших угнетенных самнитян. Рабство не дает права любить ни ей, ни ему. И Элиана готова на все, чтобы самнитяне обрели свободу. Она – вдохновительница, она – внутренняя сила рвущихся к освобождению воинов. Завоевание свободы довершается соединением влюбленных.

Что за этим странным сюжетным однообразием?

Искал ли Шереметев-младший подсознательно «подсказку» для решения нерешаемой задачи?

Вело ли его желание получить ответы на свои невысказан-

ные вопросы от любимой?

Пытался ли он приучить аристократическую публику к немислимому варианту, напоминая ей об относительности общественных перегородок – они ведь не до неба, перед которым все равны?

И первое, и второе, и третье... А кроме всего, важнее важного для них этот диалог сам по себе, тайный диалог двух душ. Хождение по одному и тому же кругу дарило им боль и странное наркотическое наслаждение.

Роль Элианы Параше сразу удалась.

Начать с того, что ей очень пошел мужской костюм, в котором Элиана проникает и в стан врага, и к любимому воину Парменону. Белые плотные чулки подчеркивали стройность ножек, тяжеловатые башмаки – их изящество. Тонкая талия, перехваченная металлическим поясом, напоминала о хрупкой женственности, шлем и султан из страусовых перьев прибавляли росту. Принц, паж, подросток, девственница и... страстность, накалявшая все вокруг нее добела... Холодность жеста и жар сильных низких нот, рождавшихся в груди... Противоречия эти волновали Николая Петровича до странной слабости, до головокружения. Элиана была изображением той Параша, совместившей все несовместимое, которую он впервые узнал как женщину четыре года назад. И в то же время нынешняя его возлюбленная оказывалась незнакомо-влекущей, притягательной.

Семнадцатилетняя, расцветшая, она каждой арией говорила ему: пойми, какая я, что со мной – ради нашей любви я все терплю, я готова на все.

Заезжему голландскому художнику Николай Петрович заказал портрет Параши в costume Элианы. Еще не исчезнувшая детская припухлость губ и страстная затуманенность взора, чувственная округлость овала лица... Этот портрет всегда висел там, где особенно часто мог на него падать взор молодого графа.

Как у всякой настоящей актрисы, жизнь у Параши не отделялась от театра. Сюжеты спектаклей поставляла жизнь, но и вокруг сцены то и дело рождались житейские сюжеты.

Каждый день начинался репетицией. Собирались в то лето в «воздушном» театре. Невысокий холм – сцена, другой холм – зрительный зал; оба огорожены деревянными «шпалерами» – досками с написанными на них картинами на античные сюжеты. Музыканты настраивали инструменты, Николай Аргунов примеривал, где разместиться «колоннам», где «морю» на тот случай, если «Браки» придется ставить в сильную жару и в новом – закрытом – театре будет очень уж душно. Актеры разбились по группкам, они хоть и в обычных, не театральных нарядах, но все-таки одеты ярко, одна Параша выделяется среди всех строгой простотой одежды: светло-серое платье, ни лент, ни бантов.

Григорий Кохановский, оперный герой-любовник, кокетливый, вихлястый, всегда смешон в своем стремлении вы-

глядеть «благородно»: напудренный парик, нежно-розовый камзол – все это носится им так не по-мужски, что рождает желание подшутить над ним. Степан Дегтярев, еще совсем молодой и соперничающий с Кохановским за первые роли, подкрадывается к «герою» сзади, сдергивает у него с головы парик и под общий смех рассматривает его:

– Э, да сия накладка из «Опыта дружбы» – в сих кудрях я изображал слугу. Давненько это было.

Натягивает парик себе на голову боком и задом наперед.

– И моль не съела?

Кохановский вырывает парик и держит его в руках. Он не на шутку рассержен, драка близка, и Пашенька, будто совсем невзначай, оказывается между ними двумя. А рядом с ней тут как тут Аргунов.

Аргунов, собственно, и есть тот сюжет, который не Парашей писан, но и про нее тоже. Всюду чувствует она на себе его взгляд. Нечаянно перехваченный, бывает он тяжел до угрюмости. А сейчас художник улыбается ей и, оставив заботы о декорациях, прогуливается с ней по парку, иногда осторожно касаясь ее левого локтя и тут же отдергивая руку.

Подшли к Вороблевскому, строго расспрашивавшему двух певцов:

– Были вчера в Перове?

– Были. Но зачем были, непонятно.

– Чему можно научиться у поваренка Андрюшки, который у Голицыных представляет Феба? Морда – во! Вокруг

головы проволока наверхчена. С балкона мальчишку на толстой веревке спускают, он со страху и роль забыл, ногами и руками по воздуху лупит.

Засмеялась Параша, засмеялся и Аргунов, посмотрели друг на друга, словно переглянулись. «Ах, ни к чему это...» И холодком в сердце закрадывается вина – без вины она виновата в той доверительности, которой она не хочет и которой ищет друг ее детства.

И снова длится приятная прогулка по парку.

– Пашенька, – говорит Аргунов. – Вчера попал я на «Дидону» у Кутайсова. Барину что-то в игре примадонны не понравилось. Он вбежал прямо на сцену и отвесил ей оплеуху. Дидона поморщилась от боли, да и вошла в свою роль снова.

Невольно Параша провела ладонью по собственной щеке и вспыхнула. Связывает это ее с Аргуновым: он раб и она рабыня. Но все-таки это лишнее. Не будет же она обсуждать с ним барские замашки, коли один из господ ей дороже всех на свете. Глянула прямо в глаза собеседнику:

– Так то Кутайсов. А вон, – кивнула на дорожку, по которой приближался Николай Петрович, – а вон Шереметев.

...Сюжет «Аргунов» развивался все то лето.

Однажды художник снова сказал ей, что все же хотел бы написать с нее портрет. И что последняя работа, моделью которой служил старый крестьянин, ему удалась; даже батюш-

ка, скупой на добрые слова, похвалил:

– А сие было нелегко, ибо в мужике одна характерность и никакой красоты. Гармония же сама ведет кисть.

– Тогда и мой случай не поможет, Коля. Подружки мне совсем в красе отказывают. Иль ты из жалости?

– Что ты, что ты, Парашенька, – замахал на нее руками. – Красивей тебя нет. Красота у тебя особая, не всякому открывается. Но если кто посвящен... Кто понимает... Если кто любит не низкое... Кто слушал тебя и души твоей коснулся... – Аргунов окончательно запутался в словах и смутился, и Параша пришла ему на помощь:

– Спасибо. Хочется тебе верить. Я постараюсь помочь тебе и охотно стану позировать.

В ее обещании была и нежность, и грусть.

В Европе в ту пору были особенно модными двойные портреты. На одном полотне изображались, как правило, муж и жена. По той же странной прихоти, по какой Шереметев-младший проигрывал невозможный альянс на сцене, возник этот замысел: он и Параша. Пусть не на публику, не на показ, повесит работу где-нибудь в дальних покоях. Пусть только на полотне – а все же вместе. Тем и ответил на просьбу Параша дать заказ своему молодому художнику.

Параша обрадовалась, так даже лучше. Все станет на свои места, исчезнет всякая неловкость.

Заказывал граф портрет в присутствии Парашеньки.

– У нас парных парсун я что-то не видывал.

– Я постараюсь достичь должной высоты в новом для меня деле, – с достоинством пообещал художник.

– Да уж, постарайтесь. Я заплачу вам вдвое, хоть и на одном полотне, но приходится изображать два лица.

– Николай Петрович, – неожиданно в разговор вмешалась Параша, – деньги заманчивы. Но для тех, кто, как Николай Иванович, отмечен явным талантом, важнее другое. Пообещайте: коли парный портрет будет небывало удачным, лучше голландских работ... Вольную автору, а?

Параша видела, как Аргунов напрягся, тонкое лицо на глазах осунулось от скрытого волнения.

– Пообещайте, граф, – попросила снова, то ли игриво, то ли твердо, с непривычными властными нотками в голосе.

Николай Петрович пожал плечами:

– Вообще-то мы, Шереметевы, не выбрасываем наших подданных на все четыре стороны. Но если ты просишь... Так тому и быть.

Но в самый последний миг перед первым сеансом Николая Петровича фельдъегерской почтой вызвали в Москву в связи с хлопотами о директорском месте в банке.

– Придется тебе, Пашенька, позировать одной.

Увидел в глазах ее слезы. Понял, что, как и для него, для нее важна полумистическая связь, остановленное мгновение их единства.

– Примета, да? Ты тоже думаешь, что судьба скрепляет

запечатленных вместе? Став неразлучными на одном полотне, не разлучимся и в жизни?

Не отвечая, кивнула.

– Кто помешает мне чуть позже заказать двойной портрет? И не Аргунову, а заезжаем из Голландии мастеру?

И неожиданно заговорил о том, о чем они никогда раньше не говорили:

– Милая, ты же знаешь, как крепки узы, связавшие нас. Когда-нибудь... Постепенно... Императрица не вечна. Взойдет на престол Павел... Он мне друг... А может, и сама, тебя увидев... А если властитель не выкажет гнева, и прочие примут благосклонно...

Параша улыбнулась сквозь слезы:

– Условия прежние? Аргунову вольная, коли будет портрет хорош?

– Как скажешь, душа моя.

Была одна тема, которой она не могла затрагивать в разговорах с графом, тема больная, мучительная, требующая обдумывания и обсуждения. Как жить достойно в неволе? Как сохранять дар, посланный Богом, в обстоятельствах унижительных? Понять ее мог только тот, кто сам пережил возвышение души, низкому званию не соответствующее, – то есть Аргунов.

Пашу все еще будоражило самоубийство молодого художника Васильева. Не пьяница был, богобоязнен. Глухо гово-

рили, что полез в петлю из-за любви. Думая о своей дальнейшей судьбе, о предстоящем расставании с любимым, Параша обычно гнала черные мысли. Грех! Смертный грех! Но невольно обдумывала и этот вариант, потому как совсем невыносимо было представить любимого рядом с иной женщиной – законной супругой. Позируя Аргунову, спросила:

– Как думаешь, Николаша, простит Господь Васильева за то, что жизнь, Богом данную, самовольно оборвал? За петлю эту страшную?

Аргунов ответил так быстро, что стало ясно: и он обо всем этом много думал:

– Бог – отец нам всем. Какой отец не простит сына своего, коли знает про его муки? А уж как Васильев страдал, как страдал! Ждал, надеялся – вот воля, протяни руку – и твоя. Когда столик наборный с планом Кускова заканчивал, Петр Борисович все хвалил его за красоту и точность. Не сомневался мастер: отпустит его барин в родную деревню, где душа-девица ждала. За невесту его там парни снова и снова сватались, время шло, а у графа новый азарт, еще одну работу приказал сделать. Не выдержал он...

– Коленька, а как же талант? Жизнь его тем большую цену имела, что духом была освящена, верно?

– Согласен с тобой. Душу бессмертную погубить – страшный грех. А талант прикончить – грех неизбывный. Вот, скажем, тебя Господь послал в мир не только для того, чтобы здесь ты жила и радовалась, но и чтобы дивным голосом сво-

им других возносила ввысь и радовала.

Параша не видела его лица из-за холста, но почувствовала, что сейчас свернет он и вовсе на осуждение Николая Петровича, как это обычно делал в их разговорах. Ненавязчиво, незаметно, а свернет.

Так и вышло. Издалека подошел Аргунов к молодому барину. Не о нем вел поначалу речь:

– Да есть ли тот, кому легко с Божьим даром, Парашенька? Одного губят крепостные цепи, другого зло в бараний рог сворачивает, а третьего полная воля отводит от цели.

– Да-да, я тоже об этом думала. Какой музыкант Вороблевский, а чернеет с годами душа, и музыка непрозрачна.

– А Николай Петрович, – не выдержал Аргунов, – в развлечениях теряет свое искусство, не упражняет руку.

– Ну, виолончелист он замечательный, – возразила Параша.

– Был...

И она подумала, что и впрямь молодой граф стал холоднее к любимому своему инструменту.

– Во все времена и при всех обстоятельствах должно пробивать свой путь в искусстве работой. И какой работой! Каторжной. С нас спросится, а не с графа, который дал или не дал вольную, – сказал Аргунов.

Не согласиться с ним она не могла. А соглашаться не хотелось, потому что очень уж ловко он отделял ее от любимого и соединял с собой. Пусть только в мыслях, но и в мыслях не

надо. Будто бы стоваривались они о чем-то за спиной графа. Даже самое маленькое лицемерие – уже измена.

Не хотелось ей этих сеансов... К тому же Аргунов раз от разу становился все напряженнее и будто на что-то сердился. На нее? На судьбу свою? Почему он с ней неприветлив, почти груб? Но коли решается судьба собрата. Она приходила позировать каждый день.

Встречались они в одной из гостиных большого дворца. Аргунов наказал ей быть одетой в легкое белое платье, иметь при себе прозрачную шаль. Портрет задумывался парадный, и Параше надлежало принять «значительную» позу. Но сидеть без движения было трудно, вспомнилось детство, потянуло к озорству. Вскочила, охота взглянуть на портрет – что там?

– Прасковья Ивановна, могу вас просить? Забудьте о моем присутствии, это вам нетрудно. Отдайтесь размышлениям или чтению, которое привяжет вас к месту.

– Ах, ах! «Прасковья Ивановна»! Ах, «Николай Иванович»... С чего это ты? Мы всегда были и будем Николушкой и Пашей. Помнишь, как ты, я, Афанасий и Павел яблоки воровали в саду урядника? Страшный он был, – и Паша соорудила угрожающую мину. – Не хочешь вспоминать? А зря. Ведь все одно, пусть годы прошли, а души наши относительно друг друга остались без изменения.

– Нет уж! – Аргунов резко положил кисть рядом с палит-

рой. – Все изменилось! Все! Этот портрет ваш мне заказан графом. С большими посулами...

– Да. Будет вольная, я еще раз спросила.

– Видите, судьбу человеческую нынче вы можете решать мигом, и в этом перемена.

Она хотела было встать: трудно протестовать сидя. Но Аргунов жестом приказал ей не двигаться.

– Нет уж, слушайте! И наконец, этот портрет я пишу во дворце, куда в обычное время войти не могу как существо низшего ранга по сравнению с его обитателями. Потому... Рад бы вас звать Пашенькой, да не могу.

Параша чувствовала: совсем близки слезы. Если человек, которого она считала другом, не хочет понять ее, то что говорить о всех остальных?

– Не чувствую я себя здесь барыней. Николай Петрович – ему я готова служить до гроба – богат и знатен. Так что? Мне-то нельзя меняться. Чуть корысти или гордости, и кто я? Как оправдаюсь перед Богом в грехе? Даже вольную, которую для вас просила, для себя и для братьев своих просить не могу. Каждый миг помню, что крепостная я, крепостная.

Помолчала.

«Я тоже отныне буду на «вы». Пусть знает, что обиделась, не все же терпеть безропотно. Тот дает волю зависти, тот капризам, и никто не хочет подумать обо мне. Терпела, покуда терпелось, но... И все-таки, все-таки не о себе надо думать. Пожалеть надо дорогого друга, с кем пройдена часть жизни».

Молчит художник, погруженный в работу, и кажется Паше, будто ударяет он кистью по ненавистному лику – что ни мазок, то удар. И совсем тихо, робко закончила свою исповедь:

– Боюсь потерять себя, из рабства внешнего в рабство иное попасть, во грехе погрязнув.

– Я же, дабы не потерять себя, буду, напротив, с ними, богатыми и властвующими, равняться, – закусив губу, сказал с вызовом Аргунов. – Получу вольную, биться буду, чтобы стать академиком. Жениться вот собираюсь не без выгоды.

– Кто она?

– Достойная девица. Дворянка. И приданое... Пойдут дети, заботы...

– Вы не сказали, что она мила вам.

– И рад бы сказать...

– Не совершаете ли вы ошибки, не дожидаясь своего счастья? У людей, не испытавших полного чувства, много прекрасного остается только в одной возможности...

Аргунов грубо оборвал ее:

– И это говоришь мне ты? Ты?!

Спохватился:

– Простите, Прасковья Ивановна.

– Прости меня, Никулушка.

Тяжелое молчание, повисшее в этот миг, прервала чуть позже:

– Я думала, так, детское все это было.

Оба снова замолкли, и снова Аргунов яростно писал ее лик. Разговор пошел не то чтобы спокойный, но отвлеченный какой-то, будто бы не о них.

– По причине, вам теперь понятной, – художник смотрел не в глаза ей – выше, на чистый и выпуклый лоб, – я часто думаю, что ждет вас завтра. Ведь и самое высокое чувство опирается на столп земной. Он известен: семья, дети, дом, работа. В чем ваша опора?

– Разве я не певица?

– И какая! Но... и женщина.

– Птицы летают, опираясь на невидимое.

– Но... Если они залетают очень высоко, не сгореть бы в небе близ солнышка.

– А и сгорю!? – забыв об Аргунове, словно заклинание, прошептала: – Лишь бы еще немножко... Еще... На сегодня хватит? – спросила уже громко. – Устала я...

– Паша! Я буду ждать еще... И никогда не попрекну...

– Меня? Попрекать? Чем?

Перед ним стояла гордая аристократка. Госпожа. Барыня. Аргунов резко перевел разговор:

– Завтра продолжим сеанс в то же время.

...Через несколько сеансов портрет был закончен. Он был удивительным. Словно юная женщина на бегу вдруг остановилась и оглянулась, прогнувшись в стане. Взгляд ее говорил о тайном и болезненном знании будущей горькой судьбы. Опалены лихорадочным огнем скулы. Молодость, страсть,

печаль, движение...

Отныне Шереметев будет заказывать портреты актрисы только Аргунову.

Аргунов не сразу, но в конце концов, после многочисленных просьб Параши, получит вольную.

– Такого мастера отпускать? – будет тянуть Николай Петрович.

– Вы мне давали слово, барин, – будет настаивать Параша. Бывший крепостной художник добьется невозможного – он станет академиком, удачно и выгодно женится. Портреты Параши будут отличаться от всего прочего, им сделанного, в лучшую сторону. Он будет писать ее часто. Всю ее и всю свою жизнь.

Как Параша ждала приезда царицы Екатерины! Как надеялась... На что? На то, на что надеяться было никак нельзя.

Нельзя входить в одну реку дважды. Приезжала императрица в Кусково лет десять назад, и тогда не молодой, крепко за сорок, но совсем по-другому все было. Смотрел на нее в ту пору обожающе князь Потемкин – воин, мужик-орел. Как быстро, однако, стареют ее поклонники. Григорий Александрович по годам заметно моложе государыни, а весь какой-то потухший. Впрочем, говорят, юные племянницы его и нынче воспаляют. Такие вот путешествия в прошлое лишний раз напоминают о том, что не все императрице под-

властно.

– Какая прелесть! Какое великолепие! Такие вот васильки я собирала в доме у бабушки в Пруссии. Нет, то были незабудки... – а сама подумала, что давно это было, немудрено забыть. И еще – что беседка из полевых цветов, для нее сооруженная, дивно хороша, но не в силах вернуть и толику той буйной радости, которой был отмечен ее предыдущий вояж в подмосковную усадьбу Шереметевых.

Она оценила старания старого графа Петра Борисовича развлечь ее, угодить ей. «Морской бой» на пруду, лодки с «матросами» против ладьи с «турками», чудеса пиротехники, но смотреть все это до конца? Екатерина сделала прощальный знак «русским морякам» и отправилась во дворец отдохнуть. Потемкин шел следом, на ходу набивая карманы плодами из ваз.

В парадной спальне Екатерина грузно упала на огромную кровать с балдахином, Потемкин рухнул в огромное кресло неподалеку.

– Солнце село, – в голосе стареющей царицы – мечтательные нотки. – Холопы разойдутся по сеновалам, душно будет пахнуть свежее сено. Как мы когда-то... Помнишь, светлейший? Позади Москва, впереди – Крым, и дорога у нас дальняя-дальняя.

Усталость отходила, Екатерина наполнялась энергией и ждала мужского ответа на свой женский намек. Что это? Никак Потемкин жует что-то и не слушает ее?

– Опять свои противные репки грызть? Все карманы набили этой гадостью, я подсмотрела, – неожиданно резво и легко соскочила она с кровати, ощупала карманы князя.

И... ничего.

Потемкину были знакомы зажигающие вожделение проделки императрицы, но на сей раз они не воспламенили поношенного, усталого фаворита. Вроде бы и шутливо, вроде бы и мягко звучит царственный выговор, но сколько в нем уязвленного женского.

– Что касаемо репок... На людях можно вести себя и торжественнее. Вы давно, мой друг, не частное лицо, которое живет, как хочет, и делает, что ему нравится. Вы принадлежите государству, вы принадлежите мне.

– Вся Россия принадлежит вам, ваше Величество. И зело много граждан мужского полу, что моложе меня и краше. Слышал, опять завелся амуришко...

Хоть запоздалой ревностью польстил Екатерине Потемкин. Хоть какую-то женскую карту еще можно ей с ним разыграть.

– Обижены, князь? Близкому другу надо говорить правду в глаза. Если б смолоду получила я в участь мужа, которого могла бы любить, вечно к нему не переменилась бы. Но... Не дал Бог. Я тайно обвенчалась с вами, мой друг, но судьба и нам не дала быть вместе и длить счастливые часы.

Ах, слишком хорошо знает ее Григорий Александрович. Не смотрит, а если бы глянул, наверняка прочла бы Екате-

рина в единственном его глазу недоверие. С еще большим напором продолжала:

– Да! Да! Не вы и не я виною. То дела, то войны... Народ мой, его просвещение мне дороже личного благополучия.

Теперь на лице своего фаворита она видела откровенную насмешку, понимала, что в лицедействе зашла в слишком высокие сферы и уже потому потеряла убедительность. Сбавила тон:

– Беда в том, что сердце мое не хочет быть ни на час без любви. Статься может, что подобная диспозиция сердца более порок, нежели добродетель... В оправдание же скажу одно лишь: для меня вы – достойнейший из мужчин.

Тронула-таки Екатерина сердце Потемкина, клюнул фаворит на откровенную лесть:

– Для меня вы – достойнейшая из женщин.

Приятно, а не этого царица ждала, вернее, не только этого.

– Что же касается «амуришки»... Разве он, а не вы, мой богатырь, назначены председателем военной коллегии?

– Были, однако, к этому причины, а не только ваше расположение?

«Ошибаетесь, милый князь. Занеслись...»

– Были, – ответила, – если брать в расчет ваши победы в Таврии. Но если вспомнить о потоплении флота... Я помню о первом и заставляю себя забыть о втором, а могла бы поступить наоборот.

Разговор стал не очень приятным для Потемкина. Самое

время его прервать под удачным предлогом.

– Матушка, скоро театр. Граф очень им похвалялся.

– Никак опера? В моем театре дал обещание выступить кумир Европы Моцарт. Но вам одному могу признаться: к его музыке я глуха и приглашаю его больше для шику, чем для услады души. Если еще комедия, да зло и смешно рисует нравы, то ничего... Или лах-опера, где на музыку положены смех, кашель и другие, даже малопрстойные, звуки... А если голосить начнут только о сладких чувствованиях... Боюсь умереть со скуки.

– Петр Борисович хвалился, прима у него завелась.

– Знала я человека, у него была лошадь рыжая с бельмом на глазу, короткошерстная и кургузая. Так он ей всю возможную красоту приписывал только оттого, что она ему принадлежала.

– Сказывают, молодой граф от этой девки-певицы голову потерял.

– Что терять, коли девка-то его крепостная?

На спектакль, от которого столько ждала Параша и к которому готовилась, словно к самому важному событию в жизни, императрица отправилась в том неопределенном расположении духа, которое быстрее всего готово перейти в раздражительность. В тот раз судьба явно не была благосклонна к влюбленным – к молодому графу и его актрисе.

...Вечер выдался достаточно прохладным, и потому спектакль шел в только что отстроеном закрытом помещении.

Двухъярусные ложи, четыре гипсовых статуи на авансцене, кресла, обтянутые голубым бархатом, прекрасные люстры – все это было одобрено царицей и ее свитой. Но обсуждение убранства прервалось при первом звуке голоса прима.

Екатерина не была тонкой ценительницей пения, но и она не могла не ощутить сразу же, с первых нот неповторимость тембра. Не женский, не мужской, не детский – нездешний голос все набирал, набирал силу и свободу, чтобы к концу представления выразить страсть, на которую способны редкие души. Она будет с любимым! Будет, чего бы ей это ни стоило! Екатерине самой приходилось отвоевывать у жизни право быть с понравившимся мужчиной, но любви, способной родить такую силу выражения, она, пожалуй, не знала.

Императрица с удивлением вглядывалась в тонкую девичью фигурку в воинском одеянии. Женское шитье из тяжелой английской парчи с голубовато-серыми переливами, сшитое для торжественного обручения с Парменоном, телесности Элиане-Прасковье не прибавило. «Могла бы быть и повальяжнее», – подумала государыня, привыкшая образцом женской привлекательности считать себя. Но в эту минуту она обратила внимание на мужчин. Все в ложе были так поглощены происходящим на сцене, что позволили изучать себя. Лицо старого графа расслабилось от удовольствия и выдало чванливость: это чудо – его, Шереметева, чудо! Французский посол Сегюр замер, сделав стойку на превосходное исполнение – европейского класса и в европей-

ской манере. Для молодого графа каждая фиоритура – гамма переживаний: лицо нервически подергивается, на нем то блаженство, то страдание. А Потемкин! Потемкин-то! Светлейший князь менялся на глазах, на глазах молодец, бывлая страстность проступила в чертах лица. Из потускневшего одногоглазого старца он превращался в пирата-жизнелюба, богатыря с сажеными плечами.

Голос – вот чем взяла девка. «И... – призналась себе Екатерина, – и молодостью».

Она никогда не щадила себя, и сейчас заставила себя взглянуть на жизнь трезвым взглядом. А потому попросила пригласить Ковалеву в ложу.

...Параша предстала перед императрицей в театральном костюме, в тяжелых и дорогих украшениях. Нелегко стоять под взглядами вельмож, тем более что рассматривали они молоденькую крепостную актрису в упор, как вещь. Даже взором нельзя попросить молодого Шереметева: спаси, помоги.

Императрица вдруг сильно дернула цепь, что спускалась с Парашинной шеи на грудь и почти до пояса.

– Золото? Голландская работа?

Петр Борисович даже смутился – к чему бы это? И суетливо стал объяснять:

– Моей покойной супруги... И браслетка, и колье с фермуаром...

– А носит, будто с молодых ногтей приучена. («И кожа, кожа какая! – невольно позавидовала старая женщина молодой. – Смуглая, глянец под детским пушком».)

Заговорила-таки птаха:

– Только на сцене, ваше Величество, и по особо торжественным случаям.

Трудно Парашеньке говорить под бесцеремонными взглядами, чувствует и царицыно раздражение против себя. На помощь девушке пришел Потемкин. Обнял ее талию тяжелой своей ручищей:

– Спасибо, соловушка, ай да потешила!

Сегюр рассыпался в комплиментах, приплясывая вокруг Параша.

Екатерина старалась не выдать женской своей зависти и тоже включилась в хор похвал. Сняла перстень с пальца:

– Моя награда.

Кольцо большое, с огромным синим сапфиром, тяжелое кольцо, будто мужское. Параша замялась, не зная, что с ним делать. Примерить – не примерить? Что и примерять, если не подойдет? И по-детски зажала подарок в кулачке.

Ох, этот сполох царицыных светлых глаз! Не знает Параша, чего ждать, а чувствует – не к добру. Еще не успела тревогу осознать, а беда тут как тут.

– Не подаришь ли свою певунью? – слышит Параша царицын голос и холодеет. – Нет, не мне, – объясняет государыня Шереметеву Петру Борисовичу. – У меня своих таких

хватает. Светлейшему князю Таврическому. Он знает толк в искусстве, его артисты в Италии славятся.

– Зачем дарить? – азартно поддержал просьбу Потемкин. – Мне за такую певицу никаких денег не жалко.

Екатерина не может скрыть, что задета:

– Растопила остывшее сердце? Коли так, бери за деньги.

В этот-то полуобморочный миг, миг последнего ужаса («Все кончено...») и разжался Парашин кулачок. Кольцо царицыно не просто упало, но еще и покатилося куда-то в угол. А молодой граф в тот же миг кинулся поднять его, как всегда поднимал вещи, оброненные любимой. Когда же Николай Петрович поднялся с колен, то встретился с насмешливым взглядом Екатерины.

– Не ведала я, что самые знатные наши вельможи в стремлении к всеобщему равенству так преуспели. Уж не позабавить ли мне сей девице? Ибо мне вещи князя и графы не спешат подавать, все больше шуты и скучные лакеи.

Параша поспешила было на помощь молодому графу:

– Подарок вашего Величества – особый случай, – но вновь была пронзена холодной синей молнией выпуклых бешеных глаз.

– А она еще и мыслью быстра, быстрее многих, чья мысль в учении оттачивалась.

– Да уж, – не очень к месту вставил в защиту сына глуховатый Петр Борисович. – Николай всю Европу объездил, в Лейденском университете курс слушал...

Екатерина останавливает свой взгляд на молодом Шереметеве. Оценивающий женский взгляд, и всем видно, что этот мужчина – не в ее вкусе.

– По Европам скакать все мы горазды. Дед ваш, великий фельдмаршал Шереметев, добывал славу Петру Великому при Полтаве, в Швеции, в турецкой кампании. Отец (ласково посмотрела на дряхлого уже графа) тоже живота не щадил ради славы нашего отечества и своей государыни. А наследника славного рода Шереметевых ни в армии днем с огнем не сыскать, ни при дворе... Выходит, правы якобинцы российские, писаки Радищев и Новиков, – распустила я дворянство.

Попытался возразить молодой граф, но Екатерина на него и не взглянула. Игриво обратилась к Потемкину:

– Добра женская душа сверх меры, а?

– И слава Господу, что добра, – сумел приложиться к ручке Петр Борисович, – ибо свобода, вами дарованная, позволяет следовать собственному предназначению. Сын мой больше к высоким искусствам склонен, к музыке.

– «К искусствам...» «К музыке...» Я сама стараюсь прекрасному отдавать дань. Но делу время, а потехе час, – есть такая пословица у нашего народа? Кстати, у вас, Николай Петрович, времени немало, если успеваете к наследнику моему Павлу Петровичу регулярно наезжать в Гатчину.

– Великий князь – привязанность нежных лет, вместе учились, вместе играли в солдатики в вашем дворце, государы-

ня.

– И сейчас играете? В больших солдат, а? Впрочем, я незлобива, не подозрительна, – улыбнулась императрица, чтобы не выдать ненависти к сыну. – И постараюсь просьбу вашего батюшки о месте для вас в Сенате учесть при случае. А пока... – и взгляд ее остановился вновь на Параше, которая успела за это время собраться, используя привычные актерские приемы.

И снова бледность разливается по нервическому лицу графа-музыканта, и снова длинные холеные его ногти впиваются в ладонь. Ситуацию берет на себя отец:

– Матушка наша! Вслед за вами мы привержены стали идеям Вольтера о свободе и равенстве людей. Продавать живого и чувствующего человека негоже...

– Значит, не продаете? – вступил в разговор Потемкин. – Из принципа вольности? Тот же принцип имеет логику спрашивать «живого» и «чувствующего», где ему лучше быть. Хочешь ко мне, соловушка?

– Нет, – слишком быстро ответила Параша. Сделать надо было бы вид, что задумалась. – Нет!

– Не пожалеешь? То, что сегодня первоначально, завтра – дым кострища. Через год, а то и раньше, дам тебе вольную, будешь славить нашу державу в Италии. Таких, как ты, и там немного.

Как на сцене разыграла ответ:

– Спасибо, светлейший князь Григорий Александрович, –

поклонилась всем в пояс. – Век буду помнить вашу доброту. Но... Домашняя я, привязчивая. Как сумею петь без актеров, к которым применилась? Как мне жить без господина моего графа Петра Борисовича, который меня с детства как отец родной пестовал? Во дворце поселил. В Кускове я своя, привязалась ко всему кусковскому, к деревцу каждому привязалась.

– Знаем, знаем мы эти привязанности, – мрачновато шутит Потемкин, и вспыхивают двое, он и она, Паша и Николай Петрович, выдавая себя прилюдно.

Екатерина язвительно произнесла по-французски тираду о том, что, мол, подчас и аристократу случается увлечься простолюдинкой, если последняя умело использует не только украшения, но и мысли, и чувства дворянские. А когда сказала Параше «Иди!» и услышала в ответ прощальные слова, сказанные тоже по-французски, то и вовсе вся закипела от гнева. «Дерзкая!» Но это все про себя, ибо придраться ей было не к чему.

В актерской уборной Параша как подкошенная в театральном костюме бросилась на кушетку лицом в подушечку, ею же вышитую. Плакать нельзя – вдруг торг не окончен, вдруг еще позовут туда, к ним. Заставила себя встать. Подошла к зеркалу, всмотрелась в разгоряченное свое лицо. Четко и обреченно подумалось: без него нет жизни. Вслух произнесла:

– Но и с ним нет...

Странное видение... Из зеркала наплывала сцена, только что происшедшая, но теперь увиденная ею со стороны. Параша смотрит на молодого графа, смущенно протягивающего ей кольцо. Заметно, что он жалеет о своем нечаянном жесте! Видит себя униженно кланяющейся грозной даме, Потемкина, произносящего: «Куплю». Снова Екатерину, прерзительно улыбающуюся: «У меня таких хватает»...

Вдруг в зеркале появилась «калмычка» Настасья. Не заметила Паша, как вошла актерская сторожиха.

– Почему в наряде?

Есть повод прикрикнуть на барскую любимицу – как его не использовать?

– Ах, да она еще и при яхонтах!

Неподвижно стояла Параша перед злобствующей служанкой. Настасья сняла с нее платье, высвободила из рукавов упавшие руки. Словно и не человек перед ней, а манекен. Сложила в узелок драгоценности, перекинула через руку наряд, и платье выглядело более живым, чем Параша – худенькая, в одной рубашке, без кровинки в лице.

– В руке-то что? – разжала Настасья кулачок, осмотрела кольцо и положила его на стол: – Не потеряй, цены такому подарку нет.

...Вслед за Настасьей вышла из театра Параша. В темной пелерине, кустами обходя загулявшие пары, добралась до «Мыльни». В своей светелке села на лежанку и натянула на

себя покрывало, закрылась им с головой. Маленький одинокий холмик...

Вернувшийся под утро граф пытался согреть ее руки и ноги.

– Пашенька, девочка, что с тобой?

Зуб на зуб не попадал, лихорадка была Парашу.

– Я... Я больше не могу так. И вам надо жить по-другому.

Не знаю, как поступить мне. Вам решать.

– Что ты, что ты, Пашенька. Терпеть будем ради любви нашей. Все как-нибудь утрясется, все образуется.

Но она уже знала – не образуется. Впервые пронзили нестерпимой болью, всей тяжестью навалились на нее проклятые вопросы. Как жить дальше? Что делать?

Насколько было бы ей легче, если бы беды сыпались только на нее. Больше всего мучило то, что страдает из-за их любви Николай Петрович.

Через несколько дней после отъезда императрицы из Кускова (хозяева провожали высокую гостью до Москвы) в Парашину комнатку в дорожном костюме ворвался молодой граф.

– Вернулись? – бросилась, как всегда, навстречу Параша.

– Да, но с дурными вестями. Парашенька! Конец! Конец всем моим мечтаниям. Она отказала...

– Кто, кто «она»?

– Императрица. Женщина, подлая в нравах своих, сделавшая любовь непрерывным животным наслаждением... Как смела она упрекнуть меня в светлейшей привязанности, говорить о дурном примере?

Охваченный отчаянием, бурно переживая поражение, в детском своем эгоизме он совсем забыл о Параше, о том, что надо бы пощадить ее.

Параша побледнела, но граф не заметил, что причинил ей боль.

– И это власть? Кто наверху? Граф Кирилл Разумовский возвысился, нигде не служа. В князе Александре Голицыне не найдешь ни великого генерала, ни проницательного министра, ни доброго друга. Граф Захар Чернышев пронырлив, не более того... Все решает постель, все решает каприз. Теперь я завишу от расположения полного ничтожества с бархатными глазами, от Платошки Зубова. Сегодня она провозглашает вольность принципом жизни, а завтра отнимает единственную возможность проявить себя. И это у меня, чьи предки выказали великие государственные таланты!

Она прижалась к нему, пытаясь успокоить, и он постепенно остывал.

– Вам отказано в должности? Почему?

Только тут опомнился граф, но уж очень сладка была Пашенькина жалость, уж очень хотелось ему быть окутанным нежным, почти материнским вниманием.

– Она, Екатерина, посмела мне передать через Платошку:

«Либо высокая должность, либо нежное чувствование. Как он будет трудиться на благо всех, если жизнь свою бросил под ноги одной?»

Так Параша и знала. Она вспомнила синие молнии царицыных глаз. И грозная властительница может завидовать ей, несчастней которой не было во всем свете в этот миг? Потому что на слова о том, что матушка-государыня права и что графу надо жениться на равне, Параша не услышала пылких возражений.

– Ты думаешь? – Граф приложил ее горячую руку к своим губам. – Но лучше тебя нет женщины на свете.

– Есть и лучше. Женитесь. И тогда стадо простит свою заблудшую овцу и примет ее обратно с большим удовольствием.

Место директора Московского банка молодому графу после просьб многих могущественных друзей все же дали. А еще по прошествии времени стал Николай Петрович Шереметев и сенатором. Надо было перебираться на постоянное житье в Петербург. Он решил для себя: самое время разорвать гибельную для обоих связь.

В ту прощальную ночь перед отъездом он сказал ей между двумя поцелуями:

– Ты свободна любить другого. Можешь попросить у меня что угодно. Выполню любую твою просьбу.

Она не просила ни о чем. И не плакала. Когда он, ухо-

дя, закрыл дверь, натянула на голову одеяло, но и через него слышала удаляющиеся шаги.

Если бы можно было не жить. Ничего не видеть. Никого.

Она стояла у окна и смотрела, как слуги собирали обоз молодого графа. Карета, еще карета, еще... Картины, ящики с книгами... Уж не навечно ли уезжает? По стеклу текли крупные капли дождя, и ветер припечатал к нему первый осенний лист клена.

Пусто как! Ни репетиций, ни уроков, и даже книги не читаются, ибо не позволено ей переносить книжные ситуации в жизнь, а без этой странной игры воображения сюжет становится явной выдумкой – что толку в нем? Какой в нем смысл? Потянулись дни, похожие друг на друга, как близнецы. Менялись лишь времена года: осень, зима, весна, знойная, как лето.

Параша ничего не ждала, ни о чем не жалела, ничего не хотела, даже петь. Жила ли она все это время?

Жил ли он?

В нем многое происходило в ту пору.

Мужчины часто пугаются истинной любви и бегут от нее, почувствовав свою зависимость, которую принимают за слабость. У Николая Петровича этот природный инстинкт усиливался доводами разума: надо непременно вырваться из тупиковых обстоятельств, изменить жизнь так, чтобы ушла из нее крепостная актриса.

Но известно и другое: подлинное чувство словно ждет разлуки, чтобы из насыщенного раствора превратиться в кристалл, тверже которого нет ничего на свете. Страсть продолжала жить и перестраивать натуру графа, меняя пристрастия и привычки.

Он ехал в столицу, чтобы броситься в развлечения, суету, новые знакомства, флирт. Каждый день доказывал ему: ты уже не тот, кого это может захватить.

Пить было противно, сказывалась давняя слабость здоровья, желудок заявлял о себе при малейших перегрузках. Игра в карты не спасала от вялости, к вечеру азарт исчезал, будто его никогда и не было. Но самое худшее состояло в том, что женщины не волновали его, он словно через увеличительное стекло первым делом замечал все их недостатки.

Петербург же в тот сезон веселился напропалую. В тот год рано съехали с летних дач из-за внезапно начавшихся холодов и дождей. Жили с одним чувством: все плохое и страшное позади, сей миг – праздник! Царица закончила три тяжелые войны – с Польшей, Турцией и своим «законным супругом маркизом Пугачевым», как она ради смеха называла Емельку.

Екатерининское «законобесие» вызывало восторг дворян: жалованная им в 1785 году грамота оживляла жизнь выборами во власть – дворянское собрание, а главное, ставила последнюю точку в спорах о крепостных. Земля вместе

с крестьянами отныне принадлежала им по полному праву собственности. То рабство, которого в какой-то миг просвещенная и оглядывавшаяся на Европу императрица застеснялась, было провозглашено нормой. Богаты. Праздны. Веселы. Пусть же будут громче музыка, зажигательней танцы, роскошней наряды!

Императрица сама подавала пример. Ее корона ослепляла сиянием бриллиантов. А вокруг... Шелк, парча, золото, самоцветы и ни одного лица, на которое хотелось бы графу смотреть.

Столичный свет радостно встретил Шереметева-младшего. Еще бы, завидный жених «на выданье». Сама Екатерина захотела быть ему свахой и выбрала в невесты старую девушку Голицыну, от одного вида которой на лице у Николая Петровича появилось такое кислое выражение, что всем стало ясно: и на сей раз альянс не состоится.

Его повсюду догоняли противные шепотки светских старух: «Обратите внимание на княжну...» «Как вам графинюшка?..» Прочили ему Загряжскую – эту красивую породистую лошадь, о любовных похождениях которой ходили легенды. Не видеть бы их всех! Как надоели и свахи, и невесты!

Но все императорские балы он, по личному распоряжению царицы, посещал исправно. Да и другие заметные тоже.

Впрочем, он как бы присутствовал на празднествах, а как бы и нет.

– Граф, граф, вы меня слышите?

Он рад был увидеть Элизу Куракину, которую помнил еще малюткой, а милой отроковицей встречал во время своего путешествия в Париже. Младшая сестра друга превратилась в прелестную женщину.

– Вы пригласите меня на мазурку? Вообще-то милый Яшвиль просил, чтобы следующий танец был его, но я лукавила, будто вам обещала.

Как досадна, однако, эта настойчивость в женщине...

– Да-да, конечно – Николай Петрович протягивает руку Элизе и встречается с огненным взглядом грузина-полковника. Если бы он мог сказать, что вовсе не собирается отбивать у него девушку...

Странные состояния случались у Николая Петровича. На миг мир становился вдруг беззвучным, и тогда движения танцующих выглядели бессмысленными, механическими. Глупели люди, собравшиеся для веселья. Вот и прекрасная величественная Элиза нелепа. Чему она улыбается снова и снова?

– Что с вами, граф?

– Задумался...

Мазурка кажется бесконечной. Впрочем, она и существует для того, чтобы жаждущие наговориться побеседовали во время фигур вволю. О чем ему говорить с этой знакомой и чужой женщиной?

– Я вас развеселю, – переходит Элиза на французский. – Здесь брат. Ему запрещено бывать в столице. Вы знаете эту

историю с перехваченным письмом из Франции? В нем он посмел осуждать, – Элиза прильнула к партнеру и зашептала совсем тихо, – посмел осуждать известных мужчин, особенно любезных матушке (взор кверху, что означало «самой», то есть Екатерине). Брат тут же потерял место посла, был отозван из Парижа и выслан в самое дальнее из наших родовых поместий.

Чему она улыбается? Почему выбрала столь неподходящий повод для его оболыщения, для улыбок, «секретных» сближений?

Элиза взяла Николая Петровича за руку и через анфиладу комнат провела в дальнюю гостиную.

– Николай!

– Александр!

Куракин вошел в зрелый возраст, и это напомнило графу о том, что и он тоже не выглядит юным. Словно прочитал его мысли Куракин.

– Где наша молодость, Николай? Элиза мне рассказала, что ты стал мизантропом. А помнишь, бывало, чуть что – на тройку и к цыганам... Шампанское, песни...

– Сейчас не помогает...

– Тогда одно остается – последовать моему примеру и жениться. Не буду утверждать, что семейная жизнь весела. И все-таки... Жена, дети скрашивают мою ссылку.

Шереметев перебил его, боясь явного намека на виды Элизы, после чего всем станет неловко.

– Я не готов к браку. Бог не дал мне пока такого желания.

Улыбка на лице молодой женщины стала неестественной, но лучше было объяснить все так, сразу.

– Когда же? – спросила она нарочито незаинтересованно.

– Об этом и о другом – не здесь, не между прочим.

– Тогда дай слово, что приедешь ко мне в деревню, на охоту, – обнял его Куракин.

– Даю.

Как только уехал Николай Петрович, Параша почувствовала перемену в отношении к себе окружающих. Перестали кланяться и отвечать на поклоны Долгорукие и Разумовские, часто навещавшие в Кусково двоюродного деда, чья жизнь явно клонилась к закату. Не упускала случая куснуть «барскую барыню» завистливая дворня. И, что обиднее всего, подруги...

...Стайка подружек, как стайка рыбок, одинаково легкими, почти балетными движениями снует по «Мыльне», обращенной в роскошный дворец. «Ой!» – слышится в одном углу, «Ах!» – в другом.

Они осматривали, крадучись, личные покои молодого графа – прекрасные картины, дорогие вещицы. А вот и комната, где живет Параша. Читает, подняла голову. Девушки ей с нарочитой почтительностью:

– Прасковья Ивановна, там, возле грота, ваш батюшка... В канаве опять... Брагой опоенный...

Параша вскидывается:

– Кто напоил? Кто привел из села ко дворцу?

Как была, ничего на себя не накинув, выскочила из дворца, бегом по тропинкам, по аллеям парка. Внезапно остановилась, увидев в отдалении толпу. Лица одно за другим поворачивались к ней. Все поплыло... Нет, удержалась она, не упала.

Толпа расступилась, и она прошла к распростертому на земле бесчувственному телу горбуна. Как неудобно лежать родимому на земле! Голова запрокинута, лежит в исподнем, выпачканном и мокром, в грязи, в канаве. Параша кинулась к нему, подняла голову, вытерла широким рукавом лицо, стала целовать, забыв об окружающих.

– Батюшка, батюшка, как же ты мог?

Кажется, там, в толпе, лицо Афанасия.

– Помоги, брат.

Нет, скрылось лицо в толпе. А вокруг отвратительные злобные рожи. Хохочут. Тычут в нее пальцами. «Барская барыня!», «Горбуна-пьяницы дочь, а в кружева, ленты разоделась!», «Известно, чем господам такие, как ты, угождают!»

– Грязь на тебе, грязь! – па первый план из толпы вырвалась деревенская дурочка, старая уже, но вся в бантиках разноцветных и бесстыдно покрашенная. – Я тоже хочу, как Парашка, в хоромы. Нет! Не хочу! Грех на ней! Грех! В аду гореть будешь за ласки свои приворотные! В аду!

Показалось Параше, что не выдержит она сейчас, лишится

сознания или убежит. Но актриса она или нет? Человек или тварь дрожащая? Спокойно так встала с колен, выпрямилась, как струпа. Все в ней сила и власть.

– Батюшку вымыть! – распорядилась. – В чистое одеть. Спать уложить па постель в «Мыльне».

Смолк смех Кто-то из мужиков начал вытаскивать несчастного из канавы.

Рабы. Какие рабы!

Внешне спокойно ушла тогда Паша по тропинке. Но, переступив порог «светелки», упала без сознания.

Тоскуя в Петербурге, Николай Петрович решил выполнить обещание, данное другу юности Александру Куракину, и навестить его в домашней ссылке. Семейство потомственных русских дипломатов всегда было мило ему широтой взглядов и музыкальных интересов. С Александром же связывали его и охотничьи пристрастия.

Охота! Как он забыл о главном лекарстве от всех душевных хворей, – а что такое любовь, как не жестокая болезнь? Последнее испытанное средство должно помочь.

То предзимнее утро было ясным и безветренным. Лошади у Куракиных замечательные, собаки – послушнее не бывает. А уж имение... Какие леса, поляны, как далеко видно с возвышенного места. Такого окоема нет ни в Кускове, ни в Маркове. Граф вдохнул полной грудью холодный чистый

воздух. Хорошо!

В какой-то миг, когда собаки гнали лису, к Николаю Петровичу вернулся былой кураж.

Движение дикого зверя переливалось в движения гончих, переходило от одного пса к другому, чуть-чуть меняясь и одновременно продолжаясь в одном ритме. И все это – бег коня, свежесть встречного воздуха, всплывающая и исчезающая за подступившим внезапно березовым перелеском линия горизонта, – все составилось в неразгаданную музыкальную фразу. Граф на какое-то время вошел в жизнь, из которой выпал, покинув Парашу.

Но тут русская борзая обогнала гончих и схватила лису неловко, поперек туловища. Подоспевший молодой борзенок прихватил шею зверя, и рыжий с черными подпалинами мех окрасился кровью.

Граф не стал стрелять. «Боялся попасть в собак», – оправдывался позже перед другом. На самом же деле и себе не мог объяснить, почему не хотел убивать, почему он, заядлый, азартный охотник, даже не прицелился, не попытался увидеть в клубке тел яркую свою добычу. Не было жажды победы, и все вдруг стало скучно, как только гармония, музыка движений и красок разрушилась.

«Прихваченная» лиса ушла.

«Сглазили меня, что ли? Приворожили?» – подумал Николай Петрович. И еще – не словами, а всем своим существом: «Все пройдет, жизнь пройдет, и не будет того покоя,

когда лицом в колени... ей в колени... А без этого нет ни в чем смысла, нет радости».

Неделя, проведенная в Отрадном, многое расставила по местам. Впервые в разговоре с умным и смелым человеком назвал граф все своими именами, а значит, и для себя понял окончательно.

Хотя морозец на открытых местах уже хватал за уши, в псарне было тепло от дышащих жаром собачьих морд, от горячих, потных движущихся боков.

Они отбирали псов для близкой уже зимней охоты, но, конечно же, не могли пройти мимо последнего помета породистых собак. Оба не показывали вида, что щенки умиляют их, и старались оценить их по-деловому, с точки зрения охотничьей выгоды.

– Ты загляни, загляни в пасть этому торопыге! – призывал Куракин. – Какая пятнистая! Злющий будет.

Щенок нежно ткнулся влажным носом Куракину в ладонь. И вот уже два немолодых человека забыли обо всех делах и радовались милой щенячьей неуклюжести.

– Вот этого не продашь для завода?

– Ну, только тебе. Как старому другу. И только в подарок.

– Ай, спасибо! Скажи, Александр, как тебе видятся грядущие события? Нынешняя жизнь при троне ужасна. Я не вижу для себя места в этом круговороте интриг, обид и лести. Но надежда быть полезным отечеству еще греет душу.

Ты был в курсе дворцовых дел, да и сегодня связан со многими из тех, кто их определяет. Посвяти и меня.

– Пока на троне матушка, нам ничего не светит. Ну а потом... Платошка Зубов возле крутится.

– Его довелось видеть близко. Такой на трон не полезет. Такой именице в постели может заработать, а на большее не способен. Которого из щенков ты мне даришь, Александр?

– Давай так: который из этих двух к тебе подползет, тот и твой.

– Идет!

Щенок пытался ползти к Шереметеву, подманивавшему его, но лапы расползались, он кружился вокруг своей оси и смешно тыкался мордочкой в землю.

– Кто будет после?.. – продолжил начатый важный разговор Куракин. – Императрица – и это не секрет – мечтает видеть преемником внука-первенца. Сказывают, составила завещание на моего тезку. Если сбудется ее желание, то нам останется охота на зайцев в имениях. Места наверху займут молодые, ровесники Александра.

– Ты лучше знаешь царственного внука. Он-то рвется к власти?

– Кому она не сладка? Одна надежда: канцлер Безбородко ставит на Павла, статс-секретарь Елагин тоже. Если оба постараются, мы еще сможем с тобой поработать на отечество и хотя бы часть наших юношеских мечтаний сможет осуществиться.

– Ну а что Павел? Беру я этого песика?

– Не дополз же. Впрочем, это вопрос азарта, а так... даю любого. Сам же Павел в своей бесконечной гатчинской ссылке отвык от решительных действий, но если мы все можем...

– Ух ты мой хороший! Смотри, что натворил, – Николай Петрович вытер батистовым носовым платком лацкан охотничьего костюма, обмоченный щенком. – Ах, баловник! Кстати, а цесаревич спрашивал обо мне?

– Да, конечно. Он всех друзей детства числит в соратниках. Посмотри, Николай, хвостик какой. Этим хвостики когда рубят? А лапку он не подгибает?

Этих вопросов Николай Петрович уже не слышал, ибо разговор подошел к тому, что было для него важным и чем, после небольших колебаний, он все же поделился с другом.

– Понимаешь, есть у меня актриса... из крепостных... Мечтаю ее Павлу представить.

– В качестве?

– Певица она замечательная. Человек образованный. И друг мне сердечный.

– Ты это серьезно?

– Куда уж серьезнее. Целый год не вижу ее, а только о ней и думаю.

– Да...

– Оглядываюсь на прошлое, а вывод один: днями счастья могут назвать лишь те дни, которые с ней провел! И знаешь,

дело тут не в женском и мужском притяжении. Не только в нем. Впервые я понял, каким должен быть брак истинный. Я о ней больше беспокоюсь, чем о себе. Столько обид, столько унижений в зависимом этом рабском ее положении...

– Ну и ну... Выходит, и у тебя единственный шанс – Павел. Может, он что-то изменит.

«Или хотя бы решит как-то мой личный вопрос», – подумал Николай Петрович и снова нагнулся к щенку:

– Ну, мой милый, голос!

Старый граф умирал. Он вступил в ту пору долгой болезни, которая могла закончиться только одним. Каждый сердечный приступ был тяжелее предыдущего, а промежутки между ними становились все короче и не приносили облегчения.

Как ни странно, чаще других он хотел видеть возле себя Парашу. Ей признавался в своем нежелании покидать любимое Кусково. Но надо: умереть он хотел в Петербурге, дабы легче было похоронить его в родовой усыпальнице Шереметевых, что в Александро-Невской лавре. Там, в мраморной гробнице, давно ждали его младший сын, любимая жена, обожаемая дочь.

– Спой, душенька, – просил старик Парашу. – Из литургии, духовное. То, что мой Дегтярев сочинил, разучила?

Параша пела «Свете тихий, невечерний...» И благодать сходила на уставшую душу, облегчала и муки телесные. Де-

вичий силуэт почти сливался с теменью, опускавшейся за окном. Она сама зажигала свечи, разводила в камине огонь. Молча садилась в кресло чуть поодаль, и Петру Борисовичу становилось покойно, как не бывало давно.

В один из вечеров он завел разговор о сыне.

– Пашенька! Почему не спрашиваешь, как Николай? Здесь, в Кускове, мы двое ждем вестей от него. Я не знаю, увижу ли его, довезут ли меня до нашего дома на Фонтанке живым. До Петербурга путь немалый, а сил у меня... – старик помолчал и снова заговорил: – А ты увидишь. Будь ты дворянкою самою захудалой, благословил бы я вас и лучшей пары искать ему не велел бы. Но... – дыхание старика стало сбивчивым, он попросил капель и все же закончил: – Может, ты первой, а? Тогда и у него быстрее решится. Выходи замуж. Аргунов, сказывают, по тебе сохнет. Или Дегтярев посватается, если больше тебе нравится. Любому ты составишь честь. Приданое дам – все ахнут. Детки пойдут...

Параша молчала, раздувая огонь в камине. Тяжело дыхание, тяжела и речь больного:

– Когда не по себе дерево рубят, плохо тому, кто замахивается.

Резко выпрямилась Параша:

– Не замахиваюсь я. Место свое знаю. Но... Не все и мне по силам, барин. Не могу себя заставить... Нет-нет, лучше душу свою порешу. Страшный грех, а с кем-то чужим жить еще страшнее.

– Ну-ну, не неволю. Только и ему беда, и тебя заломает жизнь, Пашенька.

...Перед отъездом из Кускова прощался старый граф со всеми скопом, и только двоих попросил зайти к нему в спальню отдельно: княгиню Долгорукую и Парашу Получалось, что последняя, как и Марфа Михайловна, как бы слегка родственница. Управляющему сказал о певице:

– Чтобы никто не смел обижать ее ни делом, ни словом. И чтобы жила в «Мыльне», сколько хочет. Как хозяйка.

Управление имениями, городскими дворцами и деньгами как-то само собой перешло Николаю Петровичу. Петр Борисович совсем удалился от дел и совершал свою последнюю и самую тяжелую земную работу – умирал.

Почувствовав себя свободнее в средствах, молодой граф убивал время за картами и рулеткой, испытывая судьбу и тем самым заполняя пустоту в чувствах. Мужская компания была предпочтительнее, в женской слишком явно расставлялись капканы на завидного жениха. Но и в игорном клубе имелись свои ловушки.

Постоянно привязывался к графу беспокойный, ревнивый, всегда полупьяный полковник Яшвиль, имевший о Шереметеве превратное суждение как об удачливом и циничном покорителе женщин. Он не забыл мазурки, отданной не ему.

Вот и в тот вечер, завидев издали Николая Петровича, Яшвиль поспешил к нему:

– Сыграем, граф? Хочу выиграть. В рулетку вам так же не должно везти, как тогда у Измайлова в «фараон». Тогда о вас вздыхала цыганистая девочка, сегодня нам двоим небезразлична дама.

«Этот болван все сильнее влюбляется в Элизу, пусть его. Отчего не сыграть?»

– Называйте ставку.

– Только не деньги! Что они для вас? У первого богача они не считаны. Но есть, слышал, один драгоценный предмет... Как жемчуг... Жемчугова... О ней и о вас много говорят в свете. Не та ли это кроха, которую я видел в ресторане?

У графа начала дергаться щека. Некое смещение в сознании, наверное, произвело выпитое шампанское, но он вдруг почувствовал удовольствие от одного упоминания о Параше. Происходящее и задевало его, и злило, и взбадривало. Конечно, все это отвратительно, но и отвратительное иногда бывает желаннее пустоты.

– Я готов.

– Я так и думал и говорил всем: рыцарские чувства к простой девке? Бредни! Подумаешь, Прозерпина из коровника... Я в свою очередь ставлю приму из моего театра. Выясним после, какая из двух горячее.

– Замолчите!

Но Яшвиль уже и так молчал, ибо сосредоточился на став-

ке.

Первую ставку он выиграл.

– Ваша жемчужина отныне моя.

– Нет. Я выкуплю.

– Не все продается.

– Но... Теперь мой ход. Я имею право отыгаться.

Яшвиль видел, как покрывается лицо Шереметева бледностью, какими острыми становятся обычно спокойные большие серо-голубые глаза с поволокой. Есть! Стрелка остановилась на красном.

– Моя! – произнес граф без голоса, одними губами, и продолжил, обратясь к Яшвилю: – Вы не виноваты в моей... подлости, полковник. Однако вы допустили несколько неуважительных выражений в адрес особы, заслуживающей совсем иных отзывов. Бросить перчатку? Или договоримся без лишнего шума?

– Я принимаю ваш вызов.

Дуэли не суждено было начаться. Еще секунданты уточняли условия и меряли шаги, когда на опушке леса показалась повозка.

– Николай Петрович! Барин! – слуга кричал издали, размахивал руками. – Еле нашли вас... Беда!

Шереметев понял: батюшка...

– От удара скончались в одночасье. Пожалуйте в сани.

Князь Яшвиль подошел, обнял врага и соперника.

– Укрепите свое сердце. Я знал Петра Борисовича с детства и почитал за пример. Элиза любит вашего батюшку как родного...

Сразу же после похорон, по распутице, взяв отпуск по службе, молодой граф отправился в Москву, а оттуда в Кусково. Там, в «Мыльне», в дальней скромной комнатке ждала его любящая и любимая Параша.

Вся закутанная в темную шаль, без украшений и даже без сережек, которых обычно не снимала. Бесплотна, как тень.

«Как постарел!» – в самое сердце кольнуло Парашу. Горбится, одиночество проглядывает в каждой линии фигуры, в каждом жесте.

Подошла, обняла, закинув руки ему за голову. Упал на пол старушечий покров, обнажая беспомощно-худенькие ключицы и тонкие озябшие руки.

Опустился граф перед ней на колени.

– Прости.

...Та весна, горькая, с примесью усталости и чувства утраты, была особой среди других весен. Весна любви осознанной и зрелой...

Теперь они говорили друг с другом обо всем как люди родные и бесконечно близкие. Та откровенность, которая была невозможной в романтических отношениях, стала доступной и необходимой. Река, миновав пороги, разлилась по равнинному житейскому руслу, течение мыслей и чувств стало спокойнее.

– Считал и считаю тебя супругой своей перед Господом, – каждый день повторял Параше граф. И сокрушался: – Жаль, не могу назвать тебя женой и перед людьми. Но для меня ты супруга истинная.

Впрочем, после смерти батюшки отпали многие запреты, возникла иллюзия, будто преодолим и этот – на неравный брак. Николай Петрович решил приучить к мысли о мезальянсе сначала самых близких людей и дворню, после – светскую компанию, после – все высшее общество и власть.

То, что задумал, держал при себе до последнего. Однажды ближе к вечеру зашел в Парашину «светелку».

– Собирайся, душа моя. Бал у Долгоруких.

– Но... Но мне нельзя, милый, – опешила Параша.

– Непременно поедешь со мной. Только что получено платье из Парижа, которое я предусмотрительно заказал для этого случая. Драгоценности тоже заказаны лучшему ювелиру в Санкт-Петербурге, а пока одень матушкины, те, что но-

сишь на сцене. Они очень к лицу тебе.

До этого он никогда не встречал с ее стороны такого твердого сопротивления:

– Я не могу, барин, на бал к Долгоруким. И фамильные драгоценности – не могу.

– А если я буду настаивать?

Заметалась в отчаянии по комнате, возражая графу беспорядочно и бурно. В каждом жесте, в каждом слове отчаяние:

– Чужие цепи? Кукла, обезьяна, ворона в павлиньих перьях! Вы можете сослать меня в дальнюю деревню, но выставить на посмешище...

Еще минуту назад граф был упоен своим самоотверженным замыслом и думал только о том, каким героем представит перед самим собой. Не умевший ставить себя на место другого человека, он только сейчас осознал, как можно все оценить с точки зрения Параши. Она страдала, боялась унижений.

– Парашенька... Долгорукий – мой кузен. Все попросту.

Она-то знала это «попросту», ей попросту не отвечали на поклоны, когда она оставалась в Кускове без Николая Петровича, но жаловаться она не умела. Только покачала головой – нет-нет, не уговаривайте.

Но граф продолжал:

– И нынешние нравы, царицены адюльтеры не делают взгляды строгими. – Он не заметил, как вслух высказал те

доводы, которыми убеждал себя, не рассчитывая излагать их Параше. И тут же граф увидел, что его слова не утешают, а оскорбляют женщину. – Прости, душа моя, хотел как лучше.

Что-то простодушное, детское высветилось в лощеном аристократе. Сел рядом с Пашенькой на узенькой ее кровати, приобнял, как обнимает свою девку деревенский парень на завалинке. Нет между ними того расстояния, о котором кричат все. Как хорошо изливать свою душу с полной уверенностью в том, что собеседник и поймет, и не осудит, и пожалеет.

– Послушай меня, Парашенька. Вершину своей жизни я миновал. Ты молода, я старше почти вдвое, но пустые развлечения не влекут и тебя. Еще меньше они значат для того, кто на склоне жизни... Красавицы, вино, карты – все позади. Бог дал мне уразуметь через тебя: радости мужеские ничто, если молчит сердце.

Ты спросишь: почто не оставить свет, не последовать идеям Руссо или философа-отшельника у де Аржана, которым все нынче зачитываются? Природа, музыка, архитектура и удаленность от людей – разве не об этом мы с тобой когда-то мечтали?

Все так. Но мысль и противоположная поселилась в душе моей вместе с любовью к тебе, и она тоже послана Господом. Мой род... Честь Шереметевых не только в богатстве. Напротив, богатство лишь увенчало честь, оно не свалилось даром, а было заслужено моими предками. Сам Петр Великий по-

жаловал моему деду 2400 дворов за Полтаву. А до этого была отвоеванная Борисом Шереметевым Лифляндия. А еще более древний мой предок Иван бил татар. Пока славу рода поддерживал мой батюшка, и воин и отменный обер-камергер, ничто не волновало меня, я не слышал государственного зова. Но смерть отца, долг. И пробуждение дремавших сил, которое произвела любовь твоя, направило мои помыслы в эту сторону. Мне хочется перед тобой явиться государственным мужем, отмеченным людским признанием. Неужели я не имею на это права?

Параша спросила робко:

– Разве вам мало почета в нынешнем вашем положении?

– Тебе признаюсь: мало. Сравнивая себя с правительствующими мужами, испытываю обиду на судьбу. Ты же знаешь, какой я эконо́м. И в постройках кусковских, смею надеяться, проявил я немалый вкус. Мне бы развернуться и воплотить свой немалый опыт в дела более заметные...

– Да-да, но для меня, друг мой, вы хороши, кем бы вы ни были. И мужеское преуспеяние я буду всегда видеть не в умении плести дворцовые интриги, а в вашем таланте к музыке и всему изящному. Но таково свойство мужской природы – ей все мало. И потому... Действуйте. Поезжайте. Поезжайте к Долгорукому один. Я бы хотела сказать и так: женитесь, обзаводитесь наследником, это прибавит вам чести. Но... Не могу. Отпустить вас па время – в моих силах. Навсегда – нет.

Граф взял ее лицо в ладони.

– Почему ты не хочешь помочь мне?

– Хочу. Ой как хочу! Готова для вас на все. Уж коли пошла на смертный грех прелюбодеяния... Но есть что-то выше меня. Прямо от Бога дадено изначально. Не знаю, как это и назвать, разве что достоинством.

Граф глубоко вздохнул:

– Хорошо, мы не едем.

Парашу Николай Петрович против ее воли переселил после смерти старого графа в большой дворец, в покои матушки, чем вызвал открытое раздражение племянников. Надеюсь, что чудак-музыкант так и не успеет жениться и дать миру наследника. Я они уже не скрывали своих претензий на его богатство. Крестьянка-любовница хороша, покуда знает свое место...

Актерам еще раз напомнил Николай Петрович об особом положении Прасковьи Ивановны в театре, что, естественно, тоже ни у кого восторга не вызвало, а разожгло зависть с новой силой.

Но основным событием на пути к браку, по замыслу Николая Петровича, должен был стать летний бал в Кускове. Правда, готового спектакля к новому сезону граф и Вороблевский не подготовили, репетиции из-за траура долго не проводились, так что и старого репертуара возобновить не смогли. Чем ублажать гостей?

Живя рядом с любимой, граф стал больше времени про-

водить в музыкальном кабинете. Однажды, услышав дивную мелодию, которую выводила виолончель, Параша пришла туда из дальних комнат. Дослушала, чтобы не помешать, у двери и спросила:

– Откуда?

– Тебе нравится тема? Это из новой оперы Паизиелло «Нина, или Безумная от любви». И в Италии, и в Париже все от «Безумной» без ума, – граф улыбнулся невольному своему каламбуру. – И у нас во всех театрах ее разучивают. Да и не только в театрах. В кружке музыкантов из дворян готовят всю ту же «Нину», решили показать свои актерские способности императрице. Долгорукая, возомнившая себя певицей, взялась за партию героини. Сказывала, что есть трудные места. Но не для тебя, не для твоего голоса.

– К нашему балу мы не осилим новую постановку.

– А что, если?.. Сие даже хорошо, что не успеем, – неожиданно заключил молодой хозяин Кускова. – Для разнообразия попросим дворян, поставивших в Москве «Нину, или Безумную», дать нам спектакль здесь. А тебе, Пашенька, предоставим право судить о его достоинствах.

– Разве... возможно? – обомлела Параша.

– Отчего нет?

Грустно прошло первое лето без старого хозяина, грустно началось и второе.

Кусковский летний театр стоял пустым под знойным

небом. Так странно это – пустой театр. Бродя по парку, Параша подходила, заглядывала за дощатые шпалеры, будто надеялась, что именно там осталась по молодости беззаботная, довольная одним днем, одним часом жизнь. Прыгали со скамьи на скамью воробьи.

Репетиции не удавались, утомленный и не очень здоровый Николай Петрович раздражался, кричал на актеров, после надолго запирался в своих покоях. Параше он сказал, что траур кончился и надо начать новую жизнь с празднества в Кускове.

– Примешь гостей моих. Как хозяйка.

Ахнула про себя: снова все та же затея. Но отказать ему на сей раз не решилась. Только спросила:

– Не боитесь? Люди злы. Не отомстят ли вам за то, что правила их нарушите?

– Меня? Да они перед деньгами моими на цыпочках. И в моем доме... Нашем доме!

– А я боюсь.

– Пашенька! Решить судьбу нашу может только брак. Сделаем первый шаг. Ты же актриса. Сыграй роль хозяйки, в конце концов. Пусть привыкают.

Платье, выписанное из Парижа, было сложного красно-гранатового цвета, отливающего синевой, с большим кринолином и затейливыми оборками. Параша не скрывала восторга, рассматривая и примеряя его. Шло к глазам, так и льнуло к ланитам, к блестящим, как вороново крыло, воло-

сам. И к фигуре оно подходило как влитое. Граф тайно любовался Парашей, когда она крутилась перед зеркалом, то приближаясь к нему, то чуть-чуть отступая. И, как истинная женщина, в какой-то миг она словно уходила в него совсем, увидев там, за стеклом, себя иную...

Она и впрямь была иной в этом наряде... С возрастом расцвела, похорошела, даже подросла его Пашенька. Но стройности лишней не бывает.

– Сюда пошел бы высокий фонтанж, – предложил Николай Петрович, приподняв ей локоны надолбом.

Согласилась:

– С плодами и листьями вяло-зелеными, да?

– Я вызову куафера из Москвы, чтобы убрал твои волосы, как задумано. А драгоценности... Нет, не цепи, – бриллианты, отписанные мне батюшкой. Бриллианты облегчат бархат.

Молодой граф, следуя традициям отца, на празднествах не экономил.

Весь цвет московской аристократии собрался в Кускове. Огромный танцевальный зал показался тесноватым. В мужских компаниях обсуждалась ситуация при дворе, которая явно шла к перелому – казалось, только сама императрица не считала лет, проведенных на престоле, и не замечала собственной старости. Великосветские франтихи, сбившись в стайки, были заняты пересудами о любовниках Екатерины. Но рано или поздно разговор должен был коснуться сплетен

на местные сюжеты.

– Где обольстительница нашего хозяина? – спросила одна дама другую. Не громко спросила, но и не тихо, а так, чтобы все желающие могли принять в разговоре участие. – Она, я слышала, танцорка...

– Танцорка сумела то, чего не сумели знатные невесты, – ехидно заметила костистая старуха со следами былой красоты. Весь вид ее говорил: мне бы да молодые годы...

Вмешался и князь Долгорукий, родственник Шереметева, один из тех, кому был особенно невыгоден безумный союз графа и крепостной крестьянки. «Балкон», нелепо качнувшись в сторону сплетничавших, пробасил:

– Она не танцует, она поет. Но что толку-то?

Модницы собирались спросить, какой толк имеется в виду, но в это время Вороблевский, взявший на себя обязанности церемониймейстера, дал знак музыкантам.

Открылись дальние двери, но за ними было пусто. Музыканты повторили несколько тактов мазурки и снова замолкли. Граф неприлично задерживался. По толпе пошли шепотки: «Что случилось? В чем же дело?»

Если бы собравшиеся могли быть свидетелями той сцены, которая произошла в «светелке»! Сколько пищи они получили бы для пересудов!

Зайдя за Парашей, граф нашел ее вовсе не в ослепительном наряде. И произведение куаферского искусства на голове отсутствовало.

– Как понять? – грозным с Парашей граф быть не мог, но рассерженности своей, своего неудовольствия на сей раз не скрывал.

Прижалась к нему всем телом:

– Вы скоро поймете, что так лучше. Поверьте мне.

Времени на спор и тем более на ссору не было...

Как только Николай Петрович появился в дверях об руку с Парашей, гости замерли – не столько от почтительности, сколько от неожиданности. Вот так открыто демонстрировать свою привязанность к актрисе? К крепостной? А граф между тем провел свою спутницу к центру зала.

– Хочу вам, моим друзьям, представить лучшую певицу моего театра Прасковью Ивановну. Эта женщина – незаменимый помощник мне в делах артистических и музыкальных. Но особенно я ей благодарен за поддержку в трудное время после смерти родителя моего. С нею вместе посмотрим мы спектакль, который поставлен любителями для показа в дворянском клубе и любезно привезен исполнителями сюда.

Хоть бы кто сказал слово. Ни вздоха, ни шепота – тяжелое мрачное молчание. Знать в упор рассматривала Парашу.

...Она долго сомневалась, выбирая наряд. Долго не решалась послушаться графа. И все-таки остановилась на строгом темном платье под горло, – ни одного украшения, только большой медальон с портретом Николая Петровича. Правильно выбрала: так вот, закрытой тканью, легче под недоб-

рыми взглядами.

Наконец зашептались. Чуткий слух улавливал издали: «Вот эта и...» «...Больше похожа на инокиню, чем на любовницу...» Какая-то барынька решила: надо же кому-то указать этой девке ее место. Заговорила с Парашей по-французски, и не только о погоде-здоровье, но и о сюжете «Безумной Нины», а значит, о любви, измене, о модных романах, перепевающих те же мотивы. Параша вела разговор спокойно, уверенно, на равных, и поразила всех свободой и остротой своих суждений.

Княгиня Долгорукая, новоиспеченная супруга «Балкона», была уязвлена тем, что ее пригласили петь перед простолудинкой и рабыней, однако отказать Николаю Петровичу не могла: слишком далеко отходить от него – значило отходить и от богатства, из которого нет-нет да и перепадало обедневшим племянникам. Но уж кольнуть при всех, как бы нечаянно, как бы не думая... Как бы не зная о скандале в благородном семействе, в которое вошла после недавнего венчания... Не отказать же себе в таком невинном удовольствии.

Вот уже она щебечет, стоя рядом с Парашей и обращаясь к ней как к «своей»:

– Вы, разумеется, понимаете, «Нину» мы не могли доверить крепостным актерам. Дело не в вокале – среди наших девок и крестьян есть голоса, но в сюжете о сильных чувствах, о безумии из-за любви... Требуется тонкость души, они же все делают из-под палки. Только аристократы способ-

ны на истинную любовь («Получай!»). Вы согласны?

Все замерли. Как выкрутится любовница графа, чем ответит на «простенький», «глупенький» даже выпад графской родственницы? Коли станет притворяться дворянкой, тут же и спросить, какого рода, по какой линии. И прочее, и прочее...

Так нет ведь, не стала!

– Я сама подневольна, сударыня, – ответила Параша, – и вряд кто-либо в этом собрании не знает этого. (Кроткая-кроткая, а уколоть тоже умеет, с досадой отметила жена «Балкона».) Я часто бываю с людьми низшего круга, ибо по рождению принадлежу к ним. Среди них встречаются и такие, о каких вы ведете речь. Но есть и такие, что трудятся истово, потому как Господь заронил в них искру таланта. Я более согласна с известным вам всем Беранже, который указывает не на происхождение и чины, а на человеческую натуру.

Кто мыслит, тот велик –
Он сохранил свободу.
Раб мыслить не привык,
Он пляшет вам в угоду.

Рабы случаются и среди лиц, вознесенных судьбою высоко, не так ли?

Жена Долгорукого вынуждена была, хотя и с кислой миной, но кивнуть. И гости закивали, помимо собственной воли. Только митрополит московский Платон делал это с пол-

ною охотою.

– Я слышал ваше пение, Прасковья Ивановна, – подошел он к Параше, – оно божественно. Ваше женское, человеческое достоинство тоже заслуживает всяческого восхищения, – и на глазах у изумленных гостей первый священнослужитель Москвы поцеловал крепостной актрисе руку.

После этого восторженные реплики Николая Петровича уже никого не удивляли:

– Талант – дар Божий, – провозглашал он, – а потому единственное, что возвышает человека над прочими людьми. Сегодняшней хозяйке, – кивнул в сторону Параша, – его не занимать. Приглашайте всех к ужину, Прасковья Ивановна. После – танцы. А после – спектакль...

Шок долго не проходил. И только минут через десять сплетники и сплетницы с новой энергией принялись обсуждать шепотом, что значит выражение «сегодняшняя хозяйка»: хозяйка на сегодняшний вечер или на более длительный срок? Сошлись на первом варианте (второй просто невозможен), но и его нашли малоприличным и ненужным розыгрышем. Кто из помещиков не спит с крепостными девками и актрисами, но втягивать в эти истории людей светских? На светском рауте?

– Дядюшка наш – большой штукач, – соглашался со всеми возмущенными моралистами «Балкон»-Долгорукий. Подразумевалось при этом, что самым нормальным было бы передать несметное богатство Шереметева-младшего таким знат-

НЫМ И ВОСПИТАННЫМ ЛЮДЯМ, КАК ОН САМ, ОДИН ИЗ ПЛЕМЯННИКОВ.

Параша впервые видела сцену Кусковского театра из ложи: главной – «царской» – ложи, где сидела рядом с хозяином как равная. Из партера нарочито долго лорнировали ее шокированные кавалеры, и самые знатные, самые роскошные дамы в ложах возмущенно переглядывались, кивая на странную пару. Нельзя сказать, что этим двоим было уютно под перекрестным огнем взглядов, но Параше больше мешало другое – игра и пение на сцене. Долгорукая, только что хаявшая крепостных актеров, сама деревянно двигалась и отчаянно фальшивила в главной арии. Здесь не так, и это надо бы по-другому... Параша видела, как болезненно морщился граф от неверной ноты.

После каждого номера все взгляды устремлялись на них – как оценивают происходящее хозяин и «хозяйка»? Параша, стараясь сгладить явно отрицательное отношение графа, горячо аплодировала. Это дало основание «Балкону» во время разъезда язвить:

– Видели, как княгиня обучала роли крестьянскую девку? Нас всех граф Шереметев собрал для ее удовольствия – то-то хлопала, то-то радовалась. Мы же, дворяне, вроде обезьян ее развлекали.

«Не приучишь их, не приучишь к тому, что мы вместе», –

с горечью думала Параша. Понял это и граф. Но большую ярость вызвала у него не знать, а дворня – «свой».

...Актерскую труппу позвали на дворянский спектакль. Разумеется, поучиться. Но вскоре за кулисами, откуда крепостным разрешили смотреть на действие, поняли, что переимать у играющих нечего. Актеры и не ждали того уровня, что в профессиональной антрепризе Медокса, но чтобы так... Прячась между задниками, смеялись над господами-певцами, передразнивали их. Однако больше всех досталось Параше. Нестерпимо обидно было видеть Изумрудовой, вперившейся в зал, соперницу на почетном месте. Толкнула в бок Вороблевского:

– Гляньте-ка. Парашка на том месте, где императрица сидела. А барин-то... Не только девок всех из-за нее забыл, но и вас. Раньше кто в ложе рядом с ним стоял бы? Вы.

– Ничего, вспомнит, – мрачно ответил Василий.

– Вознесла-а-ась... Небось забыла, что из моего села. Напомним ей, а? Прямо сейчас...

И напомнили.

...Туго скатанный комок бумаги, брошенный откуда-то из лож справа, больно ударил Парашу по щеке. Развернула послание. Нарисована жалкая птица в короне. Подпись с ошибками крупными буквами: «Новая царица, крестьянская пивица. Кузнецова доч, шла бы из дворца ты проч». Вспыхнула, хотела было спрятать записку, да только Николай Петрович уже ее заметил, молча взял бумагу и положил в карман.

– Как плохо, однако, поет Долгорукая, – ласково нагнулся он к Параше. – У тебя получится много лучше. Мы поставим «Нину» и покажем зимой в Москве. Пусть посмотрят, как это может быть.

«Утешает, – подумала Паша. – А у самого глаза печальные. Мне плохо, а ему, бедному, не лучше. И все из-за меня».

Расследованием гнусной этой истории занялся сам граф. Он быстро вышел на исполнителя – семилетнего дворового мальчишку, ради праздника обряженного Эросом. Эрос-Филимон должен был обносить логи гостей клюквенным морсом в «греческом» сосуде и вместо лука имел при себе изящное подобие рогатки. Из этого оружия он и выстрелил в Пашеньку подметным письмом.

– Кто научил? – крутанул Филимоново ухо Николай Петрович, легко входя в состояние неукротимого гнева.

– Актерка Буянова... Гривенник обещала за шалость.

Таня Шлыкова, присутствовавшая на экзекуции, добавила к обвинению:

– Я давно хотела сказать вам, барин Николай Петрович: Прасковья Ивановна не жалуется, а ей такое приходится терпеть от Анны и других... Без вас тут ее до болезни нервной довели, до самой настоящей горячки.

– Отчего такое случилось?

– Оттого, что батюшку ее, Ивана Степановича, напоили, ко дворцу притащили и на общий позор выставили, чтобы

Парашеньку унизить.

– Кто мерзость сию устраивал?

– Все та же Анна. Завистница она. Еще мужик из деревни, немолодой уже, Власом зовут.

И новый прилив ярости, не сдерживаемый ничем – он господин. Он здесь полный хозяин.

– Позвать Власа! Анну... Анну сегодня же отправить в Марьино на коровник.

Мужик Влас на свою беду оказался в тот миг во дворце, его привели так быстро, что барский гнев не успел остыть. Не найдя под рукой ни кнута, ни плетки, Николай Петрович сначала лупил его кулаком, а после, схватив виолончельный смычок, сломал его о плечи ненавистного обидчика Пашеньки.

– В дальнюю деревню! Без семьи...

Испуганная Шлыкова пыталась остановить:

– Барин! Барин! Успокойтесь.

Но тот в гневе был страшен и неукротим.

Осторожно и тихо-тихо через коридоры «Мыльни» провела Таня Шлыкова всех наказанных в «светелку» Параша.

– Прасковья Ивановна! Заступитесь, одна вы можете спасти...

Что это сует ей в руку испуганный мужик? На ладони смятые ассигнации. И все бубнит:

– Заступись, госпожа!

Параша отдернула руку:

– Что вы? Что вы? Какая я госпожа? Я вас с малых лет знаю, дядя Влас. Соседем в селе. А вы так с моим ба-
тюшкой обошлись...

Повалился Влас ей в ноги.

– Уговорили меня. Брагой опоили. От деточек родимых
теперь увезут. Заступись, Пашенька!

– Конечно, конечно, молить буду барина за вас.

Подняла Паша глаза, а перед ней Анька. Та, что уговорила
Власа и брагой опоила, а Филимону всучила глупую запис-
ку. Опустила рыжую голову, прячет взгляд. Трудно и Паше
сказать ей хоть слово, все былые обиды прибавились к по-
следней.

– Иди, Анна. И за тебя попрошу...

Ушли. Закрыла лицо ладонями и, как в детстве, заплакала
навзрыд. Приговаривала тоже по-детски:

– За что?

Деревенским никому зла не делала и всем по мере сил сво-
их помогала. Анна... Ну если бы влюблена была она в бари-
на, как Беденкова. Перед той Паша часто чувствовала себя
виноватой. А то... Одна злоба, одна зависть. А ведь с детства
подругами были. За что? Как относиться ко всему этому?
Как исцелиться от печали? И как не впасть в ответную злобу?

Она плакала, положив голову на руки. Может, оттого так
трудно жить, что другой ее грех неизбывен? Открыла наугад
одну из книг Димитрия Ростовского, всегда лежавших у нее

на подзеркальном столике.

«Все тело твое, которое ты оскверняешь и чернишь блудным грехом, не твое тело, но Христово».

Значит, Христа чернит она грешной связью? Но... Нет, нет на ней греха, потому как не блуд это. Другое об этом говорит святитель Димитрий, она помнит. Быстро листала страницы. Глазами споткнулась о фразу: «И святым случается падать». Не то. Вот, вот... Знакомое: «Где любовь, там и Бог». Любит она. Но любовь без венца считается блудом. Где выход?

Снова плакала Паша, снова читала...

А ночью просила графа отменить наказание:

– Разве умеришь этим гнев и ненависть? С ними можно обойтись сурово, все в вашей воле. Но только... Грехов у меня и так достаточно. А если еще на голову посыплются проклятия, если Власовы дети будут плакать без отца и нас помянуть лихом – добра не жди.

И все-таки он пришел, наступил-таки миг относительного равновесия, когда внешний мир согласился терпеть этот союз. Немыслимый, временный, никому не желанный, из одних странностей и несоответствий сложенный. Поутихли великосветские невесты, осознав непомерную сложность задачи – женить графа. И челядь поутихла, смирившись с возвышением актрисы. «Ломали – не сломали, покориться придется» – обычный вывод. Перед Пашей заискивали, ее расположения жаждали...

И зная, не признав ее, вынуждена была все же признать некоторые ее достоинства.

«Нину, или Безумную» в Кусковском театре все-таки поставили. История о девушке чувствительной и преданной смотрелась теперь совсем по-другому. Вот Нина-Параша узнает о смерти возлюбленного. Ум ее не вынес этой вести. Ей кажется, будто любимый жив, она ждет его на свидание, как прежде, собирает для него цветы, существующие только в ее больном воображении...

В этом месте плакала даже сестрица Николая Петровича Варвара, недалекая, бесчувственная, умеющая только ненавидеть тех, кто может покушаться на богатство, хоть ей и не принадлежащее, но много раз считанное-пересчитанное.

– Как могла такое выразить? – спрашивала певицу Варвара. – В самое сердце войти...

Ну не рассказывать же ей, что не однажды представляла себе Параша разлуку с любимым и тот мрак, в который погружится, не видя рядом его.

Впервые она решилась поехать с графом в Москву на богослужение, посвященное святой Софье. В соборе язвить не принято. Воспарила душа, успокоилась.

Начались репетиции нового спектакля.

Время покатилося ровно, без срывов.

«Так жить можно», – думал граф.

«И такая жизнь – все же жизнь, а без него – гибель», – думала Параша.

И вдруг...

«Уезжает!» «То ли в монастырь, то ли в театр Медокса». «Одна, без него». «Сама захотела, он оставляет, зовет хоть в Петербург, хоть в Москву, а она...» «Бросила барина!» «Нет, не влюбилась ни в кого другого». «Как понять тогда внезапный разрыв?» Закружились суждения и слухи. Что-то произошло – во дворце, набитом родственниками, приживалками, слугами, ничего не скроешь. Но истину знали лишь трое: сама Паша, лучшая подруга Таня Шлыкова и деревенская бабка-знахарка – не из Кускова, из дальнего голицынского села...

Сначала она увидела сон. Случился он во время болезни, которой врачи не нашли названия иного, кроме как «утомление» и «нервы». Так уж Параша была устроена: на душевном подъеме и в трудностях становилась двужильной, на спаде и в покое силы порой совсем покидали ее. Казалось, она разделалась с болезненными ощущениями после большого приема, но, видно, не совсем. В нужный момент она собралась и выстояла, однако чего это стоило! То, что ее не приняло шереметевское окружение, не было неожиданностью. Если бы приняло – это следовало бы считать чудом. Но именно на чудо она надеялась в самой глубине души. Однако сильнее всего ранили свои... Как объяснить злую, веселую ярость, с которой хотели ее унижить подружки? Раздумья о человеческой природе рождали печаль, безнадежность, переходили в странную вялость, в нежелание ходить, есть, разговаривать, даже петь и репетировать.

Несколько дней она лежала, пользуясь отсутствием Николая Петровича и надеясь восстановить утраченные силы до его возвращения из Петербурга. Но было на сей раз в ее хвори что-то непривычное, какое-то смещение, словно изменилось расстояние между ней и миром, словно все внешнее слегка отдалилось или отделилось от нее пеленой. Смущала и мешанина, неразобранность мыслей. Навязчиво воспомина-

лось, как давным-давно они с матушкой собирали песчаные опята – много их уродилось в тот год перед ее переездом во дворец. Сдвинешь вспученный песок – и откроется хоро-вод зеленоватых крепких грибков, сразу на целый березовый туесок. И от одного воспоминания об этом множестве одинаковых круглоголовых опят становилось ей как-то нехорошо. Будто на балу от множества лиц, бриллиантов, причесок, похожих на фонтаны. Или еще как от вида рыбы в сетях. Бьются, переливаются на солнце тяжелые карпы. И этот запах мокрой рыбы, тины... Как от него дурно!

– Ой, лишенько! Ой, милый барин! – забыла, что нет Николая Петровича рядом, позвала.

Откликнулась верная Таня Шлыкова, вызвавшаяся ухаживать за больной.

– Может, доктора? Лахман на ваше счастье в Кускове.

– Нет, жара у меня нет. Ничего нет... Что же со мной?

И вдруг поняла что... Сон ей ответил – он вдруг вспомнился так отчетливо, словно то был не сон, а явь.

Увидела она во сне себя и любимого. Будто вместе склонились они над свертком, головы сблизив до касания. Ребенок... Их ребеночек. Мальчик. И она, и Николай Петрович, встречаясь руками и обдавая друг друга взволнованным дыханием, торопятся развернуть дорогой узел. Ни кружев нет, ни лент на том свертке, отмечает во сне про себя Параша. Не по-графски все, по-крестьянски, так пеленали деток в материнском доме и так младшего Мишеньку и кроху-Матре-

шу она сама когда-то разворачивала. Свивальник в сторону, туда же тканинку, льняную пеленку, реденькую старенькую тряпочку из отцовской стиранной-перестиранной рубахи.

Ах!

В свертке пусто. Ничего в руках не осталось.

Смотрит на нее вопрошающе граф, а она в ужасе – что сказать?

С тем и проснулась.

«Понесла я...» И волна ужаса: не венчана, безмужняя, одна. Хочется упасть на грудь родному, своему, а нельзя. В обузу и ей, и, главное, графу ее ребеночек, а не в радость.

«Не хочу, как Беденкова! Не хочу без Николая Петровича, без любви, без юности! Не хочу без сцены, без цветов, без победы! Не хочу! В серость деревенского одиночества не хочу!»

Все это пронеслось в голове мгновенно.

– Таня, – сказала Шлыковой, приподнявшись на локте, – тяжелая я. И надо мне от бремени поскорее избавиться. Узнай у кого-нибудь, как это делается. Но... чтобы никто, ни одна душа... Поняла?

Таня – подруга верная, верней не бывает. Сначала уговаривала:

– Пашенька, дождись барина, после решай.

– Нет-нет, – вскидывалась Параша, – уж ему-то знать никак нельзя.

– Как же так? Отец все же. Вдруг захочет ребеночка.

Заходили опаленные скулы, незнакомо сузились темные влажные глаза.

– Нет, Танечка. Мала ты и не знаешь, к счастью своему, что всякое зачатие вне брака как бы непорочное: мать есть и дитя, но никого рядом. Отцы бывают лишь в браке, освященном таинством. Не хочу я пускаться по белу свету побочников, приживальщиков при знатном роде. Уж лучше в крестьянском звании родиться, чем вне закона и правил. Не возражай мне: вешать Николаю Петровичу на шею новые трудности не буду. Решила я.

С этим дала Шлыковой все деньги, какие у нее были, – три рубля.

– Помоги.

Выбрав удобный день, съездила Таня к бабке Аграфене в дальнюю деревню и привезла Пашеньке черного зелья, сваренного из донника, собранного на заходе ущербной луны. Для верности пробралась, подкупив лакея, в кабинет к Лахману и отыскала среди порошков хину.

Ах, скорее, скорее бы... Она запрещала себе думать о чем-либо ином, кроме одного – как бы вернуться в прежнее состояние. Где-то, каким-то краем своей души она ощущала: стоит дать мысли волю, и она подведет к пропасти... Но при нынешнем ее положении мысли не рвались в работу, предоставив первое право заявлять о себе даже не чувствам, а те-

лу, именно телу, ставшему коконом новой жизни.

Если не ощущать беременность как предназначение, а Параша ее так не ощущала, то ничего приятного в беременности нет.

На репетиции она вдруг поняла, что судьба безумной Нины совсем ее не волнует, а музыка не проникает в сердце и не делает его подвижным, как это случалось раньше. Любовь кажется такой малостью – что это героиня сходит с ума? Даже Вороблевский заметил странное равнодушие Параша к роли, прежде ей не свойственное. «Почувствуй, здесь она узнает, что любимого больше нет...» Если бы она могла почувствовать! Природа защищала будущее дитя от потрясений, а для Параша, привыкшей сжигать себя на сцене, каждая партия бывала до этого потрясением – все события, радости и страдания она пропускала через свою душу, тем самым завладевая душами других. Старательность, умение, музыкальность – все это осталось, но главное ушло, она это знала лучше, чем Вороблевский, и радовалась, что на репетициях нет графа.

Видеть мир как сквозь воду, слышать как сквозь вату, и против воли воображать десятки одинаковых синеватых сахарных голов – словно для того, чтобы почувствовать тошноту и головокружение... Идти на сцену, когда тянет только в постель, в покой, в сон, к живому и теплomu – теленку, котенку, щенку. Что уж тут хорошего?

Не в мраморной ванне, а в деревянной баньке (для этого случая отпросилась к родителям в село), натопленной по-черному так, что обжигало губы и глаза, хлынула по ногам кровушка. Чистая, алая...

Нет ее вроде бы, жизни убитой. Ни сгусточка, ни сплетений, клубка, прожилочек – одна кровь. А ощутила Параша этот миг, ощутила... Размытая береза за прокопченным пузырем в окошечке приблизилась и стала четкой, воображаемые сахарные головы больше не вызывали рвоты.

Все, выходит, встало на прежние места? Все, да не все.

Мысли уже не размывались, не уплывали в туман. Быстрыми, злыми, как пчелы, сделались ее мысли, первая же ужалила ее самое – против Творца посмела пойти! Каждый ребенок – тварь Божья, человек, посылаемый в мир по Божьему замыслу, с Божьей целью И вытравить, убить его – значит воспротивиться светлой гармонии. Страшно!

А страшнее мыслей другое... Совесть. Не знает себя человек, и сколько ему надо прожить, чтобы научиться предвидеть, во что обойдется ему тот или иной поступок. Вот и Пашенька не понимала, что в сто, в тысячу раз более прочих одарена совестью. Снова и снова возвращала ее жалость к тому живому, что растеклось по ногам алой кровью, превратилось в ничто, смылось водой. Муками совести можно назвать чрезмерную развитость воображения, которая настоящего актера или художника сначала лепит, а после и губит. Как только Параша оставалась одна, не на людях, представ-

лялась ей детская душа, что в ангельском виде билась недавно вокруг нее, билась и просилась в нее, как в дом, чтобы через нее явиться миру во всей радости духа и плоти. Где теперь душа ребенка, которая выбрала ее из всех женщин на земле, поверила ей, ее доброте... И... Не приняла. Прогнала. Убила!

И было еще одно мучение, почти телесно осязаемое. Там, где недавно ее наполняло нечто, забиравшее все ее силы, ее распиравшее, отодвигавшее ее от внешнего мира, теперь образовался разрыв, невидимая рана, тянущая пустота. Пустота эта втягивала в себя все ее бытие, все обесмысливала. Любовь – иллюзия, каждый в мире одинок перед смертью и перед своею бедой. Да и какая там любовь, если она не имеет права принимать мужское поклонение? Женщина-мать, женщина – носительница новой жизни и Божьего замысла достойна его, а ей – за что? За греховные утехи? Театр – пустая забава сытых, не знающих труда людей. Книги – ложь. И вся ее жизнь – невозможная гадость.

Вскоре она поняла, что, убив ребенка, она убила себя – ту, которая должна была к этому времени явиться миру, себя преображенную, себя непознанную, себя – замысленную Господом. Она сошла со своего пути. Нет, сошла еще раньше, когда невенчанной отдалась мужчине. Один грех влечет за собой другой, путь греха бесконечен и ведет в ад.

Вот как Господь напоминает нам о заповедях: не только через людей – им можно не поверить, не только через обсто-

ательства – они могут быть делом случая, а самой природой, внутренним ходом событий. Ох, как грешна она, как плоха, как виновата...

Когда поднялся жар, она обрадовалась: уж лучше конец. Приехал граф, и она сказала ему в лицо:

– Я не хочу вас видеть.

Тот не мог ничего понять. Разлюбила? Кто-то другой проник в ее сердце? Только морщилась:

– Вы не о том...

...И все же неизбежный разговор состоялся. Параша не сказала о вытравленном младенце. Все объяснила так:

– Не потому, что разлюбила или изменилась к вам, а просто... Кончились силы, душа прошла. С театром тоже простилась. Из одного источника черпала для вас и для сцены. Нет его больше, этого родника. Нет радости – черно внутри.

Граф умолял ее не принимать решения, переждать, отдохнуть, одуматься. Но она просила об одном – отпустить ее в монастырь. И по тому, насколько голос ее был равно-бесцветным, по тому, что все его мольбы не имели никакого отклика, Николай Петрович понял: не прихоть.

– Что я могу сделать для тебя напоследок? Любое желание...

Желание ее было странным и для него непонятным:

– Велите наш дом, нашу «Мыльню» сжечь.

– Никого никогда не приведу в наше гнездо, но сам желал бы иногда вспоминать наши лучшие дни... Я люблю наш дом.

– И все-таки сожгите. Пусть тополя посадят на этом месте. Будут шуметь под луной, сверкать серебристой листвой.

В этот миг она была где-то далеко, так далеко и высоко, не с ним, что Николай Петрович окликнул:

– Пашенька, Пашенька... Не жар ли у тебя, милая?

– Не брежу я. Если и впрямь меня любите, сожгите.

Она навсегда уезжала из Кускова в холодный осенний день. Стынул лес. Закатывалось за горизонт огромное алое солнце. Обоз в пять упряжек растянулся от крыльца почти до большака, и на крыльце небольшая группка людей смотрела карете вслед.

Параша куталась в мех и не могла согреться. Таня Шлыкова развела огонь в каретной печурке, но от малого пламени ее взгляд перекинулся на другое, огромное.

– Ой, Паша, что-то в Кускове горит. И, видать, в усадьбе.

– «Мыльня», – тусклым, неувидленным голосом сказала Параша. Приподнялась на локте, посмотрела на черный хвост дыма в алом небе и бессильно упала в мех.

– Значит, любит.

Позже Таня отнесет и эти слова к бреду, ибо уже через час Параша потеряет сознание. В бурном бессвязном потоке просьб чаще других будет повторяться эта: «Спаси меня, милый! Сожги «Мыльню», обитель греха нашего...»

Еще не доехав до Москвы, Шлыкова поняла, как тяжело

больна подруга. Откидывая меховую полость, то и дело заглядывала Параше в лицо:

– Прасковья Ивановна! Пашенька!

Пробовала трясти за плечи. То ли узнает ее, то ли нет. И говорит опять несусветное об огненном да о черном. Приложила Таня руку ко лбу Параше и отдернула – жжет! Крикнула кучеру:

– Гони, Григорий! Да не в монастырь. В барский дом, на Воздвиженку. Помирает она... Горит...

Граф не провожал Парашеньку – она так просила.

Он стоял в танцевальном зале у большого окна и, забыв о времени, смотрел туда, где горела «Мыльня». Самого пламени ему видно не было, но черный дым рвался вихрями к небу, в стеклах оранжереи отражалось малиновое солнце; алое блистание прорезалось черными тенями, и что-то страшное, адское было в этом зрелище. Страшное и прекрасное.

И чем дольше смотрел Николай Петрович, тем больше нарастала тревога. В какой-то момент она обрела силу удара: с ней что-то случилось. Что-то опасное, что-то плохое.

– Никита! – метнулся в лакейскую. – Собирайся, поедем вдогонку.

И тут же отменил:

– Нет, быстрее. Коня!

...Он мчался во весь опор, из-за спустившейся темноты

не видя дороги, да и не ведая, куда и почему несет его неведомая сила. Конь дважды падал, скользнув копытом по бесснежной наледи. Ноги славного скакуна были изранены о смерзшиеся комья грязи в колее. Ветер бил графа по лицу, по глазам, от этого слезы застили путь, но он пробирался в Москву, на Воздвиженку. Мысли о монастыре почему-то не возникло, хотя Параша ему называла Алексеевский женский, что рядом с Остоженкой и Пречистенкой.

...Он догнал милую у самого порога. Швейцар и кучер вносили ее, как она была, в медвежьей полости через парадный вход дворца. Метались слуги, по окнам мелькали быстрые тени, кто-то кричали «Доктора! Доктора!» Таня Шлыкова, вся в слезах, тихо сказала графу.

– Помирает...

– Паша! Любимая!

Если сейчас не увидит ее лица, если не скажет, что не может жить без нее, она уйдет. Мир без нее... Нет ничего ужаснее. Почему он ее отпустил? Расстаться, но знать, что есть она на земле – одно, а если ее не будет... Какая пустыня одиночества!

– Прости! Не оставляй меня! Нет ничего, кроме тебя!

Она не слышала, а он говорил, не стесняясь слуг и лекаря, и в какой-то миг ему показалось, будто она все же слышит его.

Сколько времени прошло до того момента, когда Пара-

ша впервые пришла в сознание, он не помнил. Дни и ночи он был рядом с ней, приказав поставить рядом с постелью еще одну лежанку. Поил больную клюквенным морсом, менял повязку на лбу и лед в пузыре, а остальное время молился, чтобы выздоровела. То и дело посылал управляющего то за одним, то за другим лекарем. Денег при этом не считал, и сам Роджерсон, пользующий императрицу, трижды осматривал Парашу.

Не чахотка, пришли к выводу целители. Но на том и остановились, ибо не могли сказать о болезни ничего, кроме того, что, вероятно, она нервного свойства.

Надежда появилась, когда однажды Параша улыбнулась графу и спросила:

– Где мы?

Он стал объяснять, лицо ее вдруг исказилось ужасом, и тут же начался жар.

...Прошел месяц, другой. Болезнь приняла затяжной характер. Просветления сменялись припадками, каждый из которых был страшен.

Только что смотрела на него с любовью, только что уверяла, будто ей лучше, что совсем выздоравливает – и вдруг расширились от ужаса глаза, и крутые темные завитки прилипали ко лбу от холодного пота. Кидалась к Николаю Петровичу:

– Граф! Граф! Пламень адов, видите?

Как он ни поддерживал ее, опускалась на пол.

– Спаси! – это ему. И тут же, бедняжка, кому-то невидимому:

– Не могу уйти от него. Люблю барина грешной любовью. И снова Николаю Петровичу:

– Видишь, видишь черных, идущих по мою душу? Спаси.

Сама прижимается, обнимает его ноги, в каждом движении – и ужас, и желание защититься, и непонятное сладострастие. Не видел он женщины красивей. Продолжала бредить:

– Грешной, сладкой любовью люблю... Ах, спаси меня, милый! На Страшном Суде отвечу.

Мучился Николай Петрович в ту пору не меньше, чем Параша. Терзался, считая, что вверг ее в ад. Начинал догадываться и о ребенке вытравленном, ибо не раз в бреду поминала она младенца невинного и убиенного.

Вместе, вдвоем проходили они нелегкий путь раскаяния. В болезни, раскрыв те глубины души своей, куда в здоровом состоянии хода любимому не было, стала она ему и понятнее, и ближе. И любовался ею, и восхищался граф, и желал ее, как никогда раньше не желал ни одной женщины.

Выздоровление пришло внезапно, когда все уже отчаялись. Это случилось около полудня на широкую масленицу. Граф сидел в кабинете, что рядом со спальней, и через открытую дверь слышал, как больная поднялась. На сей раз ее действия были осознанными и целеустремленными. Мягкие

туфли, шлафрок, несколько секунд у зеркала, и вот она уже рядом с ним в дверном проеме.

– Пашенька! – вскочил ей навстречу, уронив из рук книгу.

– Милый, я буду жить.

– Да, да, Пашенька.

– Буду петь. Мы создадим замечательный театр.

– Ты знаешь, что это и моя мечта.

– И еще... У нас будет сын. Но это потом.

Графу показалось, что она снова впадает в бред, и Параша прочла это на его лице.

– Нет-нет, я в полном сознании. Просто в моих снах... в моих муках... Мне открылось... Мы назовем его Димитрием.

– Да, конечно.

– Еще я узнала, что вовсе не должна понуждать вас к разрыву со мной и подталкивать к женитьбе на другой женщине. С чего я взяла в голову, будто в этом мой долг? Монашество не для меня, моя дорога – мирская жизнь.

Она встала и обняла его, прижалась всем своим гибким телом, словно желая слиться с ним в одно существо. Он подхватил ее и услышал, как мягко стукнулись об пол ее домашние туфли.

– За то время, что я отсутствовала здесь, я прожила целую жизнь... Милый! Поцелуйте меня! Еще! О!..

С каждым словом, с каждым придыханием все ближе они к широкой постели, которая из ложа смерти превратилась

в ложе любви. Как незнакомо сильно запустила она тонкие пальцы в мягкие его локоны, до боли сжимая их, накручивая на узкую ладонь.

Ласки ее были прежними и даже горячее прежних. Граф не мог не отметить, что они стали увереннее. Будто прошли все сомнения, все стало на свои места и все идет наконец так, как должно было идти. Попросила:

– К окну, пожалуйста.

Николай Петрович отдернул тяжелую темную штору, и яркий зимний день ударил по отвыкшим от света глазам. Опираясь на его руку, она подошла ближе. Отшатнулась. Зажмурилась на миг и снова стала жадно смотреть. Не могла насмотреться: сияющие кремлевские купола, сверкание снега, сани, несущиеся, кажется, прямо на них, и поверх всего этот чудный, радостный и глубокий малиновый звон. Тонко позванивала капель, ослепляли золотом кресты на фоне синего высокого неба. Паша спросила:

– Где мы?

– В Москве, душа моя.

– Да, но дом...

– Права ты, не мой дворец. Мой рядом. А это – твой.

– Мой? – взор побежал по высокому потолку и лепнине, по люстре и расписному плафону. Подняла удивленно брови, сморщила высокий и чистый лоб: – Мой?!

– Загадал я: выздоровеешь, твой будет. Купил у Разумовского, чтобы перенести тебя из своей спальни, где лежала ты

в беспамятстве. Слышал я, что от болезни можно сбежать, переменяв место.

Параша смотрела на графа, не скрывая того, что любит его.

– А... Разумовские? Как они отнесутся к этому? Они и раньше давали понять, что не терпят меня. Ну а если уж мне дворец... Сочтут за бесчестье.

– Ах, Парашенька! Какое мне дело, что думают Разумовские? Зато мне без тебя не жить – это теперь знаю точно. Многое за это время стало ясным...

Обняла его снова, да так нежно, так страстно.

– Ах, милый! («Раньше, – отметил он, – называла его по имени-отчеству либо барином, слава Богу, исчезло наконец расстояние, их разделявшее».) Зачем мне дворец, скажите? Комнатка и чтобы ты («долгожданное «ты»!») рядом...

Оживилась, похорошела.

– А подружек сюда можно поселить кусковских? Таню Шлыкову? – Задумалась. – Анну?

– В этом дворце ты хозяйка. А вот тебе более дорогой подарок.

– Ой, кольцо... Обручальное.

– Обручимся на оставшуюся жизнь. Простое оно, без яхонтов, как положено для брака. Меж собой мы отныне супруги.

Параша примерила кольцо – впору. Сняла, протянула графу:

– Я согласна. Только... Прикажете граверу написать изнутри: «Бог, меня наказав, жить оставил».

«Бог, меня наказав, жить оставил...» Не сразу поймешь, в чем тайный смысл, изречение можно трактовать по-разному. Господь, наказывая, все же смилостивился и дал выздоровление – можно прочесть и так А если напротив: послал в наказание всю оставшуюся жизнь, вернув оттуда, где ей было легче? На вопрос Параша ответила не сразу:

– От меня зависит... От нас... Что будет нам по силам, то и будет.

И в свою очередь спросила:

– Что там, на месте нашей «Мыльни»?

– Тополя молодые посадят, как ты велела, вот только станет теплее...

– Да, когда я уезжала, зима начиналась, а теперь скоро весна. Пусть шумят тополя, при луне серебрятся. А мы будем работать. Делать театр настоящий. Торопиться мне надо, не надолго отпущена.

– Что ты, что ты, душа моя!

Засмеялась:

– Не бойтесь, ведь еще не сейчас, еще время дано быть нам вместе. А пока... Пока подарите мне еще и вольную.

– Разве ты не свободна делать все, что хочешь? Разве не убедились в том, что твое желание для меня закон? Я думал, тебе не нужен документ, подтверждающий это. Тогда, давно...

– Помню, помню, когда князь Таврический...

– Да, тогда ты отказалась от воли, чтобы остаться со мной.

Может быть, ты хочешь получить свободу, чтобы покинуть меня?

Бросилась к нему на шею:

– О нет! Я не могу жить без тебя. Разве тебе это не было ясно всегда? Не ясно сейчас?

– Тогда зачем эта бумага?

Граф подошел к секретеру и пером, которым доктора писали свои бесчисленные и бесполезные рецепты, составил документ. Если это «лекарство» поможет хоть немного, совсем чуть-чуть, он будет рад.

Параша стояла рядом, прижавшись к его плечу, легкая, как пушинка.

– Милый, вольность – это не бумага. Это то, что внутри нас. И ее отсутствие – тоже внутри. Мы не говорили об этом, но теперь я могу сказать. Когда двое любят и один не свободен... Тогда вместо священного доброго чувства начинается борьба двух самолюбий. Я не хотела, но мое раненое сердце не дает мне любить вас так, как я хотела бы. Жалкая, убогая боль поглощает все: дать трудно, еще труднее принять. Что-бы впустить в душу, надо располагать душой, иметь в ней открытое пространство, а не нагромождение из страхов, тревог, обид, недоверия и подозрений. В последнее время, униженная обстоятельствами, я порою... ненавидела вас. Я не хочу так. Став свободной, я буду по-другому ласкать вас, це-

ловать вас. Я по-другому умру.

– Нет, Пашенька.

– Не сейчас, я стану другой еще здесь. Во внешних делах каких ждать мне перемен? Я смогу уже не петь для императрицы, если будет так страшно, как тогда. Не надо мне будет кривляться перед княгиней Долгорукой и делать вид, что я бездушная кукла.

– Прости меня, – граф отодвинул недописанную вольную в сторону и опустил перед Парашей на колени.

В Параше вдруг проснулась забытая привычка из крестьянского детства – самое дорогое прятать поближе к сердцу. Сложила лист аккуратно, бережно – и за лиф.

Граф засмеялся:

– Без печати не поверят. Вольную дам тебе в любое время, душенька.

– И еще... – она опустилась рядом с ним на ковер, чтобы видеть любимое лицо. – Я хочу, чтобы весь грех неправедной нашей любви... Не возражай, сама знаю – праведной! праведной! – лег на меня, спросился с меня. Пока я принадлежу вам, как вещь, я как бы вынуждена, как бы обязана любить, значит, воплощается ваша воля. А так... Так я отвечу за все. Я буду жить с вами, с женщиной, как делают это те женщины, что в городах... Ну, по собственному призванию. На них и грех. Мне, теперь я знаю, этот грех простится. А вам – ни к чему.

«Бедная, бедная, – думал граф, целуя ей руки, – сколько

же надо передумать, чтобы придумать такое. Как надо страдать, чтобы изжить тяжкий грех прелюбодеяния. Я должен, должен что-то сделать».

– Пашенька, – сказал он, – ты станешь свободной. Но хочу, чтобы подаренную мной волю сразу сменила ты на другие узы – семейные. Императрица, говорят, дышит на ладан, ведь не вечна же она. В обществе что-то изменится. Весь мир идет к свободе, во Франции сословные перегородки рушатся. Придет Павел, и мы вздохнем.

И вдруг, как мальчик, пожаловался на обиду:

– Коли у царицы или царя фаворит или метресса – ничего, все довольны. Если же вдруг серьезно, по-христиански – все ополчаются разом...

Целуя ее плечи, ее родные тонкие руки, он не видел, как печально качала Пашенька головой.

Параша переменялась после болезни. В новом своем жилище – в собственном дворце – уже не устраивала «светелку», а обживала его по-господски, не гнушаясь роскоши. В выборе картин, скульптур, безделушек вдруг проявила немалый художественный вкус, а в переделках – склонность к ярким решениям.

Она по-прежнему не стремилась появляться в свете и быть на виду, по-прежнему терпеливо ждала графа, отбывавшего на балы и приемы. Ее не пугала «соперница» – стареющая Голицына с бородавчатым лицом. Прочие «невесты» тоже совсем не трогали, и она не прочь была провести вечер в одиночестве за лютней, вышивкой или за книгой. Впрочем, у нее появился свой круг, и часто, когда в большом Шереметевском дворце собирался высший свет, к ней приходили братья Аргуновы с добродушным толстым архитектором Гонзаги (итальянец не больно разбирался в российских словесных премудростях, а живая и умная Паша, так славно болтавшая на его родном языке, ему очень нравилась).

Теперь она охотно позировала Николаю Аргунову, признанному и модному в Москве мастеру, члену Российской Академии художеств. Глядя на друга детства, она понимала, как изменилась за эти годы сама. Ничего не осталось в нем от прежнего крестьянского парнишки – салонный ари-

стократ: и рубашка под блузой тонкая, из батиста, и шелковый дорогой галстух обвивает высокую гордую шею. Умное, нервное лицо, живые карие глаза, сильные, но холеные руки артиста, художника. Аристократ, да и только. Портреты он делал замечательные, но, что тоже важно, сеансы давали им возможность поговорить о «своих» – о людях искусства, людях одаренных, придавленных гнетом неравенства. Аргунов был женат на даме из не слишком знатного, но богатого рода. Мужчине его «низкое происхождение» прощалось легче. И все-таки он, как и Параша, жил в чужом стаде и всегда – под страхом унижения, вынужденный ему постоянно противостоять. Они были ровней, и это толкало их к взаимному доверию и откровенности.

Встречаясь глазами при встрече, кланяясь друг другу, живописец Николай Аргунов и певица Прасковья Ковалева всякий раз осознавали: они связаны своим крепостным прошлым. Будь Параша кокеткой, она сумела бы обнаружить во взглядах этого глубоко симпатичного ей человека и мужской жадный неудовлетворенный интерес. Но для нее он был другом, умным и образованным другом, с которым хорошо, хотя и не очень легко.

В своем дворце Параша устраивала музыкальные вечера. Здесь исполнялись новые произведения Дегтярева и Боршнянского. Их большой свет не слишком жаловал, предпочитая итальянских и французских сочинителей, а ведь Дегтярев и Боршнянский были очень талантливы. Всегда откли-

кались на приглашения артисты из театра Медокса, расположенного неподалеку, и при небольшом усилии можно было быстро составить домашний концерт и петь, петь, петь – что еще ей было нужно?

Впрочем, ей был нужен он, любимый. И чем больше времени они проводили вместе, тем больше нуждались друг в друге.

В будний день с утра при хорошей погоде граф и Параша в легкой карете отправлялись в ближние вотчины с ревизией. Все ближайшие к Москве имения они быстро привели в порядок. Где-то пришлось приструнить управляющего, ретиво набивавшего собственные карманы, где-то вместо барщины ввели оброк, где-то заменили зерновые посевы овощами, и легче стало получать доход, не вгоняя крепостных в нищету.

Лишь в одну усадьбу граф всегда ездил один или с Вороблевским – в Кусково.

– Туда – никогда, – ничего не объясняя и помрачнев лицом, сказала Параша однажды.

Зато все Кусково, кажется, она перетащила в Москву. Вместе с подружками и актрисами театра приехала Матреша. Она замечательно пела низким голосом и в дуэтах отлично вторила Параше. В кордебалете тоже была незаменима – пластичная и ритмичная. После рядом поселился батюшка, брат Николай был принят в хор, под Парашиним приглядом рос младший брат Мишутка. Переживала Паша, что из-за болезни не хочет жить в городе любимая матушка, но сама к

ней не навевывалась ни разу. «Туда – никогда». Как сказала, так и было.

Разве что после смерти душа ее все же повлеклась к тем местам, где начинала страдать и крепнуть на земле женщина и актриса. Тогда с небесной высоты дано ей было увидеть подросшие тополя. Ветер, летевший от Мурома или от Владимира, пробежал по верхушкам, и листва, потемнев, становилась похожей на зарубцевавшуюся рану земли. Затихал порыв – и серебрились, сияли облитые лунным светом недолговечные деревца.

Годы брали свое. Переступив сорокалетний рубеж, Николай Петрович не погрузнел, седина не пробилась в его русые мягкие кудри, но круг его интересов заметно сузился.

Роль засидевшегося жениха так опротивела графу, что он предпочитал отговариваться от приглашений на рауты и балы, ссылаясь на недомогания. Старые холостяцкие связи рвались: друзья остепенились, завели жен и детей. Позвать к себе он мог лишь тех, кто понимал его привязанность к Параше, а таких было немного. Все чаще любящие проводили вечера вдвоем.

Что ж, соседство? В нем есть свои прелести. Паша скучать не умела и одна, а с графом – тем более. Но вскоре она поняла, что не все в их жизни так просто, как казалось. Все чаще она обнаруживала в Николае Петровиче сходство со старым графом. Как и Петр Борисович, Николай Петрович

привязывался к вещам, занашивал их до дыр. Все чаще он не переодевался с утра, бродя по дворцу в пыльном шлафроке и стоптанных шлепанцах. Вместо выдуманных для отговорок болезней у него появилась настоящая, отнюдь не романтическая болезнь малоподвижных людей. В деревне ее зовут почечуем, Лахман на европейский лад величал геморроем.

В библиотеке в одной из книг Параша случайно нашла недописанное письмо графа другу юности Щербатову. Взгляд выхватил невольно: «Скучно жить, с годами – все скучнее...»

«А как же любовь?» – думала Парашенька. Разве кто-нибудь из героев французских романов, которых она прочла великое множество, скучал рядом с любимой женщиной? Но в тех же романах, не прямо, правда, а между строк, говорилось: женщина способна жить одной любовью, мужчина – нет. С ней же рядом был мужчина, который провел бурную молодость. Дальние путешествия, театр, любовь, карты, дуэли, азартные забавы, балы, надежда на славу. Ни одна женщина, в том числе и она, не могла заполнить образовавшуюся пустоту – из-за нее образовавшуюся! Ее долг состоял в том, чтобы прокладывать путь к полноте жизни.

Безотказно наполняло ее душу обращение к Богу. Граф тоже был религиозен, но скорее ритуально, и лишь в тяжкие дни молитва действительно поддерживала его. А в прочие... Жизнь его шла своим путем и не соприкасалась с Небом. В

отличие от Параша он не любил каждый миг сверять свои мысли и поступки с вечностью, а в литературе более всего ценил не серьезность и романтизм, а изящество, остроумие, блеск. Дидро, Даламбер, де Лакло лежали в его спальне, а не Фома Аквинский и не Димитрий Ростовский. Удовольствие от чтения было сродни удовольствию от прекрасной пищи, которую пробуют на вкус, цвет и запах.

Одно время Параше показалось, что его могут захватить добрые дела. В Маркове в избе грязной и черной они оказались потому, что услышали с улицы страшный крик ребенка. Мать металась в ужасе над выгибающимся дугой младенцем, приговаривая: «Родимчик, родимчик! Умирает!» Параша с восхищением смотрела, как ловко граф ощупал мальчика и, надавив слегка около уха, поставил диагноз: воспаление. Тут же кучеру было велено привезти из аптеки камфарного масла, Николай Петрович ловко сделал компресс («Как учили в Лейдене!»), и младенец утих и заснул прямо в его больших и умных руках. К малышу приехали еще через пару дней и убедились – здоров. Мать с отцом получили от графа немного денег, а село – свою больничку.

Впрочем, больницы и школы для детей, обучавшие музыке и грамоте, они открывали в ту пору часто. Под нажимом своей спутницы Николай Петрович отдавал приказы в свою контору: «Завести школы в Останкине и Кускове», «Во всех вотчинах открыть школы и богадельни». По прошествии времени ехали проверять, выполняет ли графский

указ тот или иной управляющий. Там, где барское распоряжение было примерно выполнено, крестьяне благодарили, бухались Шереметеву в ноги, целовали ему руки, и на глазах Николая Петровича выступали счастливые слезы. Но... Тем и кончалось.

Всякий раз, предлагая снова навестить недавно отстроенную лечебницу, помочь больным, Параша слышала что-нибудь вроде:

– Меня бы кто подлечил.

И вместо того чтобы двигаться, заваливался Николай Петрович в глубокое кресло, дремал и... скучал. Это ложилось виной на нее. Выход из внутреннего тупика в их отношениях искала она. Она была в два раза моложе, она любила. И так уж сложилось: в этой паре она ведет, а он – ведомый, хотя внешне это выглядело совсем иначе.

Ох уж эти мужчины! Если бы в ее власти было осуществить тщеславные и суетные мечты графа о славе и власти! Как вспыхивают его глаза, когда речь идет о разных государственных делах, не зависящих от него. С заседаний Сената он возвращался оживленным, готов был часами обсуждать с друзьями новые указы императрицы. Но Паша ясно видела, что карьеры ему не сделать – слишком мягок, слишком порядочен и слишком... музыкант. Разбросан, поддается сердцу, нерасчетлив. И в то же время душа графа жаждала деяний масштабных, заметных в свете. Она напряженно искала

для него (а значит, и для себя) достойную цель.

Ей было уже за двадцать. Следовало бы сказать – еще только за двадцать, но прошедшие годы были столь наполнены счастьем, страданием, несбывшимися и сбывшимися желаниями и поисками, что за два десятка лет она словно прожила несколько жизней. Природный ум при благородстве природы обратился в ту мудрость, которая вовсе не сводится к расчетливой, хваткой хитрости, хотя использует и ее.

Она знает, что делать. Но как это свое знание сделать его знанием? И чтобы желание к действию родилось в нем, а не исходило от нее? Навязанное отторгается.

Тосковал и томился скукой граф. Но именно он спросил однажды Парашу, почему скучна она.

– Милый, доктор разрешил мне петь. Так хочется...

– За чем же дело стало? Собирай друзей.

– «Самнитские браки» не споешь на маленькой сцене. (О Кускове речи не шло, но мечты о большом современном театре кусковским детищем для графа не исчерпались.) Моя Элиана ждет меня.

А заодно рассказала, как тоскуют без репетиций актеры, как забывают они свое ремесло, ленятся, спиваются.

– Да, – согласился Николай Петрович, – зал на Никольской так мал, что и впечатление теряется, и голос не звучит. Не стоит и затевать, позорить Шереметевых. Надо строить.

Надо строить! Это ли не цель? Это ли не дело? Тем более

что планы составлялись грандиозные. Не просто театр, как, скажем, у Голицыных (хотя тот и большой, раз в пять больше Шереметевского на Никольской), а дворец искусств – с художественной галереей, с кабинетами нумизматики и старинного оружия, с музеем «натуральной истории».

– Дар отечеству от Шереметевых, да, Пашенька?

– И какой дар! Отечество вас не забудет.

Общая мечта сближала их не меньше, чем общая жизнь.

Всякая стройка, как известно, начинается с проекта. Граф собрал целую группу иностранных и русских архитекторов для его создания. Задача ставилась не простая – встроить в какой-либо из московских шереметевских дворцов новую современную сцену, большой зрительный зал. Увы, городские усадьбы были тесны, а сносить почти новые дома было безумием.

И тогда было решено – Останкино. Останкино, данное в приданое матери Николая Петровича князьями Черкасскими. Останкино, которое, как и Кусково, было близко к столице. Граф решил: Кусковская усадьба останется для истории памятником батюшкиного тщания. Прекрасный день, но вчерашний. Он же начнет свое, новое дело. Шереметев-младший жаждал удивления и восхищения, жаждал проявить свое знание и вкус. И, конечно, размах.

– Потомки будут благодарить вас, – поддерживала его Параша.

Графа больше интересовало восторженное одобрение современников. Понимая это, Параша добавляла:

– И нынешняя знать почтет за пример.

Настоящее, крупное дело отодвинуло на задний план все проблемы, с которыми раньше не могла справиться Параша. Она и граф просыпались с мыслями о том, что надо успеть за день, и засыпали, подводя итоги сделанного.

Как только Ивар прислал планы зала и сцены в Гранд-опера, граф сразу собрал совет: рядом с известными во всей Европе Кваренги, Кампарези, Бренной, Баженовым сидели свои, крепостные архитекторы Аргуновы, Миронов, Дикушин, художники, замечательные умельцы-лепщики, резчики, кузнецы, механики. Все, кому предстояло проектировать новый театр и этот проект воплощать в жизнь.

При том, что Останкино было селом немалым, место, которое занимал старый дворец, было ограничено с фасада прудом, сзади парком, с боков – флигелями. Не развернешься, надо тесниться, не отказываясь от задуманного.

Удивительную идею предложил свой, шереметевский крепостной Федор Пряхин: совместить театр и зал для балов. Для этого надо было сделать разборный пол, который будет скрывать зрительские скамьи. Архитекторы набросали эскиз: в обычном состоянии танцевальный зал предлагался ассиметричным, вытянутый овал переходил в прямоугольник, обрамленный колоннами. При необходимости прямоуголь-

ник легко превращался в большую сцену – около двадцати пяти метров в ширину, около семнадцати в глубину. На колоннах специальными приспособлениями, предложенными все тем же Федором, будут крепиться задники, кулисы, декорации, занавес. Пол же в овальной части зала, по общему мнению, можно будет разобрать за полчаса, обнаруживая «утопленный» под ним амфитеатр. Возвышающуюся балюстраду решено было превратить в ложи для хозяев и знатных гостей – для этого требовалось совсем немного: закрыть на время спектакля двери в галереи, анфилады гостиных и кабинетов.

Пряхин легко разобрался, как устроены в Париже машины «для грома», «для пролетов по сцене», и взялся их сделать, применяясь к местным условиям.

Словом, образ будущего театра на совете сложился сразу. Высокое купольное здание театра решено было пристроить ко дворцу Черкасских сзади.

После этого все проектировали свои – Миронов и Дикущин, а строительство вел Павел Аргунов. Но в отличие от других строек, эта была постоянно в поле зрения самого графа. Теперь во дворце на Воздвиженке часто собирались люди, причастные к новому детищу Николая Петровича. Компания единомышленников – не светский раут, и Параша хорошо себя чувствовала в ней, среди «своих». Естественная, живая, доброжелательная, она радовалась происходящему и радовала всех, чем могла, по первой просьбе со-

глашаясь петь, танцевать, снова петь. Силы ее прибывали от одной мысли, что театр – их с Николаем Петровичем театр – будет!

Здание было закончено в 1792 году. Самое трудное осталось позади, и теперь все занимались делом приятным – украшали обновленный дворец.

Граф с Николаем Ивановичем Аргуновым закупали работы для художественной галереи и сделали много удачных приобретений. Особенно хороши были гравюры Пиранези и скульптура. Жанровая сценка в мраморе Кановы «Девушка и петух» и Фальконетов «Прометей, терзаемый орлом» сделали бы честь императорскому Эрмитажу. Но самое большое восхищение (а иногда и зависть) в новой коллекции вызывала «Козочка», изваянная за сто лет до новой эры и недавно открытая в Помпеях. О тайне этого города в южной Италии, погибшего в один миг и засыпанного пеплом Везувия, столько говорилось в светских гостиных именно в это время! Мода и вечность сошлись в этой прекрасной скульптуре. Параша могла бесконечно любоваться незатейливой, но грациозной фигуркой домашнего животного: копытца, рожки – все, как у тех козочек, что она видела не раз, и все – чудо, все – гармония, все – искусство.

Люстры делали на своих, российских фарфоровых и стеклянных заводах. Мебельные гарнитуры не заказывали, а подбирали в других шереметевских вотчинах, повинуюсь живому вкусу, настроению момента и фантазии. Здесь Параша

была незаменима. И Кваренги, и Аргунов полностью доверяли ее чутью и тому чувству ритма, которое было ее сутью, ее природой.

Удивительным и неповторимым, ни на что не похожим получалось Останкино. Несовместимое в нем совместилось и слилось, как в союзе графа и крепостной, зрелости и юности. Дворец был и роскошным и теплым, и торжественным и домашним, и таинственным и открытым в одно и то же время. И еще: был он очень живым, одухотворенным, ибо сюда несли свое вдохновение многие люди, объединенные одной мечтой, одной целью. Чего стоят те маленькие чудеса, которыми делились с потомками и современниками создатели Останкина! Что говорить о громах и молниях, которые Пряхин сумел извлечь из металла механическими молотками – чуть-чуть искуснее, чем в Гранд-опера той поры, и все. А вот паркет в пунцовой гостиной он сделал такой, какого до него не бывало в мире. Каждая дубовая пластина по бокам охватывалась рейками из сосны и красного дерева, а посередине дубового квадрата выкладывался цветок из светлой березы. Березовые волокна в наборных лепестках направлены одни вдоль, а другие поперек, и от игры света зависит, кажутся они светлее или темнее. Идущий по паркету видит перед собой «вспыхивающие» удивительные цветы.

Немало таких удивлений ждало каждого останкинского гостя. Самое большое из них – Парашино пение. Она уже начала репетиции своих любимых «Самнитских браков». Го-

лос после болезни не только не ослабел, но, напротив, окреп, а пережитое еще расширило гамму выражаемых чувств.

Как она пела в ту пору! Как ждала открытия невиданного «Дворца искусств»! Помимо желания успеха для графа ее вела вперед и эта жажда – жажда петь.

Когда все идет хорошо, самое время ждать беды или, в лучшем случае, нежелательных перемен. И они пришли.

...Что-то случилось среди ночи – услышала Паша за окнами крики, лай собак. А дальше и вовсе стук в дверь. Тревожно вскинулась, трудно сразу понять со сна, что к чему.

– Николай Петрович! Милый! Беда!

И граф проснулся не сразу.

– Что ты, душенька? Спи.

Но тут и до него дошло: шум не ко времени. Вскочил, подошел к окну. Вгляделся – дождь со снегом, мелькание фонарей, мельтешня.

– Почему, однако, беда, Паша?

– Добрые вести ждут рассвета, плохие на быстрых крыльях летают.

Параша едва успела скрыться за полог, как в спальню ворвался офицер.

– Ваше сиятельство, поручик Васильчиков прибыл к вам спешно по высочайшему распоряжению.

Приблизился к графу вплотную, но Параша все же услышала:

– Павел Петрович требуют вас в Петербург.

– Императрица?..

– Я выезжал – была еще жива, но...

– Ах, братец, – не смог сдержать радости граф и обнял посланца. – Чай, еще других надо оповещать, не держу.

А когда вестовой ушел, обратился к Параше:

– А ты, душечка, говоришь, что вести плохие.

Но Параша уже истово молилась перед иконой, и Николай Петрович услышал: «Господи, прими рабу Твою Екатерину...» Граф засмеялся:

– Добавь – «грешную рабу»...

– Все грешны, и мы ей не судьи.

– Всему, однако же, есть предел. Разгулу, лицемерию, лжи, капризам... Предел, за которым трудно сожалеть об ушедшем. А ты говоришь, Пашенька, плохая весть...

За разговором граф уже собирал какие-то бумажки, книги.

– Если бы ты знала, сколько раз мы с наследником мечтали о времени, когда можно будет воплотить в жизнь идеи чистые и справедливые, переделать все, перестроить, навести порядок. Вот и пришло... На пятом десятке моей жизни.

Жалко его, как жалко! Подошла к графу, нежно обняла:

– Годы не помеха, а помощь в добрых делах. Но... Отчего так тревожно, милый?

– Душа чувствует разлуку... Уезжаю.

Вскрикнула, словно подбитая птица, кинулась ему на

шею.

– Как? Сейчас? В ночь? Не останетесь до утра? А как же Останкино? Как театр? Все дела начатые?

Ответа она не ждала, ответ и так знала.

– Распорядись, – сказал, но видела она, что мысли его далеко.

– Как же? Как же так... все? – удивлялась и, не понимая, страдала.

– После... После когда-нибудь. Я нужен. Призван. С меня в юности брали слово. Там, – рукой показал наверх, – я смогу сделать больше. Те замыслы, что мы выращивали с тобой в затворничестве, пересажу на просторное поле. Чтобы не только наши шереметевские крестьяне вздохнули, но и другие. И театр чтобы не только мы вперед двигали, но все государство.

– Если бы... – вздох Параша был печален, но она уже смиренно собирала мелкие вещицы для Николая Петровича: булавки, флаконы с кремами и одеколонами – и все это складывала в дорожный несессер. – Скажите, у Павла Петровича добрая душа?

Не ожидал граф такого вопроса, да и не по вкусу он был ему почему-то.

– Хм... В детстве он был добр и доверчив. Наш общий учитель Панин сеял высокие идеалы. Затем... Русская Семирамида, та, что держит сейчас ответ перед Господом на смертном одре, умудрилась разочаровать его в людях, внести ему в

душу подозрительность. «Утетила» Павла после смерти его первой жены, отдала ему в руки письма покойной Натальи к любовнику. Бросила сына в ад. Тот замкнулся, озлился на весь мир. Но с новым браком ожил, – последнюю фразу Николай Петрович произнес неуверенно. И тут же, словно ему надоело уговаривать самого себя, оборвал дальнейшие разговоры на эту тему – Впрочем, речь мы ведем не о том. Там, наверху, другие измерения, властители живут по другим законам.

– Нет, – возразила Параша, – законы людские везде одни. Нет ничего выше чистой души, выше добра, выше Бога.

Но граф уже не слушал ее.

Уехал. Ей ждать не впервой.

Параша решила продолжать начатые дела, вести их так, как будто граф рядом. Вставала она теперь затемно и к рассвету была в Останкине.

На ходу сбрасывая заснеженную шаль и меховую накидку, передавая все это дворецкому, едва поспевавшему за ней, летела она через анфилады комнат. Шла последняя отделка, и дворец день ото дня становился все краше. Остановилась Параша в гостиной, где Николай Аргунов с подмастерьями расписывал плафон. Не скрыла восхищения:

– Как весело! Как живо!

В пунцовой гостиной попросила убрать напольную вазу.

– Лишнее.

И вот уже спешит Параша в мастерские. На огромных столах – образцы деревянного декора, куски обивочных тканей. Вместе с Мироновым выбрала:

– Это, это и это.

С убранством дворца все у нее получалось легко. С театром было сложнее.

Уехал граф, и убавилось у нее возможностей что-то решать, предлагать и делать. Никогда не рвалась к власти, а теперь ощущала ее отсутствие. Хотелось Параше освоить но-

вую сцену, но на пути стал Вороблевский – «Не пущу»...

– Вот приедет хозяин, тогда и начнем.

Собрала как-то на репетицию музыкантов – не все же томиться бездельем и пьянствовать. Быстро раздала ноты, что Ивар прислал из Парижа. Глюк, «Орфей в аду». Неделю до того читала клавир, чудо что за музыка. Спросила Вороблевского, распишет ли по партиям и будет ли дирижировать. Молчал Василий, будто вопроса не слышал. В неловком этом молчании стала объяснять, как хороша опера.

– Особенно ария Орфея. Можно я спою за него?

Запела. Прервалась на середине.

– Не правда ли, такая мелодия заморозит и Харона, и Аида? А вот Эвридика. Нет, сама она умерла от укуса змеи, а это ее душа просит любимого – иди, не оглядывайся. Вот и Стикс миновали, подземные воды, и свет забрезжил во мраке. Жизнь впереди, не оглядывайся, милый! Не выдержал, сдали силы, одному идти трудно, оглянулся. А-а-а-а! Во второй раз умерла Эвридика, и виновником ее смерти стал любимый, Орфей. О, какая печаль, однако!

Заключительную арию Орфея она спела так, что все музыканты сначала замерли, после уткнулись в ноты – действительно прекрасная мелодия. Как это они сразу не поняли?

Но Вороблевский, оставшись с ней наедине, жестко сказал, что до сих пор все постановки выбирались Николаем Петровичем, значит, и изучать партитуру он станет только после того, как получит особое распоряжение. Поставить це-

лую оперу – шутка ли? Тем более есть сомнения, то ли выбрали – граф немцев и венцев не больно любит, и Глюка среди прочих композиторов не выделял.

– Выделял, – попробовала поспорить Параша.

Напоминать о своих полномочиях, графом не раз прилюдно объявленных, она сочла ниже своего достоинства. Из Петербурга же не поступало ни особых распоряжений, ни даже просто писем или известий. Снова напомнила жизнь ей о том, кто она такая. А Глюк, и древняя легенда напомнили о том, что мужчине трудно идти по тропе любви, не нанося любимой своей смертельных ран, не оглядываясь.

Она тосковала без него. Слухи, которые приходили через друзей – архитекторов и художников, были невероятны и малопонятны. Будто бы Екатерина, в последних пароксизмах свалившаяся с кровати, так и лежала мертвая на полу, и мимо нее ходили к Павлу в дальний кабинетец люди, не оказывая усопшей никакого почтения... Будто бы матушка-царица, умирая, оставила наследником внука Александра вместо нелюбимого сына, а Павел и Безбородко порвали завещание. Будто бы Павел приказал выкопать из могилы тридцать лет назад убитого при дворцовом заговоре своего отца императора Петра III, чтобы похоронить его рядом с матерью...

«Добра не будет, если все так», – думала Параша.

Тусклые фонари не в силах были разогнать раннюю зимнюю тьму. Возле Александро-Невской лавры в Петербурге

стояла и вовсе могильная чернота. Кареты, обитые крепом, лошади в пополах из черного сукна, при каждой лошади – лакей с факелом и в черной епанче с длинным воротником, в шляпе с широченными полями, с крепом на тулье... В черных каретах черные кавалеры на бархатных подушечках держали на коленях регалии императора Петра III.

В храме стоял открытый гроб с полусгнившими останками. Череп с оскалом зубов и пустыми глазницами, на скелете голштинский мундир, ботфорты, белые перчатки. В почетном карауле стояли друзья детства царственного наследника: Куракин, Щербатов, Шереметев Николай Петрович.

Словно в полусне видел граф, как вошел Павел в алтарные царские врата, взял корону и возложил ее на череп. В глазах Павла стояли слезы, и, обращаясь к праху, он сказал, что только после отца, законного правителя, примет корону.

– Больше тридцати лет ты ждал положенных почестей...

Дождался. Сын целует «руку» и – о ужас! – делает знак караулу. Этот миг был одним из самых тяжелых. Устоять бы, сдержать подступающую тошноту, не обращать внимания на запах. К «руке» подходят императрица, сыновья Павла Александр, Константин, их жены. Кому-то из женщин стало дурно. Стон ужаса и возмущения прокатился по храму.

Когда друзья вышли из лавры, то увидели две шеренги солдат, стоящих с каменными лицами, толпы испуганных горожан. Над Петербургом разливался тоскливый звон колоколов, в воздух поднялись стаи ворон, которых спугнул са-

лют.

Первым высказался Щербатов:

– Кажется, мы дали клятву верности... безумцу.

Шереметев и Куракин переглянулись. Куракин ответил:

– Не спеши осуждать. Будем надеяться, Господь пошлет ему просветление.

– Тем более что и деваться нам некуда, – добавил Николай Петрович, – судьба нам дала единственный шанс. Поздний. И потому последний...

Параша обычно легко справлялась с неблагоприятными обстоятельствами, позади была немалая школа терпения. Но недоброжелательность людей всегда оказывалась неожиданной и ударяла больно, сама-то она никогда не держала камня за пазухой, думалось, что доброжелательны и другие. Но, оставшись совсем без защиты, решила она защищать не только себя, но и свое дело.

Оставив замысел тотчас поставить оперу, она продолжала репетиции, собирая на ежедневные сходки хористов. В тот раз капелла разучивала один из церковных распевов Дегтярева.

– Так, Степан? – спрашивала Параша автора то и дело, не очень уверенно чувствуя себя на дирижерском месте.

– Так, так, Прасковья Ивановна... Вот здесь можно и повыше.

И вдруг... Короткую паузу в пении заполнил злой крик Во-

роблевского:

– А ну прочь! Кто впустил?

Вздروгнули певцы, окрик настиг и их, хотя относился к деревенским ребятишкам, обсевшим амфитеатр, словно воробышки.

– Я привела! – сразу рванулась на их защиту Параша. – Пополнение в хор.

– Вот еще новости, поп с гармонией, – не унимался Вороблевский. – Ну три, ну пять, не два же десятка. Их накормить надо, одеть, разместить. Нет-нет, в деревню.

– Оставайтесь! – это Параша детям, вспорхнувшим было с кресел. – Сидите. А вы, – это уже Вороблевскому, – выполняйте распоряжения Николая Петровича, которые мне доверено до вас доводить.

– Отвечать вам, – стушевался Василий. По-старчески сторбившись, пошаркал к выходу.

Неожиданно дерзко, с вызовом даже кинула Пашенька вслед:

– Как-нибудь отвечу.

А оставшись наедине с Дегтяревым, призналась:

– Стыдно ругаться, Степа.

– А ему ребят пугать не стыдно? Аль забыл он – все мы оттуда.

Мороз повернул на зиму, солнце па весну, и вместе с весной, вместе со знакомой уже грудной слабостью появилось

острое желание быть с любимым. А он не писал, даже не передавал привета. От надежды – значит, быстро приедет – переходила к отчаянию: забыл! И чтобы заглушить тревогу, Параша работала, работала, работала. Создавала пасхальное праздничное действо для дворовых, которых решила на свой риск и против воли Вороблевского собрать в Останкине в светлое Христово Воскресение.

Артистами на сей раз были дети, отобранные для театра. С ними и репетировала с утра пораньше. Как обычно, дала знак:

– Ванечка, начинай!

Ванечка вышел на передний план, еще пять девочек и пять мальчиков заняли на сцене места у колонн. Все они держали в руках «предметы Христова распятия» – вервие, бич, терновый венец, гвозди.

Только Ванечка умел таким звонким и взволнованным голосом произносить «Куда идешь ты, Иисус? Что я вижу? Бог биен, язвен и бездыханен. Тело окровавлено, глава уязвлена тернием, произращенным для Него землей». В это самое время девочка, как и положено было в пьесе для детей, написанной Димитрием Ростовским, встала рядом с Ванечкой, протянула руки к «залу» и показала страшные шипы. Ванечка продолжал: «Очи залиты кровью и слезами. Руки пригвождены долгими гвоздями». Появились, конечно же, мальчики, показывающие эти гвозди. «Язвы Его вопиют нам – люби Меня, потому что все за тебя претерпел...» В этот

самый миг вступил «ангельский» хор, без слов певший музыку, написанную Дегтяревым. И музыка была так хороша, и дети пели так трогательно, что на глазах у Параша выступили слезы.

И сквозь них неясно, в расплывшихся волнах утреннего света, увидела она графа, вошедшего в театральный зал из галереи. Забыв обо всем и обо всех, никого и ничего не стесняясь, побежала она к Николаю Петровичу через все огромное пространство между сценой и ложей. И он бежал ей навстречу, и подхватил ее на лету, и прижал ее к себе, к своей не снятой второпях шубе. Теплая мягкость волос перемелась с холодной мягкостью бобрового воротника, и щеки были у него холодные, а руки горячие и губы тоже.

Осмотрев дворец, граф остался доволен проведенными без него работами, то и дело хвалил и свою Парашеньку, и Вороблевского, и Аргуновых, и Миронова, и Пряхина. Скупой на восторги, он на сей раз их не скрывал: свой обновленный веселый и яркий дом ему правился куда больше мрачноватых гатчинских покоев Павла.

Одобрил Николай Петрович и все театральные затеи Параша, хотя тут же перевел их в разряд третьестепенных, потому что приехал он с одной целью – подготовить Останкино к приему самого высокого гостя.

– Во время коронации, на светлую Пасху Павел посетит нас. Мой друг дал слово. Как хорошо-то, Пашенька, нам есть

что показать новому императору, – Николай Петрович не скрывал своей гордости их общим творением. И приближенностью к власти он тоже гордился, был оживлен и полон надежд. Многие из них касались и Параши.

Поняв глубину и сердечность их долгой привязанности друг к другу, Павел, как мечтал граф, сделает их примером преодоления сословных различий. Во-первых, он сам знает, как тяжела не одобряемая обществом любовь, ибо царственный мужчина сам был влюблен не в жену-императрицу, как полагалось бы, а в ее фрейлину Нелидову. Во-вторых, все его реформы направлены в сторону свободы. И, наконец, их с Павлом взаимная верность, происходящая из детства и юности, тоже чего-нибудь стоит.

– Все складывается так хорошо для нас! – и, замечая в ответ недоверчивый или насмешливый взгляд Параши, сердился.

– Как вам угодно думать, так и думайте, – говорила она. И на все соглашалась, кроме одного: выйти навстречу высокому гостю в роли хозяйки. Хозяйкой однажды она уже была – в Кускове, и это ей слишком дорого стоило.

После долгого обсуждения Николай Петрович, Вороблевский и Параша решили показать императору в новом театре «Самнитские браки». Парашина роль в опере была выше всяких похвал, к тому же спектакль демонстрировал все возможности Останкина. На сцене одновременно должно было находиться до трехсот актеров, статистов и хористов.

Недостающих срочно выписали из всех сел. Сотни свечей в люстрах, дороговизна и красота костюмов, шумовые эффекты – знай Шереметевых, знай наших! Николай Петрович приготовился играть в общественной, светской жизни отныне первые роли, и все должно было этому соответствовать. Он пользовался случаем доказать: его артистические усилия – не пустая забава и являются способом служения царю и отечеству.

Уезжая снова в Петербург («Служба не ждет!»), Николай Петрович давал последние распоряжения. Очень серьезные – Аргунову. За оставшиеся пару месяцев должен был тот сделать два портрета: парадный портрет Павла, списанный с голландской миниатюры, и парадный же Параша – с натуры.

Граф грозился повесить их рядом – лики людей, которые более других ему дороги. Параша знала, что такого вызова свету он не бросит, но почему-то сама мысль об этом была ей неприятна. И заглянув себе в душу, она ужаснулась, ибо нашла там желание значить для графа больше, чем монарх, посланный им Господом. Ах трудно, трудно не забывать о своем месте, когда ты любишь и когда любят тебя...

Весна пришла ранняя и мгновенная, как взрыв. Реки вскрылись, снег исчез за день, будто солнце слизнуло его, ручьи пустились в дальний путь, но тут же высохли.

Природа в ту уже двадцать девятую весну жизни что-то сдвинула в Параше, а короткий приезд графа только взбудо-

ражил, но не утолил заявившее о себе во всю мощь женское начало. И никакая работа не могла заглушить бурный ток крови, острое, осознанное желание быть с любимым каждый день и каждую ночь.

Словно почувствовав горячую сумятицу ее снов и непреодолимую томительную силу желания, на пути сна возник Аргунов. То есть он был рядом и раньше – продолжился оборвавшийся было сюжет.

Она приезжала в Останкино каждый день, заходила в мастерскую, чтобы взглянуть, как продвигается портрет Павла. Свой портрет хотела оставить на потом, но Аргунов настаивал: распоряжение от графа было о двух портретах, пора начинать позировать.

На первом же сеансе сказал:

– Вы никогда не были так хороши. И никогда не пели так... волнующе. Я слушал вечер на репетиции.

– Спасибо. Мы договорились без церемоний, и я подам пример первая. Я благодарна тебе.

И вдруг заметила, что это «тебе» прозвучало двусмысленно и беспокойно. Чтобы скрыть странную свою неловкость, кивнула на портрет Павла:

– Ах, неуютно под этим взглядом.

– По чести, мне и самому неуютно.

– Что говорят о монархе ваши друзья из Петербурга?

– Баженов и Росси? Архитекторы ныне к тропу приближены, проектируют Павлу новый дворец, а потому могут все

наблюдать. Рядом с ласкою гнев несправедливый. Где он, справедливый монарх? Иллюзии рухнули.

– А как же?... – вырвалось у Параша. Она закусила губу и ощутила меж ними незримую связь, потому что почувствовала – он услышал невысказанный вопрос о Николае Петровиче.

– Кто может терпеть унижения, тот в доверии.

– Как ты... Как вы, – нарочито подчеркнула дистанцию, – как вы зло.

«Как вы зло...» – это Параша сказала Аргунову, а смотрела на портрет Павла. И лицо его, ничтожное и горделивое, приближалось, наплывало.

– Нет, я положительно не могу сидеть здесь. Мне... нехорошо.

Аргунов подошел к ней, чтобы перенести кресло. И вдруг, не сдержавшись, обнял ее, притянул к себе.

– Я должен быть добрым к нему? К тому, кто у меня отнял тебя? Зачем он тебе? Пусть их! Пусть их играют в свои злые игры! – кивнул в сторону императорского портрета. – Все брошу...

Еще секунду назад было меж ними нечто, делавшее, казалось бы, возможной какую-то близость. Какую-то, но не эту. Чужой. Чужие объятия, нервные и злые. Чужие руки, жесткие и жадные, истосковавшиеся, не ведающие неспешного наслаждения. Чужой запах от волос, коснувшихся ее лица. Нет, нет, никогда! А художник уже опустился перед ней на

колени, лицом через парчу касаясь живота и бедер.

– Николушка! Брат мой! – Параша мягко оттолкнула его голову от своих ног. – Без противности хотела бы утешить тебя, как всякая женщина утешает мужчину. Но чего стоит тело, в коем душа отдана другому?

Аргунов, опомнившись, резко поднялся с колен и перенес кресло ближе к окну.

– Извольте, Прасковья Ивановна.

С той поры они были на «вы» и по имени-отчеству – двое, навсегда связанные дружбой и редким сходством взглядов и вкусов, сходством судеб.

С вестовым пришла бумага, сообщавшая: граф уже в Москве, но покинуть свиту императора не может и прибудет в Останкино вместе с Павлом в Светлое Воскресение после коронации. И потому устройство праздника препоручает Вороблевскому и Жемчуговой.

Впрочем, в письме все-таки были указания, по мнению Параша, совсем неожиданные. Так, графом велено было в ближайших лесах вырубить самые большие и пышные ели и врыть их перед прудом, чтобы ими, словно кулисами, закрыть вид на дворец со стороны Москвы. У каждого дерева поставить по ражему мужику. При приближении царского эскорта по данному знаку деревья должны быть разом повалены – и открыть дворец к вящему удивлению и восхищению монарха. К вечеру все дороги от Останкина до столицы приказал Николай Петрович освещать горящими смоляными бочками.

Про забавные шутихи и про музыку под открытым небом, что всегда так радовала Парашу во время праздников, ничего сказано не было, и графские фантазии показались непривычно помпезными и мрачными.

Но коли велено, надо выполнять.

В Светлое Воскресение часа в три после полудня у входа

во дворец толпились приглашенные, дворня, актеры. День выдался ветреный, и Параша куталась в плащ. Волнение усиливало лихорадку, которая началась накануне, когда она вместе с Вороблевским осматривала ряды врытых деревьев. От знания того, что эти красивые ели доживают последние часы и обратятся в груды ненужного лапника и бревен, было ей грустно, плохие предчувствия одолевали ее. А где плохое настроение, там и близкое нездоровье. К вечеру открылся кашель, к утру он, правда, утих, но надолго ли?

– Едут! – крикнул с дерева мальчишка-наблюдатель.

– Пригото-о-овсь! – велел мужикам у деревьев Вороблевский, а через несколько минут почему-то по-военному, будто артиллеристам, приказал: – Пли!

Возможно, так прозвучало «Вали!» Впрочем, внимание Параша поглотило другое: разом поваленные прекрасные деревья, сотни, нет, тысячи елей, погубленных ради забавы.

...Въезд Павла был скромн. Четверик серых лошадей, простая небольшая карета, несколько солдат на запятках, вот и все. Все прочие экипажи в свите выглядели куда внушительнее.

Первым из царской кареты вышел хозяин Останкина. Склонив голову, стал рядом. Показался Понятовский («Польский король» – прошло по толпе). Вот наконец и Павел.

Приветственные возгласы в честь нового монарха оборвались под странным, без улыбки, подозрительным взглядом.

Сжалась Параша, когда взгляд дошел до нее, и снова холодок дурного предчувствия ощутила она в сердце.

Из толпы выступил седой, но еще не согнувшийся под бременем лет Державин. Первый поэт России протянул высокому гостю бумажный свиток.

Император отшатнулся в испуге.

– Что это?

– Ода в честь восшествия на престол вашего Величества.

Павел читал оду про себя, изредка остро взглядывая на «пиита». Поманил пальцем, чтобы приблизился, указал пальцем на строки:

– Прочти им.

Гаврила Романович вынужден был кисло спросить:

Кто сей, щедрей Екатерины
И ревностней еще Петра?

Безумен был смех монарха, высок, отрывист и безумен.

– Щедрей моей матушки быть невозможно. Не токмо ко всяким... но и к разным искусникам щедра была без меры.

Толпа замерла, попятился Державин, желая раствориться в ней, но Павел не спускал с него страшного своего застывшего взгляда.

– Повидав в России и в Европе немало красот и еще больше наслушавшись красивых и фальшивых слов, признаю лишь одно искусство, которое не лжет и на которое могу

положиться – воинское. Стройся! – вдруг крикнул высоким фальцетом солдатам, и жалкий, недлинный строй образовался среди расступившейся толпы. – Выпад влево! С ружьем – вправо! Хороши? Кому не нравятся?

Павел осматривал молчавшую толпу, и трудно было понять, шутит он, издевается или действительно ждет восхищенного удивления.

Параша смотрела на Николая Петровича «Что же это такое?» Бессловесный вопрос дошел до графа. Встретившись глазами с Парашей, он опустил голову и отвернулся. А молчание толпы сменилось-таки подобострастными возгласами и аплодисментами в адрес императора.

Павел стремительно прошел через толпу во дворец, на ходу сунув кому-то оду Державина.

Три часа между встречей на крыльце и спектаклем Параша не поговорила с Николаем Петровичем – тот не отходил ни на шаг от высокого гостя. И то, что любимый не выбрал минутки для нее, огорчало и было непонятно. Окажись она на его месте... После долгой разлуки...

За окнами дворца в сумерках уже зажглись смоляные бочки и факелы в чугунных шандалах. Костюмер и цирюльник готовили актрису к выходу. Здесь же был Лахман, который растирал певице ладони, ступни, давал пить травяной отвар, чтобы унять внезапно открывшийся кашель. Коснувшись Парашино лба, лекарь встревожился: не сильный, а

все же жар. Ничего не сказав, решил посоветоваться с баринном и под каким-то предлогом вышел.

Больше всего она боялась подвести Николая Петровича и потому про себя молилась Господу, чтобы отсрочил болезнь, чтобы дал сил. И еще... чтобы пришел он.

И он пришел. Все сразу испарились из гримерной. А значит, можно броситься графу на шею, целовать, между поцелуями спрашивая, что он думает о происходящем, о Павле, об их будущем.

– Постой, душечка, – граф осторожно разомкнул ее объятия. – Все – после. Ты можешь петь? Хорошо петь, как всегда, и даже лучше? Ты должна петь как никогда – решается твоя судьба. После спектакля я ему, Павлу, откроюсь. Собрись с силами! – И, поцеловав Парашу в лоб, Николай Петрович вышел.

Зря, зря он зашел к ней. Лучше обида, чем эта непосильная тревога и напряжение.

Отзвучала увертюра. Параша ждала за кулисами своего выхода. А Павла лучше бы ей не видеть: лицо, как неподвижная маска, похожая на череп. Ни разу не улыбнулся склоненному перед ним хозяину. Ни с кем не перекинулся словом. Уставился на сцену, и кажется ей, будто видит он ее, будто разглядывает. От страха ее стала бить дрожь, а после и во все кашель. Сдержала приступ, поднесла платок к губам – на белом расплылось розовое пятно.

«Как? Уже?!» Мысли оторвались от царственной личины. Не Павел – сама смерть смотрела ей в лицо. А коли так... Что ей страшно? Кто страшен? Спрятала платок за манжету, оглянувшись, не видел ли кто, и, как в пропасть, шагнула на сцену.

Ни она, ни Лахман не знали, чем объяснить то, что кашель прошел, как и начался, внезапно. И пела она в тот раз, как никогда раньше не пела – в полную силу и с полной свободой переживая судьбу и чувства своей героини.

После спектакля высокие гости осматривали дворец. Быстро шагая по картинной галерее, Павел все-таки заметил последний парадный портрет Параши.

– Великая актриса, – похвалил император. – И голос хорош чрезвычайно.

Граф был счастлив. Увы, недолго, всего минуту, а то и меньше, потому как, отходя от портрета, император продолжил разговор о Жемчуговой совсем в другом ключе:

– Но... Рядом с предками? Крепостная? Та самая?

И граф понял, что государю насплетничали, донесли, настроили против. Хорошо еще, что портреты Павла и актрисы развесили по разным комнатам, а не в одной, как замышлялось вначале. Николай Петрович смешался от вопросов, и выручил его уже немало принявший хмельного Понятовский.

– Какая певица! – кивнул на портрет. – Взял бы такую в

Варшаву. Но вторым сюжетом в опере была премиленькая птичка. Вы нам ее представите?

– Я представлю пану королю всех героев.

– Героинь, – игриво поправил шляхтич.

Дальше, дальше от Парашиного портрета, через анфилады комнат.

Понятовскому явно не хотелось покидать роскошные, располагающие к отдыху и веселью покои. Он любовался дворцом, под стать которому видел разве что в дореволюционной Франции.

– Сие ультрамариновое стекло из Венеции? А то, что с кобальтом? Такая глубина, такая тайна...

– Все здесь дело рук моих крестьян, и замысел наш, здешний, – с гордостью отвечал хозяин.

– О! – слов для изъявлений восторга у польского правителя не находилось.

А в настроении Павла что-то сломалось к худшему.

– Слишком затейливо все, в духе моей матушки. Все наше русское искусство, все эти доморощенные театры – одни напрасные потуги. У вас, конечно, лучше, чем у других... У вашей, как ее? Да, Жемчуговой, – прекрасный голос. Но в прусском Цвингере, во дворце Сан-Суси все выглядит гораздо четче. Сопряжение французской вольности с недостатком европейского лоска всегда отдает вульгарностью. Впрочем, это я так, вообще. К вам же это относится лишь в той мере, в какой все эти безделушки и театры отвлекают от службы и

от обязанности христианина строить семью. Голоса наследников были бы более уместны в этом новом доме, чем рулады прельстительницы-певички. Не пустая ли это трата сил? Лучше заняться делом.

Граф аж задохнулся от внезапного оскорбления. К этим годам в натуре его возобладала батюшкина гневливость, которая не считалась ни с какими обстоятельствами.

– Я не бездельник. Кажется, ваше Величество, на службе я не имел от вас серьезных нареканий. Что же касается устройства семейства... Так сие есть дело Божье, им совершаемое в нас... – он побледнел; как всегда, в минуты сильного волнения задергалась щека, и Павел отступил:

– Ладно, ладно. Зовите ваших сирен. Они достойны и похвалы, и награды за дивное пение.

Жемчугову с Анной Буяновой-Изумрудовой и с Гранатовой привели в небольшую гостиную. Поляк с особым пылом облобызал полную руку Анны, мимоходом коснулся тонкой талии Тани, а перед Парашей склонился почтительно. Павла же интересовала только Параша. И свои реплики он обращал только к ней. Прасковья Ивановна не могла понять выражения этого странного безжизненного лица. Пожалуй, его речи можно было считать похвалой, но очень сдержанной, идущей не от сердца, а от ума:

– Представление было хорошо тем, что не отдавало российской небрежностью. Вы выучили свою партию превос-

ходно. Граф, такое прилежание дорогого стоит.

...Позже Шереметев часто возвращался к этому мигу. Что заставило его, только что не побоявшегося возражать императору, так трусливо избегать возможного высочайшего неудовольствия? Он не был трусом. Скорее другое им руководило: желание сохранить хрупкое равновесие в связке «он, царь, любимая, карьера, жизнь, слава, дело». Императору явно не нравится его увлечение актрисой, крепостной. Все обдумать придется после, когда кончится это хождение по лезвию бритвы, этот опасный, непредсказуемый визит, а пока – осторожнее!

– Отныне, – услышал Николай Петрович свой голос, – положу им жалованье по месяцам, как в настоящем театре. Гранатовой – пятьдесят рублей, Изумрудовой – семьдесят пять, Жемчуговой же, – споткнулся от нелепости происходящего и выдохнул: – Двести пятьдесят.

Полезная, успокаивающая и оправдывающая мысль пришла в голову такая разница подчеркнет и талант, и значение Пашеньки, а одновременно и покажет, что она все же просто его слуга.

– Вы довольны? – спросил актрис Павел.

Изумрудова и Гранатова присели в благодарном поклоне.

А Параша вспыхнула и, помня о розовом пятне на платке, не стала глушить в себе то дерзкое и протестующее, что поднималось в душе помимо ее воли. Коли она на пороге смерти, отчего не позволить себе быть самой собой и не сказать

сильным мира всего, что она думает?

– Дар, Богом данный, Богу и принадлежит. Не знаю, согласится ли государь со мною, но, думаю, Господу рублями не платят.

И, обратя горящее, гневное свое лицо к Николаю Петровичу, продолжила:

– Ваше сиятельство, прошу отдать мое жалованье тому, кому оно нужно для поддержания жизни. В ваших селах таких немало.

Некуда, казалось, было бледнеть белому как стена Шереметеву, а побледнел, осунулся на глазах, сник. Павел же, чувствуя меж двумя внутренний спор, понял, кто победил, и с открытым восхищением посмотрел на Парашу. Сколько огня! Как хороша молодая женщина в гнев!

– Вы правы, подлинный дар выше жалованья, милая дама, но он не бежит подарка, выражающего восхищение.

Павел снял с руки перстень. В отличие от кольца царицы Екатерины, не принесшего радости, это было впору. Параша надела его на палец и благодарно склонила голову перед монархом.

Уходя, она слышала разговор: Шереметев предлагал императору остаться на ужин.

– Я приказал подать вино, коему более ста лет.

– О! – обрадованно воскликнул Понятовский, но Павел четко отклонил приглашение:

– Вкусы мои более просты и скромны. К тому же предпо-

читаю пищу приготовленную моими поварами под вашу ответственность, граф. Есть надежда не быть отравленным.

– Но я и здесь наблюдаю...

– Здесь вас отвлекают сладкие звуки и прелестные дамы. Шучу, шучу, – император залился высоким и неприятным смехом. – Я отпускаю вас на два часа, не больше. Жду вас в моем дворце в Кремле. Да не опаздывайте, вы нужны мне постоянно.

Павел не стал дожидаться, когда к нему присоединится свита, стремительно облачился в плащ и, не простившись ни с кем, кроме хозяина, сел в карету.

«Бог мой, неужели и впрямь слухи о том, что барин назначен обергофмейстером, верны? Музыкант, артист и... повседневные заботы о мебели, об одежде и пище... Если Павел – друг и понимает душу Николая Петровича, он не мог дать ему такую мучительную должность».

...Она ждала этого вызова к графу, не зная, как будет вести себя в разговоре с любимым. Обида на него перебивалась жалостью. Охватывало удивление – ведь он делает явно не то, что написано в книге судеб, неужели он этого не понимает? Душил гнев при воспоминании о жалованье... Как чужой! Какое предательство и унижение!

Но разве вправе она требовать от него того, на что не способен решиться никто? Аристократы не женятся на крестьянках, дворяне не влюбляются в крепостных – таков закон жизни, и никто пока его явно не нарушал.

Так и вошла в кабинет, не разобравшись в себе. По наитию от двери поклонилась «барину» в пол на деревенский манер.

– Ты не на сцене.

– Я на том месте, которое вы мне только что указали.

– Я хотел выделить тебя среди прочих актрис высоким жалованием.

– Некоторых женщин положено выделять не деньгами – отношением к ним, – если, конечно, они того стоят. Я, видно, не заслужила.

– С Павлом все оказалось сложнее, чем я думал.

– Да уж, коли вам приходится думать не о нотах, а о молодых барашках и белом меде к царскому столу.

– Я больше думаю о нас с тобой. Как я и обещал тебе, я завел разговор о нас... Он был так добр, так открыт, так доверчив. Сам говорил мне о мистической связи своей с Нелидовой – той, что не в укор его земной и царственной любви к императрице Марии Федоровне. Эта таинственная связь для него все. Мать ненавидела его. Дети, воспитанные Екатериной, его не любят. Супруга не всегда его понимает И только эта женщина... Я сказал ему, что наши с тобой чувства, хоть и не так высоки, чтобы быть лишенными обычных ритуалов нежности, тоже непреодолимы и длятся много лет. Он меня понял! А сегодня вдруг я услышал от него совершенно противоположное...

Парашу бил кашель, но и через него, через ее усталость пробивались интонации горькие, ироничные:

– Мы видывали с вами правителей близко – могущественную Екатерину, Потемкина, и были в их глазах ничем. Барин, надо ли мельтешить, суесться? Боюсь, вы ничего не обретете на новой службе. Люди не делятся на малых и великих, но только на добрых и злых. Не обманитесь, оцените, где делу служите, а где лицу прислуживаете. Не император – Господь спросит.

– Ты перестала понимать меня. Не всем дано понять, что значит приобщиться к делам государственным.

– Куда уж мне! Простая девка... Я даже не могу справиться с теми делами, которые мы затевали с вами с таким рвением. Актеры меня не хотят слушать, труппа в разброде. Хозяйство приходит в упадок...

Граф перебил ее:

– Скажи всем лодырям, чтобы взялись за дело. Иначе разошлю по дальним деревням.

– Как быстро вы забыли, что приказы сильны только на плацу, а в музыке, как и в любви... Ваш нынешний кумир считает, что муштра всесильна.

– Оставь императора... Я не узнаю тебя. Когда моя жизнь наполнилась смыслом, ты противишься всему, что я предпринимаю.

– Власть не дает свободы, а смысл не ищут где-то помимо себя.

Спорить с Парашей графу было непривычно – пожалуй, впервые она так последовательно и так ожесточенно не со-

глашалась с ним, открыто шла на ссору.

Почувствовав в себе поднимавшуюся волну гнева, граф испугался испортить то, что было ему единственно дорого в мире. Встал, чтобы успокоиться, прошелся по маленькому кабинетцу туда-сюда, остановился перед Парашей, притянул ее к себе. Поцеловал в лоб с крутыми завитками. Не откликнулась. И прямо глаза в глаза спросила:

– Вы обещали мне вольную. Помните, вы даже начали составлять бумагу. Отпустите меня. Я больна. Я не нужна вам. Отпустите.

Слегка оттолкнул ее от себя. Когда-нибудь это должно было случиться. Расставание всю жизнь сторожит свой миг, теперь оно просто ближе, чем обычно. На всякий случай спросил:

– В Петербург со мной не хочешь?

Покачала головой – «нет».

– Получишь вольную. Ступай!

Пройдя через галерею, она дала волю душившему ее кашлю. Розовым окрасился не только платок, но и манжеты. «Как? Уже? Так быстро? Кровь... Кровь... Господь наказывает меня этой кровью за ту кровь, другую... За ребеночка...»

Разлука – неизбежность. Болезнь – возмездие за детоубийство. Разве она вправе рассчитывать на что-либо другое?

Первым, что граф теперь видел, просыпаясь при робком свете лампы, был длинный и узкий потолок – без лепнины, без люстры. «Комната – будто гроб». Таких мрачных комнат в его имениях нет даже во флигелях для дворни. Граф вспоминал с тоской, что он в Гатчине, в императорском дворце, похожем на средневековый замок. И еще: он не просто в разлуке, он в ссоре с Парашей.

Чтобы продлить сладкое время сна, граф закрывал глаза. Представлялось далекое: кусковский рассвет, девочка в алой пелеринке скачет по песчаной дорожке, все пронизано светом. Все самое главное в судьбе было тогда еще впереди, хотя в то время казалось, будто жизнь уже прожита. Но разве сравнишь ту светлую печаль с нынешней звериной тоской?

С чего бы это? Исполнилась его мечта выполнить высокий мужской и гражданский долг. Он занят не каким-нибудь частным делом, а государственным, он у подножия самой высокой власти. Но нет ни капли той прежней радости, хотя и нелегкой, хотя и претворенной из душевных мук и сомнений, из мыслей о несовершенстве мира, но такой истинной...

Музыка... Гармония... Ему не хватало музыки... Вместо нее он слышал в предутренний час перекличку караулов и отрывистые, как лай, команды императора на плацу.

Не спится Павлу, и он не дает спать никому.

Николаю Петровичу не хватало лени, подруги глубокой созерцательности, которая так необходима любому артисту. Проснуться, открыть глаза и лежать неподвижно. Смотреть бесконечно на милое лицо спящей Параши, следить, как ритмично подрагивают ресницы. По-детски приоткрыт рот, и выражение чуть-чуть несчастное... Просто смотреть и смотреть... Это и значило жить.

Здесь у него нет и не может быть просторных утренних минут, отданных встрече нового дня. Наскоро молитва, наскоро бритье, одевание, и от этой рабской торопливости в нем прочно поселялось ощущение, будто он не принадлежит себе.

Ощущение его не обманывало.

В пять утра император уже на плацу, уже муштрует своих солдат, а завтрак и того ранее – завтракали они ночью.

После Николай Петрович шел в свой убогий кабинет – составлять письма для фельдъегерской почты в Петербург и в Москву. Графу Румянцеву он писал: «Государыне Императрице Марии Федоровне угодно, чтобы сделан был мед белый лимонный сахарный для питья, такой точно, каковой при покойной Государыне был сделан единожды и опробован ею». Графу Зубову сообщал, что «потребны для четырнадцати человек трубачей и одного литаврщика конские уборы, седла и прочее».

Через полчаса после солдатской побудки в предутренней мгле он должен был снова предстать перед императором,

дабы согласовать обеденное меню. От императора – в кухмистерскую, и там за всем самолично следить. Завтрак, обед, ужин, снова завтрак, снова обед. Разница – только в меню, и то не слишком большая – Павел был аскетичен и скучен во всем. Он внушал Шереметеву иногда страх, иногда тревогу, а чаще всего не поддающееся точному определению чувство отвращения к себе самому, вынужденному исполнять монаршую волю не как собственную, а как навязанную, чужую. Унизительно...

Павел требовал одного, его домочадцы и свет – другого. Уж эти мне вечера и приемы! Все эти архангелогородские барашки, выпоенные молоком, которых надо доставить к сроку... Пулярки, зажаренные, как у Толстых, и рыба – как у Куракиных... Высшее общество равнялось на недавние екатерининские времена и не хотело менять своих вкусов.

...Ему не хватало женщины. Но стоило представить себя с какой-то случайной, как приходило нервное раздражение. Он не хотел, не мог в свои годы ухаживать, суетиться, а сильным и уверенным был только рядом с Парашей. Никто, кроме нее, не смоеет с него надоевшую, скучную пыль будней, никто не приподнимет над повседневностью и мелкими заботами, не даст непосредственной радости бытия.

Да... Он обещал ей вольную. Он отошлет бумагу с первым императорским обозом, который пойдет в Москву за продуктами. И напишет письмо. Может, попросит прощения. Нет, просто объяснит... Она поймет.

После отъезда Николая Петровича в Петербург Параша дала себе волю болеть и всю весну пролежала в своем дворце на Воздвиженке. Читала, молилась в домашней церкви, просто думала о своей судьбе и о судьбе графа. По утрам подчас приходили силы, и она пыталась репетировать с хором. А к вечеру поднимался жар, и вместе с ним восставали из прошлого все бывшие ошибки, обиды, печали. Душа становилась слабой, незащищенной. Подкатывали слезы, и она не гнала их, стараясь только, чтобы никто их не видел, даже лучшая подруга Таня Шлыкова.

Она чувствовала себя очень одинокой, не хватало родственной близости. От матери она отвыкла, покинув Кусково, от братьев всегда была далека. Матреша ей ближе... Но что Матреша? Та младшенькая, о которой приятно заботиться, а жаловаться на беды, открываться в сокровенном ей не станешь. Хоть она и выросла, хоть и свадьбу сыграла, но не поймет. Особая у нее, Параша, судьба, ни на какую другую не похожая. Одиночество среди своих, одиночество среди чужих, в стан которых привела любовь к графу... Это только со стороны некоторым ее путь видится как удача.

Не было рядом единственного близкого человека, и все в жизни лишалось смысла. Понимала Параша, что надо работать. Работы она никогда не боялась. Как нравилось ей вместе с графом ездить по селам, помогая крестьянам, учить детей пению, готовить новые партии в театре и проводить ре-

петиции! Но вдруг с полной отчетливостью она поняла, что ничего в ней не изменилось со времен отрочества. Тогда она училась языкам для него, для него перенимала господские манеры, для него старалась превзойти самое себя на сцене. Его нет, и ей незачем выздоравливать. Лежать и ждать... Вопреки разуму ждать вести от него.

И весть пришла.

Письмо так дрожало в тонких, исхудавших руках, что Параша не сразу смогла его распечатать. Вольная... Ах! Вот и записка.

«Вы («Вы»!) правы. От природы мне больше идет заниматься клавирами опер, которые ставят в этом сезоне в Париже. Да, монарх, друг юности, должен знать, что музыка, а не пища – моя стихия. Но император и в дружбе следует иным принципам, нежели мы, люди обычные. Дирижировать оркестром, посчитал он, для меня скорее удовольствие, чем труд, и уж не служба вовсе. Он же намерен проверять своих подданных на самоотречение и ревностность в служении отечеству.

К тому же, доверив мне заниматься едой и одеждой, он доверил мне свою жизнь, а жизнь в просторечии не зря подчас зовут животом. Преодолев подозрительность, Павел выделил и вознес меня, а не унизил. Мне есть чем гордиться.

В Фонтанном доме своем собираюсь открыть салон для друзей императора с музыкальными номерами и пением. От-

писав вольную, я не могу Вам («Вам»!) приказывать, а могу только предлагать в них участвовать».

Другим пером и другим почерком (спешащим, – в последний миг, видно, добавилось): «Очень скучаю». И это «скучаю» было для нее в письме самым важным.

«Я тоже очень скучаю. И если бы могла бросить открытую мною недавно студию и десять учеников моих, то примчалась бы к вам, несмотря на запрет доктора даже думать об этом. Но действия свои не могу делить по степени важности, а к детям из деревень привязалась душою.

Осмелюсь повторить вам, что, доказывая свою верность одному человеку, вы забыли о многих людях, с кем были связаны долгие годы. Без барского пригляда и строгости дворян в Останкине и в московских домах распустилась. Люди от безделья пьют брагу. Лишенные привычной работы, они впали в лень, ссорятся и даже дерутся меж собою. После серьезной и нужной работы в Останкине все очутились в пустоте, никто никому не нужен, никто никому не подвластен. Вслед за дворецкими и поварами запили актеры. Ни я, ни Вороблевский для них не авторитет, репетиции идут вяло, ибо не видно цели, никто не знает, когда будут ставиться спектакли и будут ли вообще. Где, когда, кому мы покажем свое искусство? Даже у меня пропадает охота петь для четырех стен и несчастных своих сотоварищей.

Хозяйство московское ваше впадает в запустение. О про-

чих вотчинах сказать ничего не могу, так как не бываю в них из-за своего нездоровья.

О чувствах своих длинно писать не решаюсь, это среди великих дел, которые оторвали вас от меня, наверное, «неважно».

«Вам, кажется, доставляет удовольствие сообщать мне одни неприятности. Я поступаю так, как должен на моем месте поступать всякий дворянин.

Не думайте, что это легко. Меня поражает, что ты (долгожданное «ты» вместо пугающего «вы», наконец-то!) не чувствуешь, как тяжело мне бывает здесь. Иной обед в Гатчине или Павловске стоит года жизни, ибо все надо предусмотреть, за всем проследить. Никто и здесь не любит исполнять свои обязанности, и лишь тот, кому доверили ответственность, должен напрягать себя сверх меры.

Здесь мне отведена комната рядом с кухмистерской, к одной из стен примыкают печи, оттого постоянно жарко, стоит парок и донимают запахи. Ежели открыть настежь окно, то сырой холод мгновенно сменяет духоту и приходится быть на сквозняке. Оттого постоянно хожу с большим горлом, преодолевая слабость и нездоровье».

«Милый, милый Николай Петрович!

Очень расстраиваюсь вашим нездоровьем. И не могу понять, почему вам не вернуться сюда и не заняться очень вы-

сокими и вполне достойными каждого дворянина делами, хозяйственными и театральными.

Осмеливаюсь вам сказать это после продолжительного разговора с князем Щербатовым. Он тоже друг юности монарха и, я считаю, истинный друг вам с давних пор и по сию пору. Он-то и сообщил мне, что из Петербурга выслан ваш предшественник по должности обергофмейстер Бяратинский. Дашкова в деревне (при ее-то почтенном возрасте и заслугами перед просвещением!). Уволены семь фельдмаршалов и бесчисленное множество генералов.

Правда ли, что запрещены ныне не только круглые шляпы на французский манер, но и прекрасные французские книги и даже некоторая музыка?

В нашем разговоре ваш друг касался темы сочетания службы и достоинства и рассказал ужасный случай с Яшвилем, коего был свидетелем. Думаю, и вы слышали о том, что на плацу император дал при всех пощечину дворянину Павлу Яшвилю, уловив запах вчерашнего выпитого. Я видела господина Яшвиля однажды, очень давно, в цыганском ресторане в Грузинах, помните? Нельзя сказать, что господин этот оставил во мне приятное воспоминание. Но представить его в положении, когда оскорбление нельзя смыть ни дуэлью, ни словом... Не боитесь ли вы оказаться в такой ситуации? Я-то знаю, что в таких случаях больше всего на свете хочется умереть».

Письмо от Параши попало к графу в тот день, когда он и сам думал о превратностях императорской службы. Вновь и вновь возникали у него мысли о душевном нездоровье правителя России. Жестокость, с которой он пользовался своей властью, не знала предела. Лейтенанту Акимову за попытку в стихах критиковать порядки в армии по приказу Павла отрезали язык. Известного сановника выставили к позорному столбу.

Государь не знал границ в гневе и своеволии. Яшвиля ударил прилюдно и нажил себе опасного врага. Другого дворянина сослал в Сибирь за мелкий непорядок в мундире – неправильно пришитую пуговицу. Третьего... А третий был первый помощник Шереметева по дворцовым заботам старик Беннигсен. За неверно накрытый стол Павел приказал старику идти пешком из Павловска в Петербург, а это, как известно, десятки километров. Возле одной из застав встретил изможденного Беннигсена Николай Петрович, на свой страх и риск усадил в карету и предстал с ним пред очи императора с требованием простить верного слугу или прогнать обоих.

Павел простил. И даже сделал многое, чтобы загладить неловкость. Пока по отношению к нему, Шереметеву, он не переступает границ. Пока...

Слишком уж переменчив царственный друг. Он быстро приближает к себе людей случайных и так же быстро может охладеть к людям верным и преданным.

Но всеми своими сомнениями Николай Петрович делиться с Парашей не стал.

«Слава Господу, я получаю не пощечины – такого и представить себе не могу. На предпоследнем приеме монарх преподнес мне совсем иной сюрприз. Приказав приблизиться к себе, он взял меня под локоть и почти на ухо долго сообщал мне о своих планах по управлению Россией. Это, кстати, он делает не впервые и тем самым поднимает мой вес в обществе.

Но затем он привлек еще большее внимание собравшихся к моей особе тем, что громко назвал меня вернейшим из соратников и сам, повязав мне ленту, прикрепил к ней орден Андрея Первозванного, воздав хвалу славному роду Шереметевых в моем лице.

Я горжусь тем, что служу монарху справедливому.

Да, ему не чужды человеческие слабости. Я ведь тоже гневлив, душа моя.

Его девиз таков: «Лучше быть ненавидимым за праведные дела, чем любимым за неправедные». Добавлю от себя – именно так была любима его матушка.

Из Шлиссельбурга освобожден опальный издатель Новиков. Литератор Радищев возвращен из Илимска.

Рекрутский набор отменен. Война с Персией прекращена, и этим подтверждены мирные намерения России, сорок лет истощавшей в войнах свое население.

В любом правлении дела на двух чашах. Какая перевешивает?

Душенька! Император верит мне, как себе, и только после того, как я сниму пробу с приготовленной в кухмистерской пищи, к ней притрагивается монарх. Он доверяет мне каждый день жизнь свою, что не только почетно, но и по-человечески трогательно.

И уж никак не могу не рассказать тебе, что после одной очень мучительной операции, когда весь Фонтанный дом был поднят на ноги из-за моих мучений, мне принес облегчение мой царственный друг.

Когда я очнулся от забытья, вызванного потерей крови, то увидел, как он входит ко мне с черного хода. Никем не замеченный, он без слов сидел рядом, держа меня за руку и всем сердцем сочувствуя моему бессилию.

Могу ли я после этого отказать ему в малом – в моей дружеской привязанности и верной службе?

К тебе же просьба: не писать в письмах ничего, что может плохо отразиться на моей начавшей наконец-то развиваться карьере. Некоторые вещи лучше высказывать один на один, не доверяя постороннему глазу написанное».

Получив это письмо, Параша расстроилась особенно сильно. В горячечных своих слезах она пыталась молиться, чтобы Господь остановил пагубные перемены в любимом.

Что делается с людьми, когда они прикасаются к власти?

Она не понимала, как ее Николай Петрович может всерьез гордиться тем, что маленький человечек с безумными глазами и страшным смехом взял его под локоть, пришел к нему в дом? А уж пробовать пищу тирана прежде, как она читала, доверяли собакам. И как можно мириться с тем, что (при доверии-то!) их переписку читают чужие глаза?

Было ли это разочарованием в любимом? Нет, резкой перемены не произошло, за долгие годы она познала много и других его слабостей. Она видела, как рядом с гневливостью в нем соседствует слабость, родственная страху, как он всегда желает совпасть во мнениях с теми, кто силен. Природная гордость подавлялась в нем неуверенностью, женской боязнью поражения.

Впервые она вдруг обнаружила, что в ее отношении к графу появился оттенок снисходительности. Она любила, но уже не снизу вверх и даже не на равных. Так мать любит дитя, взрослый – младенца, сильный – слабого.

В тот вечер она впервые подумала о своих – только своих – планах.

Она печалилась о том, что жизнь проходит очень быстро. На пороге тридцатилетия ей пора задуматься о собственном предназначении – предназначении актрисы, певицы. Будучи, возможно, куда более скромным, чем у графа, это предназначение все же накладывает на нее обязательства перед Богом и людьми. Посетив недавно оперу Медокса, она страстно позавидовала Синявской и Сандуновой. Не тому, как они

держатся на сцене – она делала бы все иначе, а просто самому факту – поют! Аплодисменты, цветы... Этому тоже. Но больше всего хотелось посылать в зал свой голос и брать им в плен души, заставляя их страдать и радоваться.

Власть таланта – тоже власть, и она этой ненасильственной высокой власти хотела страстно.

В ту ночь она долго не могла заснуть, чувствуя небывалый прилив сил. Параше показалось, что болезнь покинула ее. Позвав Таню Шлыкову и Матрешу, она решила устроить небольшую ночную репетицию и спеть им безделицу Мартины, простенький вальс о цветах и весне. Но на высокой ноте из горла хлынула кровь. Платка не хватило. Срочно вызвали Лахмана. Кровотечение еле остановили с помощью льда, но жар сбить не смогли.

Почувствовал ли Николай Петрович несчастье? На сей раз нет. Он мчался к Параше из Петербурга в Москву со всей возможной скоростью, то и дело меняя уставших лошадей на свежих, но гнало его не известие о болезни – депешу он не успел получить. Все мысли его были о себе. Судьба вытолкнула его из северной столицы жестоким ударом по чести и самолюбию.

Да и стоит ли называть судьбой обиду, унижение, которым он подвергся на службе у безумного властителя – то, о чем он старался не вспоминать и о чем никогда не смог бы рассказать любимой. Она, любимая, была права, она все знала

заранее, как знала о нем все и всегда.

Еще два дня назад он не думал об отъезде в Москву. Вместе с императором он обживал летнюю резиденцию царской семьи – Павловск. Что может быть прекраснее весеннего цветущего парка? Красота природы, не исправленная, а лишь слегка облагороженная художником, напоминала красоту музыки. На утренней прогулке придворные, сопровождавшие монарха, разбились на группы. Ничто не предвещало скандала. Слышалось: «Взгляните на чудное сочетание кустов и деревьев!», «Сколько оттенков зеленого, как они переходят друг в друга!», «Ах, эти ивы!», «Уж не соловей ли завелся в этом раю?»

Сам он с увлечением рассказывал фрейлине императрицы госпоже Нелидовой, как он ценит талант Гонзаги, сравнивая его парковую архитектуру с теми декорациями, которые художником сделаны для Останкина. Декорации эти могли составить отдельный спектакль, если менять их на сцене под музыку. Игра красок, смена перспективы чаруют...

Шереметев не заметил, что Павел время от времени словно случайно приближался к ним двоим. Вслушивался, отходил, снова приближался. Наконец император что-то тихо сказал адъютанту. Молодой офицер очень смутился, направившись к Николаю Петровичу, и совсем смешался в ответ на доброжелательную улыбку графа.

– Простите, ваше сиятельство. Но... Права не имею не передать дословно, как приказано его Величеством.

– Да-да, конечно.

И только увидев испуганные глаза женщины, в которую давно был влюблен царственный мужчина, граф испугался сам.

– Скажи ему, приказали Павел Петрович, чтобы не распускал хвост перед дамами, когда не следует, ибо все перья выщиплю. Еще скажи, что он не юноша и что пора ему жену законную иметь, а не волочиться за каждой юбкою...

Взор Нелидовой переполнился недоумением и ужасом, а Шереметев почувствовал, что его лицо окаменело, а после начала дергаться щека. Не дослушав и резко повернувшись, пошел он по дорожке прочь от свиты.

За ним побежала Нелидова.

– Граф! Милый граф! С Павлом бывает. Он повинится...
Призовите все благоразумие...

Но он шел все быстрее. И только окрик императора: «Подождите, Николай Петрович!» – остановил его. И вот они идут навстречу друг другу – старые друзья и сегодняшние соратники.

– Ваше Величество, почувствовав себя дурно, я не отклонялся. Давние недуги заставили меня покинуть компанию и... – выдохнул граф, чуть запнувшись, – и службу.

– Полноте, друг мой, – Павел попытался обнять Шереметева, но тот уклонился:

– Примите отставку.

– Простите, – поклонился граф приблизившемуся обще-

ству и приложил руку к сердцу: – Сдавило вдруг здесь, в груди... Годы.

Резко повернувшись, большими шагами направился по дорожке к выходу из парка. Именно в этот момент пришло неожиданное, но твердое: «Все! Кончено! Уеду!» И откуда-то выплыло, вне связи с происшедшим, дерзкое и радостное: «Решено – женюсь!»

Ворвавшись к больной, горящей Параше, граф кинулся на колени.

– Предлагаю тебе руку и сердце, Парашенька.

Не отвечает. Не слышит. В беспамятстве. Взял с комода Библию.

– Вот, на Святом писании, перед Господом клянусь обвенчаться с тобой. Только выздоравливай...

И снова потекли страшные дни рядом с больной. Только болезнь на сей раз была вполне определенная – чахотка.

Жар прошел, но слабость не отпускала ее. И кашель, и горловые кровотечения мучили с досадной регулярностью. И все-таки, придя в сознание и увидев возле себя любимого, Параша ожила, стала говорить, что почти здорова. Он верил ей, ибо хотел верить, но такой изможденной не видел ее никогда. Сквозь тонкие пальцы, сквозь ладони сквозил дневной свет, и вся она по-неземному светилась.

Ему было больно смотреть на нее. Такой острой жалости он не испытывал никогда ни к кому, и никто в этом мире не был ему более родным и близким существом. Худая, истончившаяся от чахотки, подурневшая... Он словно был ею – изможденной, выболевшей, страдающей. И одна мысль до- нимала его и день и ночь: как спасти, как отвести от смерти?

Доктора и знахарки, лекарства и жирная пища, но, главное, его присутствие, его забота делали свое дело. Медленно, заметно только для Николая Петровича Параша стала поправляться.

Если бы Параша была здорова, венчание состоялось бы сразу и выглядело бы скандальным вызовом двору. Но граф поначалу был вынужден избежать резких выпадов. А после... Не то чтобы он передумал (клятву на Библии не отменишь), а просто естественное течение жизни далеко отодвинуло необходимость действий.

...Тот 1800-й, високосный, разделяющий два столетия год они встречали вполне по-домашнему.

Покончив весьма бесславно с карьерой, граф резко отошел от света. На людях хорошо победителю, побежденный не прочь отсидеться в норе. Поэтому на зимние праздники – Рождество Христово и Новый год – он отказался от всех визитов и, сославшись на недомогание, никого не позвал к себе. В сочельник даже свечей не зажигали в парадных залах, боясь неожиданных гостей, забредающих на огонек.

В тот день все радовались, что Пашенька поднялась наконец с постели и смогла даже наряжать елку, привезенную ей во дворец мужиками из ярославской вотчины. Изобретательно и быстро она добавляла игрушки, сделанные ее руками из ткани, соломы, шишек, крашеной бумаги, к «замор-

ским шутокочкам», выписанным графом из-за границы. Лесная красавица пахла лесом, снегом, детством. С Пашей рядом хлопотали самые близкие люди: сводная сестра Николая Петровича, дочь крепостной женщины и Петра Борисовича Маргарита, Сашенька, дочка молодого графа и Беденковой, которая после смерти матери всей душой привязалась к Параше, любимый воспитанник, умный и кроткий горбаченький Яша, и, конечно же, Таня Шлыкова.

Выпили сначала дорогого шампанского, после распробовали домашней малиновой наливки. Хмель всем ударил в голову, но, странное дело, не пробудил веселья, а как-то очень остро заставил всех ощутить быстротечность жизни. В особом соизмерении со временем они увидели друг друга. Саша и Яша вошли в юность, а остальные шли уже под уклон жизни. Даже Тане Шлыковой было двадцать шесть, Параша перешагнула тридцатилетие, а граф и вовсе близился к пятидесяти.

Чтобы не дать грусти разрастись, все стали дарить друг другу подарки.

Параша всем раздала ладанки, расшитые ею во время болезни. Как рукодельница она славилась, за ее работы ценители предлагали графу немалые деньги, и художники в один голос отмечали у нее дар подбирать бисер и жемчуг, создавая прекрасные узоры.

Граф приготовил женщинам наборы из Парижа. Щетки для волос и зеркала в серебре – все это в сафьяновых футля-

рах. Один футляр – темно-малиновых оттенков – для Гранатовой-Шлыковой, второй – чисто белый с поблескивающим, словно морозный иней, тиснением – для Параша. Обе были в восторге, и каждая отошла от компании чуть в сторону, чтобы насладиться красивой вещицей сначала в одиночку.

Параша открыла мягкий футляр, и сердце ее сжалось. Круглое зеркало в серебряной оправе, искусно сработанной ювелиром, все было покрыто, как паутиной, мелкими трещинами.

«К беде!» – захолонуло внутри. И чтобы отвлечь внимание графа и других, стала кружиться, подбегая от одного трюмо к другому, непривычно бурно восторгаясь подарком. – Вот уж спрячу подальше! После покажу, после.

Праздник был омрачен только для нее. Только она получила страшную весть из будущего.

Беда не заставила себя ждать. В Кусково умерла мать. Ее хоронили братья Параша. Отец запил горькую. Матреша, недавно вышедшая замуж за крепостного актера Калмыкова, была на сносях и отправляться в дальний путь ей было опасно. И Паша не одолела бы зимнего пути, ее по-прежнему вечерами мучил кашель и часто поднимался жар.

Вот когда она мысленно обернулась и пристально взглянула на те годы, которые прожила с матушкой, Варварой Борисовной. Вроде не забывала родимую никогда. Вроде не обходила заботой, деньги передавала до последних дней. А вро-

де...

Тогда, в Кусково, еще раза два в год, словно залетная диковинная птица, слетала сверху на гнездо, где родилась, – темное и глухое. Но тут же спешила назад – к музыке, книгам, к любимому. А ведь знала, что увидеть ее – радость для вечно больной, вечно лежащей, вечно битой женщины.

В детстве Параше любить мать было легко. В детстве у каждого мать – защита. Первый и единственный в жизни блаженный покой, укачивающий, убаюкивающий, может дать только она. И не требуется никаких усилий, чтобы стремиться к родимой каждую минуту.

Но с годами первая человеческая связь ослабевает, иные люди занимают место в душе. И не может простая, забытая женщина стать на такую высоту, чтобы по-прежнему все мысли были о ней, все тропки вели к ней. Почти всякая дочь обгоняет женщину, родившую ее. Достаточно представить себе генеалогическое древо человечества, чтобы увидеть: каждое поколение старше предыдущего на целый ярус ветвей. Параша слишком явно подтверждала это правило. Знания, опыт любви, талант увели ее далеко-далеко, высоко-высоко от Варвары.

Редкая дочь не выполняет дочерний долг совсем: не выполнить его – чудовищно. Но в полную меру рассчитывается за все лишь та, что умеет в годы прощания переплавить свою детскую любовь в иную, в ту, что сродни материнской любви к собственному ребенку. Мудрость эта живет в поговорках:

«Что стар, что мал – все одно», «Так стара стала матушка, что и в детство впала».

Сейчас, когда ее собственная жизнь закруглялась, сворачивалась, Параша по-новому оценивала многие события. Терзала мысль: надо было сидеть у постели умирающей, надо было ухаживать за ней, надо было делиться не только рублями, но и лаской. Она сильнее, значит, как бы и старше. Навещать надо было. Надо было отказаться от юношеской клятвы не появляться в Кускове.

Любовь к Николаю Петровичу многое исказила в ее жизни, и вот теперь к прежним грехам прибавилось это чувство вины.

Параша выпрашивала у Афанасия, как и кто бывал с матушкой в последние дни. Соседке, ухаживавшей за больной и положившей неподвижную Варвару на просяные подушки, помогающие от пролежней, она переслала в подарок такую сумму, которой та отродясь в руках не держала.

В черные эти дни Параша много думала, как сложилась бы ее судьба, не попади она в барский дом. Где она своя? Здесь? Или там, где умерла ее мать?

Но следующий удар был еще сильнее, потому что его не ждали. Вслед за матушкой ушла в могилу Матреша. Матреша, такая молодая, такая цветущая, с низким прекрасным голосом, гибким телом, созданным для движения, для танцев. И руки у нее были сильными, умелыми.

Нельзя сказать, что их связывала духовная близость, но

Матреша вместе с Парашей пришла в другую жизнь из прошлой. На сцене они составляли дивный дуэт. А после, когда Параша болела, за ней, кроме Тани, ухаживала младшая сестра.

Матреша заболела сразу после родов. Жар, кашель, горловое кровотечение. Белизна лица, так отличавшая ее от старшей сестры, обернулась безжизненной бледностью, нос заострился. Стало ясно, как плохо ее дело.

Параша кинулась к графу.

Николай Петрович повел себя как супруг. Словно о близкой родственнице, заботился он о Матреше в те трудные дни. Приказал управляющему каждый день доставлять роженице по бутылке полпива, что было вовсе не дешево. А когда и это средство не помогло и молока не прибавилось, велел найти кормилицу.

Матрену лечили самые дорогие доктора, но чахотка все разгоралась и разгоралась. Когда же Матрена отошла, хоронили ее с пышностью, невиданной для крепостной. И на соколовины, и на поминальную службу граф дал большие деньги.

Чахотка свирепствовала в тот год. Около месяца просидела Параша у постели кашлявшей кровью Сашеньки. Ушла сестра... Ушел и несчастный Яков, не знавший, что такое здоровье.

Страшны дни печали. Граф был в отчаянии.

– Не много ли гробов? Я, как Иов, вопрошаю: за что, Гос-

поди? Пашенька, ты не знаешь, за что?

– Нет, милый.

– А я, пожалуй, знаю. Пора держать обеты, а то не успею.

Он смотрел на нее, сидевшую у окна. Худа, синяки под глазами, а на щеках – страшные розы. Закашлялась. Глянула на платок. Миновало. «Пока», – сжалось у него сердце.

Шереметеву нравилось играть роль супруга, обожающего свою жену, предугадывающего все ее желания.

Пришла в Москву депеша от кусковского дьякона Федора Христофорова: мол, кузнец Иван не возвращает ему давний денежный должок за рыбу (за какую «рыбу», каждому ясно). Другого наказал бы и заставил бы отработать, а Парашиноного отца не тронул. Деньги тут же приказал в Кусково отослать. На кузнеца прямо сыпались графские милости: и пару платья сшить, и новый деревянный дом в приличном месте для него срочно поставить.

С Ковалевыми заботы у графа были немалые, тем более что природа этого семейства не отличалась благоразумием. За одну Парашину улыбку, за хорошее ее настроение, за радостное «спасибо» готов был Николай Петрович выплачивать из своей казны Афанасию, Николаю и Михаилу деньги на еду и одежду. А младшего отрока и вовсе вместе с Парашенькой опекал постоянно. Если не мог сам держать под присмотром, то других просил.

Близкому другу своему писал, кланяясь:

«Михайлу Ковалева препоручаю под твою протекцию... До шалостей не допускать и поместить его поближе, дабы иметь его всегда в своих глазах, что мне будет очень приятно. А как он будет себя вести, о том меня уведомлять...»

О крепостном мальчишке болела голова у знатного вельможи... Но так и не решался он поставить последнюю точку стать мужем Параши перед Богом.

Он знал, как это для нее важно.

«Дальше тянуть некуда», – говорил он себе каждый день. И каждый день откладывал на завтра. Где взять сил? Храбрости? Хоть бы она настояла, подтолкнула. Нет, ничего не требует кроткая Пашенька.

Николай Петрович отправился к митрополиту Платону, своему духовному наставнику и другу. Благословение на брак владыка дал тут же:

– Жены более достойной, чем Прасковья Ивановна, желать вам не могу. А голос... Голос божественный.

– Не поет. Чахотка в крайней степени.

– Будем молить о чуде.

– Чудо однажды произошло, когда поднялась она после полугодовой болезни. Но я, как Орфей, снова вверг ее в ад по собственной слабости.

– Вас терзает вина?

– И вина тоже. Но мне... Мне хочется доказать свою любовь той, которая одна в этом мире любит меня бесконеч-

но и бескорыстно. Снять с нее грех прелюбодеяния, для нее непосильный. Представить ее перед Господом своею женой.

– Любовь и сострадание – одно. Вы любите ее истинно. Женитесь. Удары счастья многих поднимали со смертного ложа. Однако свет... Император Павел... Если бы я в силах был ему советовать... Но на монарха имеет влияние католический орден, патер Губер, православная же церковь для него – не авторитет. Вы же с Прасковьей Ивановной имеете православное чувство с его глубинами самопожертвования. Вас не поймут.

Митрополит задумался. И вдруг в его облике появилось что-то озорное. Это совершенно не сочеталось с его торжественными церковными одеждами! Николай Петрович знал его и таким, почти светским. Именно в подобные минуты бывал он особенно мудрым, милым, доступным.

– Будьте осторожны, Николай Петрович. И за меньшие провинности, чем брак с крепостной, император ссылал дворян в Сибирь. Есть обходные пути... Они связаны с лукавством, но Бог простит ложь праведную, ложь во имя любви.

– Что сделать? Как?

В глазах владыки зажглись азартные искорки. Он трижды перекрестился:

– Я по случаю видел не раз, как жениху либо невесте подправляли родословное древо, пририсовывая побеги и обрубая ненужные ветви. Людское дело, грешное, но...

Николай Петрович благодарно приложился к пухлой хо-

ленной руке.

– Любовь долго терпит, любовь никогда не престаёт, – по-серьёзней митрополит Платон. – Я попрошу священника из прихода Симеона Столпника, что за Дехтяревым огородом. Он обвенчает вас... негромко. Побудьте супругами в этом мире. Благословляю вас ещё раз...

Из всех своих управляющих граф выбрал явного плута и казнокрада. Не глядя ему в глаза, приказал:

– Подними старые ревизские списки, а также указы о прикреплении беглых крестьян к шереметевским землям после войны. Найди предка Прасковьи Ивановны. Слыхал я от стряпчего Малиновского, что знатного шляхтича Якуба Ковалевского по ошибке в крепостную неволю записали... Из дворянина сделали крестьянина, из Ковалевского – Ковалева. Восстановить всё надо. Понял? Свяжись со стряпчим.

– Как не понять? – ответил наглый мужик. – Так точно и будет, дайте срок.

– Скоро надо.

– Денег, конечно, не жалеть?

Граф не ответил.

«Венчается раб Божий Николай с рабой Божьей Прасковьей...» Небольшая церквушка, но и она почти пуста. На одной стороне актеры и актрисы, на другой – родственники Параша.

«Имеешь ли волю благую и свободную взять себе в жены Прасковью, по отцу Ковалевскую?»

Подружки переглядываются, смотрят на Парашиного отца. Изумрудова не сдержала зависти:

– Гра-а-финя, госпожа Ковалевская. Да батька ее Ковалев, потому как и сам деревенский коваль, и дед кузнецом был. А она, его дочь, – дворянка? Ха-ха, отчего не спешат поздравлять родственнички, Долгорукие и Разумовские?

– Тише, Анна.

Не унимается:

– Пигалица, а своего добиласть-таки.

Шлыкова обрывает ее:

– Брось, Анна. Чего добиласть-то? У аналоя на ладан дышит.

– Будто другие барина не тешили. Чем эта лучше? Даже платья себе не заказала. Уж я бы на ее месте...

– Она не ты, это верно. И ты – не она...

Шепотом, но говорят, говорят подружки.

– Ох, Анька! У Парашеньки одна корысть: предстать перед Господом женой – не полюбовницей. Душа у нее богобоязненная.

– Смотри, смотри, священник венцы путает. Кольцами обменялись. Супруги теперь...

У выхода из церкви ребяташки, Парашины ученики, громко и радостно закричали:

– Карету! Карету Прасковье Ивановне! Графине!

Граф не сдержал внезапного испуга:

– Да тише вы!

И чтобы замаять неловкость, приказал одарить всех леденцами.

Ни шума не хотел граф, ни свадебного торжества. А все же печально возвращаться во дворец, где все буднично, будто ничего и не произошло в его жизни.

Передал Параше шкатулку с фамильными драгоценностями:

– Твои. Теперь твои по праву. Не откажешься?

Молча взяла. Молча и благодарно его поцеловала.

– Почту, – потребовал граф у дворецкого.

На серебряном подносе лежало одно-единственное письмо. Но какое!

– Парашенька, прочти...

Она прочла сначала про себя, после вслух, радостно на него взглядывая после каждой фразы. Последние строки повторила: «Ни о чем столько Бога не молю, сколько о том, чтобы Бог благословил род ваш, дабы имя его, которое есть знаменито, всегда бы таковым оставалось.

Графине Прасковье Ивановне посылаю благословение и благодарение.

Митрополит Платон».

– Ну... Это все. Щербатов был шафером. Куракин, видно, не поспел. Остальные...

– От остальных мы и не ждали поздравлений, милый. Но это... Я так счастлива!

Подбежала к нему, подхватив длинную фату, попыталась закружить, напевая вальс Мартини. Повторила в такт:

– Графине. Благословение. Род ваш, племя его. Я хочу петь!

– Девочка моя... Лекарь запретил...

Параша остановилась, застыла на месте как вкопанная.

– Совсем? Мне? Мне – не петь? Ах да... Нельзя столько счастья сразу. Но это ненадолго?

Что мог он ей ответить? Кивнул ободряюще – да, все пройдет.

Она закашлялась и посмотрела на платок. Смотреть на платок уже стало привычкой.

Ничего не изменилось после свадьбы... и изменилось все.

Параша по-прежнему не появлялась с графом в свете, жила на дальней половине дворца. Читала, вышивала, играла на лютне, проводила время с близкими друзьями, но делала это с таким покоем в душе, которого не знала никогда прежде. И потому постепенно затягивались раны, нанесенные уходящим високосным годом, возвращалось здоровье. Кашель стал редким, а кровохарканье и вовсе прекратилось, чему счастлив был больше всех Николай Петрович. Господь таким образом одобрил его брак.

Став графиней, Параша похорошела, слегка округлилась и расцвела во второй своей молодости зрелой одухотворенной красотой. Отбросив манерные громоздкие фижмы и каблуки, она раньше других почувствовала прелесть нарядов в стиле несчастной Марии-Антуанетты, казненной королевы Франции. Платье, естественное и не стесняющее движений, как тупика, легкие башмачки – все это выявляло природную пластичность Параша, усиленную актерской профессией.

Единственное, о чем она теперь страстно мечтала – петь. Врачи категорически запретили ей участвовать в долгих спектаклях – нет, никогда. Оставили надежду лишь на отдельные номера, отложив и это на неопределенное время. «Когда-нибудь...» За этим, как она боялась, стояло «нико-

гда», не сказанное из жалости.

И все-таки это «когда-нибудь» стало реальностью по случаю, по капризу столь нелюбимого ею монарха.

Смущенный и раздосадованный Николай Петрович однажды показал ей письмо императора. Тот сообщал, что к марту собирается вместе с двором перебраться в новый дворец, который уже наречен в молве Михайловским замком, и надеется видеть своего друга юности среди гостей на царственном новоселье.

– Надо ехать. Воспользуюсь приятным поводом объявить Павлу о нашем союзе, пока не опередили злокозненные сплетники.

Параша почувствовала: страх перед высочайшим гневом заставляет графа откликнуться на приглашение, и стала собираться.

Зима была не просто холодной, а пронзительной, ветреной, злой. Печурка, которую топили в карете, почти не помогала, меховые полости не спасали от сквозняков. Ночевали на постоянных дворах, иногда в имениях знакомых графа. В чужих покоях спалось плохо, и доктор волновался за Прасковью Ивановну, напоминая, что переутомляться и простужаться нельзя и вообще петербургский климат плохо влияет на слабую грудь.

Но, как ни странно, Параше и это тяжелое путешествие пошло на пользу. Она сама говорила, что «продышалась»

и закалилась на холоде. Днем в карете она то задремывала, то сонно смотрела на заснеженные поля. Усталость и напряжение прежних лет отходили. Граф решил собрать близких друзей и показать ее сначала им, а после, если все пройдет хорошо, то салон может посетить и Павел. Это будет самым удобным поводом представить супругу. Перед отъездом из Москвы спросил, что она будет петь.

– Решу в пути, время будет.

И впрямь, что в уме проносилось: хороша эта ария... Нет, лучше романс... Мгновенно вскидывалась, судорожно вспоминая, взяла ли она невесомые восточные шелка и цыганские юбки, которые когда-то сама шила для домашних концертов. Взяла, точно взяла.

Какое счастье ей предстоит – петь!

В Фонтанном доме она впервые взяла на себя роль хозяйки и встречала гостей. Салон собрал старых знакомых. Добрый Щербатов, битый жизнью и потерявший былой лоск, Куракин с недавно овдовевшей своей сестрой Элизой, архитекторы Кваренги, Гонзаго, Баженов, Аргунов, ставший известным и модным художником. Поприветствовала, рассадила, а сама в костюмерную.

Приложила к лицу цветастую русскую шаль. Нет, не то. Вот оно, то, что пойдет более всего – облако переливающихся турецких шелков. Тюрбан, подчеркнутый плавную и трогательную линию шеи, шальвары, суженные у тонких

лодыжек, золотые туфельки на крохотных ножках. Крутанулась перед зеркалом – засверкали глаза, заискрились ткани. Изумленно смотрит на нее Изумрудова, которую Параша взяла вместе со Шлыковой в Петербург.

– Ой, Прасковья, ты и вправду красивая. Не замечала я этого раньше.

Вскинула Параша голову, засияла глазами, вышла в салон. А как вышла! Восточные сладострастные движения, легкие шажки (касается ли земли?). Мужчины, что сидели на задних рядах, привстали с кресел, да и ближайшие невольно потянулись к одалиске – хороша! Соблазнительна! Обвела всех глазами и запела.

Мы друг друга любим, что ж нам в том с тобою.
Любим и страдаем всякий час,
Боремся напрасно мы с своей судьбою,
Нет на свете радостей для нас.

Вздвогнул Аргунов. Голос, как всегда, поражал, был неожиданно сильным, низким. Голос тягучий и сладкий, как мед. А певица уже ведет мелодию в другом регистре. Высокий, полный света голос волновал его.

Зрю ль тебя, не зрю ли, равну грусть имею,
Равное мучение терплю;
Уж казать и взором я тебе не смею,
Ах! и воздыханием, как люблю.

Не будет его любить та прекрасная женщина никогда. Оглянулся Аргунов. Как любитесь ею Шереметев! Сколько в его взгляде всякого – и желанья, и гордости за нее тоже. Как, однако, смотрит на Пашеньку лучший друг графа Щербатов! А у Куракина на лице выражение околдованности. И сам он снова подпал под ее чары. Когда она в ударе, все женщины меркнут.

Гости разошлись, а граф и графиня еще долго переживали выпавший на долю Параша успех. И впервые за последние годы была у них прекрасная беспечальная ночь любви – пылкая, молодая, освещенная надеждой на прочное долгое счастье.

В следующий вечер граф отправился на семейный ужин к Павлу в Михайловский замок. Странное он вынес впечатление о новом жилище: сыро, мрачно, похоже скорее на военное укрепление, чем на царский дворец. А говорил Павел за ужином невесть что. Пугал старых друзей, Нелидову, Панина, предполагал заговоры против себя и пророчил себе скорую смерть. И тут же заявлял, что чувствует себя в полной безопасности в новом своем жилище.

Граф вернулся в тот вечер не поздно. Новый дворец императора и Фонтанный дом расположены рядом – даже не сел в карету Николай Петрович. Шел он по Петербургу, едва освещенному луной, и думал о судьбе несчастного своего

царственного друга и о своей собственной.

Только что перечитал он внимательно переписку своего деда Бориса Петровича Шереметева с Петром Великим. Батюшка издал ее в конце своей жизни, не изменив нигде ни орфографии, ни смысла посланий. И вот оказалось: не все гладко было между двумя великими государственными мужами. Даже письма позволяли судить об этом, а в жизни все складывалось наверняка еще более трудно. И все-таки... какое, однако, счастье, когда слава служения отечеству доступна человеку и это служение отвечает состоянию души его, когда монарх ему люб.

Графу не везло с правителями. Сначала матушка-царица, провозглашавшая высокие слова и потакающая своим разнузданным инстинктам. После Павел. Принципы его прекрасны, под ними граф готов был подписаться и сам. Они вдвоем пришли в юности к этим принципам. Но вот в жизни царь следует не духу, а букве закона, все превратил в муштру. Где уважение к Богу в человеке? Никому нет доверия, все каприз, все случай.

Утром граф вбежал в покои Параша.

– Душа моя! Как страшно! Павла нет.

– Что с ним?

Понизил голос, сообщил почти на ухо:

– Говорят, задушен в своем неприступном Михайловском замке теми, кто должен был его охранять. Называют генерал-губернатора Палена. И еще... Александра. Объявлена

причина смерти – от разрыва сердца. Но на лице следы ударов. Истину не удушишь.

Параша закрыла лицо руками:

– Господи! Сын – отца... Жизнь может отнять лишь тот, кто ее даровал. Какой грех! Как много чудовищного рядом с властью!

– Вчера мы вспоминали молодость. Я хотел открыться, рассказать о венчании. Почему я не сделал этого?

– Теперь он знает.

– Да. Помолимся за душу новопреставленного раба Божьего, Пашенька.

Внезапная страшная смерть Павла вновь вернула их к недавним тяжелым потерям, продолжила ряд этих потерь и завершила один из этапов существования. Прощайте, надежды, явилась суровая истина: все хорошее, бездумно-счастливое позади. И то, что казалось мукою – метания между чувством и долгом, грехом и браком, – и было настоящим человеческим счастьем и смыслом их жизни. Такой короткой, такой быстрой.

В одну из долгих бессонных ночей Параша вдруг отчетливо поняла, что ей еще выпало больше света, чем другим. Вершинную полноту бытия она познала благодаря сцене и любви. Ее актерская и женская судьба были так сплавлены предельным напряжением всех сил, что при взгляде в прошлое оказались неразделимы. Яркая вспышка. Все осталь-

ное – юдоль печали. Она оглядывалась...

Беспросветная тоска родительского существования... Так и не пробившееся к жизни чахлое детство Саши и Яши... Мучительная слепота умирающей Марфы Михайловны Долгорукой...

Перед Парашиным взором всегда была миниатюра, написанная крепостным художником Андреем Черным: Марфа Михайловна и рядом она сама с гитарой – десятилетняя девочка, мечтательная и смешная. Куда она делась, та девочка? Была ли? Той Марфы Михайловны, полной, смешливой дамы, не разглядеть в нынешней высохшей, легкой как перышко старушке. После смерти матери Параша стала внимательней к Марфе Михайловне и много времени проводила у постели своей наставницы.

– Дочка, дай руку, – часто просила та. – Спасибо, ты выполнила свое обещание и не забыла старуху.

Но особенно больно ранили Парашу вдруг проглянувшие приметы старости в любимом. Усталая сгорбленность графа, очутившегося никому не нужным на переломе эпох, ушедшей – Павла, грядущей – Александра, видна каждому.

И еще крестьянские дети, неприкаянные актеры и актрисы... Театр бездействует, былых певцов и танцоров сделали швейцарами, женщин выдали замуж в деревни. Не позавидуешь им, но что делать, не в силах она заниматься театром...

Все близкие, все встреченные на пути прошли перед мысленным взором трагической чередой.

И вспомнила она себя и графа молодыми, полными сил, желания любить, петь, дарить миру музыку, делать добро. Странная, нереальная преграда, запрещавшая им строить дом и обихаживать его, дала в итоге сегодняшнее «поздно». Сколько сил, сколько времени потрачено попусту!

Поздно.

Как сделать так, чтобы другие успели?

В конце марта, вскоре после смерти Павла, она составила завещание. Была в нем особая просьба к графу: заложенный дворец в Садах выстроить не для светских забав, а как странноприимный дом. Всех больных, убогих, сломанных жизнью собирать под его крышу, кормить даром. Ста ее певицам в год, когда их свадьба могла бы расстроиться из-за бедности, давать приданое.

Еще просила супруга самым талантливым художникам и актерам дать волю.

Параша знала: счастье к сроку – это такой огромный запас добра, которого хватит на многое.

Весь 1801-й год граф и графиня зализывали раны своих потерь. Спешили отдать долги, которые еще можно было отдать близким. Параша приводила в порядок дела и совесть, будто готовилась предстать перед Всевышним. Она торопилась.

Но в мае, во вторую свою петербургскую весну, когда здешние липы покрылись нежной зеленью, Параша против

всех ожиданий вдруг ожила. Вихрем носилась она по дворцовым покоем, думая, как лучше привести северный дом, такой огромный, такой прекрасный, в полный порядок. Граф с удивлением слышал ее поющей для себя – от удовольствия петь и видеть солнце за окном. Да и его она тормозила, призывая к делам и переменам. Заказывала для него сюртуки и камзолы, выписывала ему из Парижа шляпы и перчатки. В жаркий июльский день, когда он, тоскуя без дела, бродил по дворцовым покоем, подкралась бесшумно сзади.

– Ваше сиятельство, – дернула за косицу. – Пора стричься. Во всем Петербурге вы один не выполнили распоряжения государя. Скоро год, как было оно отдано. Ну-ка, Николай Петрович, присядьте перед этим вот зеркалом.

Тут же «совсем случайно» оказался и графский цирюльник. Попросила его:

– По последней моде, пожалуйста.

Куда там! Ближе к старости взрывное начало в натуре Шереметева стало проявляться то и дело. Не поймешь сразу, обида ли, гнев ли на его лице – смотрел граф на себя в зеркало с плачущим выражением несколько секунд, а после вдруг в полный голос стал кричать:

– Во-о-н! Не хочу! Не буду! Почему я в свои пятьдесят лет должен стричься, как мальчишка. К своей косице я привык!

Крепостного куафера словно ветром сдуло в соседнюю комнату, за штору. Николай Петрович юродствовал, приблизив покрасневшее лицо близко к зеркалу:

– «Император Александр Павлович рекомендуют», – передразнивал он кого-то. – Он в свои двадцать лет – мне?! Юный наглец, отцеубийца...

Граф продолжал бы и дальше, если бы в зеркале рядом с его раздраженной физиономией не появилось безмятежное, улыбающееся лицо Параша. Гнев улегся мгновенно, теперь настало время пожаловаться.

– Парашенька! Разве я не могу сам по себе? Я отошел от двора, я привык к своей дурацкой косе, понимаешь?

Параша в зеркале хохотала.

– Я давно знаю, что все мы не принадлежим себе.

Взяла ножницы и подошла вплотную.

– Сидите тихо.

– Я подал в отставку давно, еще при Павле, теперь выйду из Сената... не надо стричься.

– Нашла коса на камень, – Параша снова потянула графа за косицу. – Ни в коем разе, ваше сиятельство! Род Шереметевых сверкал, сверкает и будет сверкать в короне России! Быть в Сенате вы просто обязаны... Ради вашего наследника.

Параша отхватила косу, пока граф пытался выразить свое потрясение жестами.

– Как – ты...

– Да, Господь послал... помните, я обещала вам сына?

– А лекарь, Пашенька, что говорит? Можно?

– Много ли мне терять? Вы засиделись в Фонтанном. В августе Александр будет в Москве. Покажем ему Останки-

но во всем блеске. Встретить постараемся не хуже, чем Павла, расскажем заодно о наших планах построить благотворительную больницу – дворец. Обществу пора повернуться к бедным, не все же купаться в роскоши, не думая о погибающих в нищете. А мы... мы задобрим судьбу – за счастливые нынешние дни ведь придется платить. Так же, как за былые прегрешения.

– Только ради тебя. Не лежит у меня душа к новому монарху.

– Теперь нам иногда надо заставлять себя быть почти-тельными. Есть для чего стараться. Рожать я вернусь сюда, в Фонтанный, этот дом я люблю более прочих. Да и лучшие доктора в этой столице.

Чуть отклонившись, она смотрела на графа, оценивая свою работу.

– Вот вы мне снова напомнили одного юношу времен Катерины Великой... Юношу с мягкими локонами, высокой и сильной шеей. Я его очень люблю, – и она поцеловала супруга в щеку.

Когда в дверь заглянул цирюльник, Параша мягко попросила его:

– Исправьте мои огрехи.

Граф сидел в кресле, как послушный школяр. Падали на пол седые пряди.

Александра Павловича загородный дворец Шереметевых

в Останкине привел в восторг. Как и польский король Понятовский, новый российский монарх приравнивал его к Версалию и считал украшением земли русской. И в заслугу государственного значения возвел он и начало строительства Сухаревского странноприимного дома, прилюдно обласкав стареющего вельможу из самого знатного графского рода.

Возводить дворцы для себя и своих потомков в обычае у богатых людей. А вот так щедро делать добро другим людям может не каждый. На проекте Кваренги дом в Садах свободно раскинул два крыла, словно вбирая в образовавшийся полукруг несчастных, обнимая попавших в беду. Домашняя церковь, больничные палаты предназначались не для людей состоятельных, а для нищих. Царь не скупился на похвалу.

Николай Петрович вострепнулся душой, была довольна и Прасковья Ивановна, в празднествах не участвовавшая по причине нового своего положения и нежелания выдвигаться из привычной тени на территорию освещенную, но таящую немалое число неожиданных опасностей. Рисковать было не время, она носила в себе такое дорогое – новую жизнь.

После останкинской эпопеи она знала: даже одна простая и зримая цель – скажем, строительство нового дома – может поддержать человека в трудный момент. У нее и у графа было два маяка. Один они сами себе поставили, начав строить приют для убогих, больных, престарелых страдальцев. Вторым наградила их Господь – грядущим на землю наследником.

Полнота и ясность бытия всегда прибавляли Прасковье Ивановне не только душевных, но и физических сил. Она решила, что по дороге в Петербург сможет совершить паломничество к любимому своему святому, который, как она была убеждена, помог ей выжить и вымолил ей у Господа прощение. Как ни отговаривали ее врачи и Николай Петрович, Параша была непреклонна: к мощам Димитрия Ростовского до родов она приложится, чего бы ей это ни стоило. Всю дорогу от Ростова до Ярославля она пройдет пешком, как некогда это сделал перед своей кончиной святитель Димитрий.

Позади остались толстые монастырские стены Ростова Великого, впереди до самого горизонта расстилалось сжатое поле, перерезанное проселочной дорогой. Прасковья Ивановна и Таня выглядели неприметными богомолками: с котомками, в простой темной одежде, в платках, низко повязанных на лоб, как у тех странниц, которые когда-то заходили в Кускове в дом Ковалевых. Те лица графиня Шереметева вспомнила так отчетливо, будто только вчера видела. Только себя она не могла представить маленькой девочкой, что ставила для них на стол молоко или борщ.

Попрощались с монашкой, вышедшей проводить знатную даму, поставить на путь. Параша вдруг неожиданно для себя сказала:

– Я тоже однажды хотела Христовой невестой быть. Неужто без сомнений ушли от мира? Такая красавица...

Девушка, смотревшая на нее огромными жгучими глазами, и впрямь была хороша, и не иконной, а плотской, яркой красой.

– Отчего же без сомнений. Суженый у меня был. Обручились мы тайно. А матушка женила его на другой. Бесприданница я...

– И?..

– Отошло это. Здесь хорошо мне.

– Да-да, счастливая, – улыбнулась Прасковья Ивановна. – А... одно могу предъявить оправдание грехов своих. Вот... – дотронулась до большого живота.

– Господь поможет. Сыночка вам, – поклонилась в землю монашка. – Мы с сестрами за вас Бога молить будем.

...Две женские фигуры удалились в простор неба и земли, в рассвет.

И вовсе не трудно идти, если размышлять о своем. Параша думает: какая верная мысль пришла ей при составлении завещания – давать приданое несчастным невестам. И еще думает о том, что любой путь человека на земле хорош, если принять его со смирением.

Вошли они в небольшую деревеньку. Перекликались не первые и не вторые, а уже третьи, наверное, петухи, потому что солнце поднялось высоко. Не похоже на Кусково, на то село, в котором начиналась ее жизнь, а все же и похоже. У колодца стояла тоненькая девушка в праздничном алом са-

рафане. Она зачерпнула ковшом воду из ведра и подала им напиток. Ласково смотрели на женщин ее голубые глаза. И было это тоже как будто уже виденное когда-то.

Чуть вышли из села, обогнала их тройка с нарядными девушками и парнями. Ряженые. Шум, крики, гармошка. Время осенних свадеб. Еще мимо них телега.

– Куда? – спросили.

Ответили им:

– На ярмарку. Как-никак послезавтра Крестовоздвижение. Великий праздник.

Устала Прасковья Ивановна, задыхается, пот со лба градом.

– Присядем, Пашенька, – предлагает Таня.

– Еще немного, и то... сядем. Расшалился он там, – улыбаясь, погладила живот. – Бьет ножками, есть просит.

Уселись они на обочине, вынули из котомок хлеб и соль. В небе пролетел косяк диких гусей, прощально курлыкая.

– Таня, – сказала Параша, – все это со мной словно уже было, словно забыла я все и вот снова вспомнила. Матушка моя покойная из этих мест, с Ярославщины родом, до Кускова здесь где-то жила. Она мне первая и про святителя Димитрия рассказала. Это после мы с Николаем Петровичем все его замечательные сочинения читали и восхищались. Еще после, в той страшной моей болезни, он мне защитником явился и пообещал, что сыночка я графу рожу. Как только

решила к мощам пойти, так совсем кашлять перестала. Не чудо ли поможет мне в родах, как думаешь, мой заступник перед Господом?

– Чудо, Пашенька, чудо. И обязательно поможет, – убежденно сказала Таня.

– Сыночка я в честь святого Димитрием назову. Посмотри, что делает, – взяла руку Тани и приложила к своему животу. Обе засмеялись: непоседа.

И дальше побрели по дороге подруги. Не останавливались, пока не встретились им две лошадки с телегой. В телеге были навалены кули, рогожи, тряпье. На всем этом лежал мальчишка лет десяти, а правил мужик средних лет.

– Эй, бабоньки! Полезайте в телегу, свернем в село, а то засветло пешком до другого села не успеете.

Шлыкова легко вскочила, а Прасковью Ивановну мужик бережно посадил.

– Куда такую несет. Разродилась бы сначала... Небось мужа нет, беречь тебя некому.

«Мужу-то и в голову не придет, что она не в карете, без лекаря, – подумала Таня. – Из Москвы выезжала с обозом в двадцать шесть человек, а в Ростове всем велела отправляться в Ярославль и там ее ждать».

Ночевать остались в избе, очень похожей на ту, в которой начиналась жизнь Прасковьи Ивановны. В углу икона Божьей Матери с лампадкой, чадящая лучина, с печки све-

шиваются две детских головки, а на широкой постели еще трое ребятишек. На столе жбан с брагой, свежепосоленные огурцы.

– Выпей, – упрашивал мужик Таню. – Тебе (это уже Параше) не надо.

И потек его полупьяный, но складный рассказ.

– Как умерла моя Настена, все на меня обрушилось. Три дня на барина пашу, три дня плотничаю ради живой копейки. Воскресный день – грех на себя беру – варю им, мою, стираю, еще огород. Оплакать любезную некогда было. Собрал денег корову купить, поехали с Федькой на ярмарку в Ярославль. И того надо, и другого. Ситцу на штаны старшему набрал, валенки на зиму хоть две пары на всех, полголовы сахару. Глянул, на коровку уже и не хватает. С горя купил им сластей.

Повернулся к печи.

– Эй, малышня!

Дети все сразу обступили его, расхватывая пряники. Через их головы обратился к гостьям:

– Настя все рассчитала бы, с коровкой бы вернулись.

В этот миг он сам казался беспомощным, как дитя малое.

Параша неожиданно зашлась в кашле.

– Никак недужная? – мужик смотрел на нее не отрываясь.

И предложил неожиданно: – А ты оставайся здесь... Привык я ходить за Настей, вроде чего-то не хватает. Дети у меня тихие. Твой родится крикун. Где пять, там и шесть... Не обижу.

Переглянулись подруги, улыбнулись друг другу и мужику.
– А я не подхожу? – спросила Таня.

– Таковую не удержишь, – улыбнулся по-доброму и мужик. –

У нее же привязь будет – младенец.

– Спасибо, – от души тронутая внезапной теплотой, поблагодарила Параша.

– Ну и почивать пора. Эй, мелюзга, на печку, – смахнул мужик детишек с кровати. – Я в сарай, а вы вот постелите рядом чистое.

Долго в ту ночь не спала Параша. В полудреме путались времена, и казалось ей, что на печи во сне разговаривают братцы, а рядом дышит любимая матушка. После вдруг удивлялась она причудливости своей судьбы, начавшейся в самом низу, в дымной избе, и взошедшей ко дворцам. А после снова начинала она проживать жизнь сначала, боясь заглянуть в близкое будущее.

На рассвете перед уходом Параша положила вышитый бисером кошелек, полный денег, на столик перед иконой. «На корову и на сладости».

Тихо, чтобы не разбудить детей, женщины вышли из хаты.

Ох, каким большим, каким шумным городом кажется Ярославль после долгого путешествия от деревеньки к лесочку, от колодца до родника, от березы до дальней осины.

Направо увечные, налево нищие... Сквозь строй несчастных шла Прасковья Ивановна, графиня Шереметева, щедро

раздавая деньги. В храм вошла, перекрестилась, шагнула и... Она еще слышала любимое «Да исполнится молитва моя» из литургии Иоанна Златоуста, и казалось ей, что это ее голос наполняет далекий купол. И приближаются к ней в медленном кружении церковные росписи, все про мальчиков, про сыновей. Рождение сына у самаритянки, купание мальчика в Иордане, жатва и дети, дети. Простые, ясные картины крестьянской жизни, которой она должна была жить и из которой ушла. Плохо, что ушла? Или так было надо? Изображения удаляются, но их кружение ускоряется. И бьются, бьются о купол снаружи птицы-души, горько плачут и громко ликуют.

Последнее, что она еще слышала: «Держите, плохо ей!»

Металась по церкви Таня, всем объясняла:

– Графиня Шереметева это. Лекаря! Бегите на постоянный двор, там карета. Быстрее карету!

А из открытых дверей храма с нарастающей силой повторялось: «Да исполнится молитва моя...»

Очнулась она в карете, мчавшейся в Петербург с необычайной скоростью.

– К мощам святого Димитрия так и не приложилась...

Плохо это...

Таня Шлыкова пыталась разубедить:

– С небес святителю Димитрию все видно. Там судят по намерениям. А обморок... В таком положении случается.

Слегка покачала Параша головой – нет, мол, нехорошо все. Плохая примета: хоть несколько шагов, а не дошла.

Странная это была мысль – писать портрет с беременной Параша. Что двигало графом? Хотел ли он выразить свою радость, запечатлеть ожидание долгожданного мига? Или, напротив, подспудная тревога диктовала: останови мгновение? Житейски он объяснил все просто: портрет отвлечет Прасковью Ивановну от мыслей о скором испытании.

Каждое утро приходил в Фонтанный дом известный академик Николай Аргунов, каждое утро просил графиню позировать. И говорили они обо всем часами.

Параша рассказывала о своем паломничестве к мощам святого, о невольном возвращении мыслями в крестьянское детство. На сей раз она охотно открывала душу, полную предчувствий, тревог и вопросов. Верит ли Николай Иванович, что святой Димитрий общается с ней в духе? Аргунов верил.

– Когда-то он защитил меня в тяжелой болезни. Поможет ли теперь?

Ему хотелось поддержать ее, и он отвечал утвердительно. Но не было убедительности в его словах, потому что избавиться от сомнений он не мог. Беременная Параша тяжело опиралась на ручку кресла, даже когда сидела. Затрудненное дыхание, бледность, отеки и бисеринки пота на лбу, выдающие дурноту... День ото дня ему все труднее было убеж-

дать ее в благополучном исходе. И с каждым днем нарастало в нем глухое раздражение против аристократов – хозяев жизни, державших эту прекрасную женщину годами в запредельном напряжении. Он смотрел на нее – постаревшую, измученную болезнями, малоподвижную, и видел прежнюю – юную, словно летящую по сцене и вместе с дивным голосом парящую над землей.

– Николушка – позволишь мне хоть сейчас называть тебя так? – сегодня дашь мне взглянуть на портрет?

– Графиня...

– Опять за свое? Ну какая я графиня? Так покажешь?

– В другой раз, Пашенька.

В Параше сквозь возраст и беременность вдруг проглянуло прежнее молодое, девчоночье, озорное. Она стремительно сделала несколько шагов к мольберту и... отшатнулась.

– А-а-а!

На этом портрете, как и на всех предыдущих, она была нарисована вполоборота. Но на тех была передана легкость ее фигуры, а на сей раз – тяжесть, оцепенение. Она была просто пригвождена к месту, обезображена огромным грушевидным животом. Черно-красно-зеленые полосы халата, который выбрал для сеансов Аргунов, только подчеркивали непропорциональность тела. Такая беременность несет в себе не жизнь, а смерть. Ничего от Мадонны, которой хотел ее видеть граф. Лицо отекающее, потухшими перегоревшими глазами смотрящее уже отсюда. Развились кольца волос, рас-

прямилась, прилипли к влажному лбу. Все! Смерть!

Это конец.

Параша с трудом опустилась в кресло, вытерла платком лоб. Еле выговорила:

– Я-то думала, граф затеял сеансы, чтобы мне скоротать время до родов... Это знак... Чтобы готовиться...

– Я не польстил тебе, Пашенька...

– Это уж точно, Николушка.

Встала с его помощью, подошла к зеркалу.

– Почему не польстил? Здесь, – кивнула в сторону зеркальной глубины, – я лучше, чем на твоём портрете.

Подошла еще ближе к стеклу, вплотную.

– Нет, не лучше. Ты всегда приукрашивал меня, а нынче?..

Аргунов стоял у портрета молча, с опущенной головой.

– Ну пиши, дописывай.

– Если вам не нравится...

– Нет-нет, – оборвала она Аргунова и вдруг закашлялась, придерживая живот руками. – Значит, стал ты настоящим художником, коли соврать не можешь. Я когда пела, случилось такое – будто не по своей воле. И увидел ты то, на что я смотреть боялась.

Снова подошла к портрету, медленно, неохотно.

– Лучше лекаря мне все рассказал, нагадал лучше цыганки. Но ты не во всем прав. Как плохо, как зло изобразил ты Николая Петровича: не живым, а статуей. Бюст на постамен-

те, но глаза живые и улыбка демоническая. Обвинение ему предъявил за меня? Не он, не он виноват... Судьба у меня такая.

– Повело меня к озлоблению, говоришь? Неудивительно. Любил я тебя, Пашенька, больше жизни. В любви же, сама знаешь, не одно добро.

– Знаю, что не одно. Как ты сказал – «любил»? В прошедшем...

– Буду любить вечно.

– И снова не в настоящем. Настоящего у меня нет, выходит...

Роды всегда ожидаются каждую минуту и все же приходят неожиданно. За две недели перед сроком Прасковья Ивановна уже не поднималась с кушетки.

В тот раз около полудня она попросила всех близких собраться возле нее. Говорила с трудом, задыхаясь.

– Перед причастием в полном сознании хочу дать последние свои распоряжения, ибо, готовясь к событию радостному, готовлюсь и к расставанию нашему.

– Что ты, что ты, Парашенька... Нет, нет, – нестройно пытались возразить ей и граф, и подруги-актрисы.

Сделала знак рукой – «тише!»

– Первые мысли о вас, любезный супруг мой. Зная вас близко и долго, убедилась, что нельзя вам впредь и малое время быть одному. Тоска и томление овладевают вами

быстрее, чем вы успеваете с ними справиться. И дабы не связывать вас в сердечном выборе пользой будущего нашего ребенка, прошу принять младенца и поднять его в нежные годы верной подруге моей Тане Шлыковой.

Граф, подайте мне шкатулку. Эти цепи, – приподнялась на подушках, пытаюсь надеть на шею тяжелые фамильные драгоценности. – После венчания они ведь мои, верно? Я приняла подарок, от которого раньше отказывалась. Прошу вас, Николай Петрович, продать их, если трудно будет восполнить урон от того, что два села прекратят платить оброк и станут работать на нищих и больных.

Изумрудова! Анна! Не много у меня сережек и колец, но эти вот все не ношены. Обручальное возьму с собой. Остальные... Выбери себе, какое понравится, и по вкусу твоему раздай остальные милым моим подругам по театру. Не плачьте, милые.

Бросилась на колени Анна:

– Виновата я перед тобою, Паша! Прости.

– Знаю. А зла не держу, теперь вовсе не держу. Бог простит.

И снова она обратилась к графу:

– Не плачьте и вы. Эта просьба покажется вам скучной, но... Когда не на что будет опереться в мире, вспомните о ней. Простое и обозримое в сроках и замыслах дело в самой тяжелой жизни подмога. Власть, слава могут предать, оно – нет. Я о странноприимном доме... Мне видеть его не судьба,

а вы достройте.

– Передохни, Парашенька...

И снова настиг Парашу жестокий приступ кашля.

Через полчаса отошли воды. Между первыми схватками она причастилась, одела на руку «обручальное» кольцо-талисман, попросила подойти любимых подружек и поцеловать ее.

– А теперь идите. Молитесь, чтобы я благополучно разрешилась от бремени... Ой! Повитуху...

Все расходились на цыпочках.

– Николай Петрович! Вы останьтесь. Дайте руку. Милый... Я боюсь...

А после началась суета, которая обычно бывает при родах. Тазы, кувшины, кипятик, простыни. Параша руками держалась за спинку кровати, с ужасом думая, что не хватит сил напрячься еще раз. В какой-то миг она потеряла сознание, вступив в мир видений, бреда и страха.

Ей привиделась длинная просека в лесу. С одной стороны огромной, страшной птицей тянется к ней одноглазый Потемкин. Манит: «Сюда, сюда, соловушка. Петь хочешь?» Она поет, но видит в самом конце просеки маленькую фигурку графа. Он жалуется на что-то, просит помощи, он погибает. Параша бежит к нему – легконогая, молодая, с крутыми завитками смоляных волос на лбу. Живые деревья хлещут ее, живую, обдавая росой и осыпая белыми лепестками цве-

тущей черемухи. Лес вдруг становится гуще, вот уже ветки держат ее, Параша с трудом преодолевает их сопротивление. Она оборачивается и видит на месте князя Таврического императора Павла с белым шарфом на шее, которым он был задушен. Вместо лица – маска смерти.

Параша с новой силой рванулась вперед, к графу, но деревья вдруг начали падать перед ней, образуя завалы. Обернулась назад – тьма. И впереди темнота. Но впереди во мгле растет точка света, и вот протягивает к ней руки мальчик, сын.

– Приблизьте его! Ближе, Николай Петрович, ближе!

Прасковья Ивановна всматривалась в младенца, который, утонув в кружевах, блаженно чмокал.

– Здоровенький? Благодарю тебя, Господи! Теперь вы не один, граф. Унесите Димитрия, – и она бессильно откинулась на подушки.

К вечеру она уже горела и задыхалась. Снова хлынула горлом кровь, заливая подушки и простыни.

В пуховом платке чуть в сторонке на бархатном канapé с прислоном лежал орущий беспомощный комочек плоти, и никто не обращал па него внимания.

«Умирает графиня...» «Пашенька умирает...» «Скончалась...» Шепот все нарастал, превращаясь в крик.

Мальчик плакал и плакал, пока не устал...

Хотя похороны графини Шереметевой были устроены ее супругом с небывалой пышностью, за гробом шло всего несколько человек. Парашу провожали ее друзья из крепостных музыкантов и актеров, оказавшихся в это время в Петербурге, подруги, с которыми она не разлучалась, братья Аргуновы. Из людей знатных только архитектор Кваренги брел за гробом. И за поминальный стол, рассчитанный на десятки людей, сели немногие. Родственники и друзья графа – в этом случае своим отсутствием – еще раз сказали покойной: «Нет, ты не наша».

И снова Николай Петрович пытался сгладить, даже свести на нет горькую несправедливость.

Похоронив любимую и Богом данную жену в Александро-Невской лавре рядом со своими родителями, он заказал две одинаковые плиты из розового мрамора с золотом – ей и себе. «Равная, наша, такая же, как я», – ответил он тем, кто обижал ее при жизни и хотел оскорбить в самой смерти.

И этого показалось ему мало. Страдая от того, что при жизни не смог он поставить свою Пашеньку на ту высоту, которой она заслуживала, стремился искупить свою вину с опозданием.

Он считал своим долгом рассказать о высоком чувстве, связывавшем его с ушедшей. Потребность прокричать всему миру о том, о чем он прежде молчал, заставляла его слать письма по всем адресам.

К Варваре, сестре не близкой, но все же родной, граф взы-

вал:

«Пожалей обо мне, истинно я вне себя. Потеря моя невозполнима».

Давних друзей Щербатовых, бывших исключением среди знати и не презиравших его за неравный брак, скорбно извещал граф:

«Зная, как вы любили покойную жену мою, долгом моим почитаю уведомить вас о совершенном моем несчастье. Пожалейте, я все потерял...»

У митрополита Платона и архимандрита Амфилохия, духовника своего, просил несчастный супруг «спасительных наставлений»:

«Душа моя весьма ослабевает».

Как за соломинку хватался Николай Петрович за каждое слово сочувствия, но душевная боль гнала его из дому, где столько счастливых дней было прожито с Парашей.

– Карету, быстрее карету, – приказывал он слуге.

Карета останавливалась перед роскошным дворцом на Невском. Шатаясь, выходил из нее старик, с трудом поднимался на крыльцо.

– Как доложить? – спрашивал дворецкий.

– Аль не узнал Шереметева? – и прямо к хозяину.

– Хочу известить вас лично, что похоронил незабвенную супругу свою Прасковью Ивановну.

– Скорблю с вами, граф.

– А я скорблю, что стеснялся ее невысокого происхожде-

ния и таил от всех свой счастливый брак. Исправляю свою ошибку перед людьми и Господом.

И вот уже у соседнего дворца останавливается карета. И вновь из нее с трудом выходит Николай Петрович, состарившийся за месяц на двадцать лет. И вновь извещает очередного аристократа о своей беде. И ничуть не волнует его, что одни осуждают неравный брак, о котором раньше не слышали, а другие вообще принимают его за сумасшедшего.

Возвращаясь к себе, граф бессмысленно бродил по комнатам дворца, на прекрасных зеркалах, покрывшихся пылью от недосмотра, писал пальцем свой вензель «НШ» и рядом другой – Парашенькин. Домашний его сюртук никто не чистил, мебель и паркет не натирали, пользуясь тем, что призывать дворню к порядку он забывал. Все приходило в запустение. И сам он опускался, не снимал по утрам с себя засаленного халата и поношенных шлепанцев.

Набродившись без цели, падал в кресло. И вздрагивал: в зеркале напротив отражался «молодой» портрет Параша. А то, что портрет виделся не прямо, а в смещении, придавало изображению неестественную подвижность.

Как он жил без нее? Как доживал отпущенные ему еще шесть лет в пустыне одиночества?

Держало его на этом свете лишь то, что оставила после себя Прасковья Ивановна – недостроенный странноприимный дом и младенец – сын.

Строительство он был обязан завершить по обету, данному покойнице, которого не выполнить просто не мог. Здесь все ясно.

Сложнее дело обстояло с маленьким Димитрием. Мгновениями граф ненавидел это неразумное существо, забравшее у него Пашеньку. От ненависти переходил к страхам, тревоге – этот орущий младенец так хрупок, а ведь он – единственное, что связывает его с ушедшей... И тогда часами сидел он возле мальчика, вглядываясь в его движения и гримасы, ловя его ускользающее сходство с матерью и задыхаясь от боли.

Кроме кормилицы к мальчику были постоянно приставлены несколько врачей, оберегавших кроху от заразы, отравы и простуды. Николаю Петровичу казалось, что корыстные родственники могут извести наследника, и он приказывал дядьке хранить Димитрия как зеницу ока. Граф назначал еще одного сторожа, еще одного. По два дюжих мужика дежурили у входа в детскую день и ночь. Ночью граф сам вскакивал не один раз, чтобы убедиться: дышит младенец.

Когда мальчик подрос, возникла новая горькая тема: нет матери, не будет и отца. Граф болел, чувствовал свой скорый конец. Он не умел заниматься ребенком, а главное, не было рядом той, что соединила бы старого с малым, придала бы их встречам смысл.

Граф звал к себе подросшего мальчика. Димитрий приходил вместе с постаревшей и располневшей Шлыковой.

– Ну, скажи «папа», – наставляла Татьяна Васильевна.

– Папа, – бесцветным голосом повторял сын.

– Поцелуй батюшку.

Мальчик целовал.

– Ну, как у тебя с музыкой? – строго спрашивал сына Николай Петрович.

За него отвечала Шлыкова:

– Мой Степан с ними целыми днями занимается. Способные они, в мать, – спохватывалась: – И в отца.

Граф хлопал в ладоши, отбивая ритм.

– Повтори.

В глазах четырехлетнего мальчика вспыхивал интерес, он повторял и просил:

– Еще так.

Но графу уже было скучно.

– Татьяна, уводи. Постой, покажи от двери.

«Похож на нее. Похож».

Нельзя сказать, что граф не пытался найти утешения в настоящем. Николай Петрович даже завел молодую любовницу, танцовку из крепостных Алену Казакову. Вздорная, скандальная, она без конца требовала подарков и без конца жаловалась на слуг и подруг. Барская барыня сыпала пощечины направо и налево и ввергала барина в мелкие ссоры. Он опускался, мельчал рядом с ней, старел на глазах и признавал это. Натягивая старый шлафрок, он закрывался от всех и всего в своем кабинете.

Вспоминал граф былое и писал письма... в будущее. По-

тому что были они адресованы не тому пятилетнему мальчику, которого он не мог долго выносить рядом с собой и от подвижности и любознательности которого уставал, а взрослому, способному на духовное общение сыну, который прочтет и поймет. Его сыну... Ее сыну...

Чаще всего он пытался донести до Димитрия образ живой матери, ее жизненные принципы.

«Я уже кончил путь суетной жизни, твой будущий жизненный путь мне неизвестен. Я испытал все возможные удовольствия и горести. Горести всегда превосходили маловременное обольщение забав и приятностей жизни...

Все люди сотворены один для другого, все они равны естественным своим происхождением и разнятся только своими качествами или поступками, добрыми или худыми...

О твоей матери. Я питал к ней чувствования самые нежные, самые страстные. Но, рассматривая сердце мое, убеждался: не одним только любострастным вожделением оно поражается, ищет, кроме красоты ее, других приятностей, услаждающих ум и душу. Видя, что сердце ищет и любви, и дружбы, приятностей и телесных, и душевных, долгое время наблюдал я свойства и качества любезной мне женщины и нашел в ней украшенный добродетелью разум, искренность, человеколюбие, постоянство, верность, нашел в ней привязанность к святой вере и усерднейшее богопочитание. Сии качества пленили меня больше, нежели красота ее, ибо

заставили поправить светское предубеждение в рассуждении знатности рода и избрать ее моею супругою».

Граф старался передать сыну весь опыт, нажитый совместно им и супругой, отлившийся в общие принципы. Его многочисленные завещания местами напоминают философские трактаты, местами – воспоминания.

«Богатство и слава, – заключал тот, кто платил за них в свое время немалую душевную цену, – есть стяжания вредные, ослепляющие ум и льстящие одним только чувствам, вовлекающие человека во всякие излишества».

Желание совершить что-либо редкое и удивительное граф называет пустым тщеславием.

«Великолепное украшение села Останкина не принесло утешения в горести. Оно не принесло мне и малой отрады, когда я лишился лучшего из друзей моих, не облегчило жестокой болезни, вскоре со мной потом приключившейся».

Граф рассказывает о том, как с годами под влиянием Прасковьи Ивановны одни ценности отходили на задний план, уступая место другим.

«Пиршества переменял я на мирные беседы с любимыми и искренними ближними; театральные зрелища уступили место созерцанию природы, дел Божьих и деяний человеческих; постыдную любовь изгнала из сердца любовь постоянная, чистосердечная, нежная, коею навеки обязан я покойной моей супруге, – словом, я обратился прямо к добродетели».

«Делай добро для добра...» Словно библейский проповедник Экклезиаст, всю жизнь свою поверив нажитой с годами мудростью, Николай Петрович по следам своей супруги приходит к этому выводу. «Душе моей было потребно лекарство надежное, спасительное... Я давно уже чувствовал тягостное состояние людей, лишенных в старости, в болезнях и нищете всякого пособия». И дальше – о решении построить странно-приимный дом, выделить на благотворительность немалые деньги.

Иногда в завещаниях граф давал волю своей печали. Смешиваясь с гневом, она рождала такие строки:

«Как сыну, так равно и всякому по нем наследнику велю чинить ежегодно поминовение по покойной супруге моей графине Прасковье Ивановне.

Кто же из них, наследников, откажется выполнить сие мое завещание, тот судиться станет со мною в страшный день пришествия Господня».

Подруга Параши Татьяна Васильевна Шлыкова, вышедшая замуж за Степана Дегтярева, не имела своих детей. Николай Петрович знал: она заменит мальчику мать. Но все остальное... Воспитание, обучение, карьера... Граф не был уверен, что родственники после его смерти будут добрыми и надежными опекунами, и потому решил просить покровительствовать мальчику самого царя, еще раз с благодарностью помянув мудрость супруги, примирившей его с новым

монархом.

Царь тут же отозвался на просьбу Шереметева принять его.

Молодой, высокий, красивый Александр вышел на встречу... глубокому старику. Он не сразу поверил, что это тот самый Шереметев, который лет пять-шесть назад так гостеприимно и так вальяжно встречал его в роскошном Останкине. Седые волосы, трясущиеся руки, глаза, полные слез. И рядом с ним – прелестный мальчик лет пяти со смуглым, южного типа лицом.

– Разрешите представить вам сына. Спешу сообщить вам, что покойная моя жена была роду незнатного. Да что там! Крепостной крестьянкой. Но лишь в ней состоял смысл всей моей жизни. Привязавшись к ней всем сердцем, я нарушил негласные установления света, и потому прошу вас, Ваше Величество, быть свидетелем: ее и мой сын Димитрий – единственный законный наследник нашего рода. Я долго не задержусь в этом мире, кроме вас, защитит мальчика некому.

Вот письмо, в котором излагаю подробно и связно свою историю, – в частности то, что в 1801 году был обвенчан в Москве в церкви Симеона Столпника на Поварской по всем священным обрядам и вступил в законный брак с Прасковьей Ивановной. Хочу подтверждения того, что сие не противно воле вашей. Одно начертанное вами слово, ваше со-

гласие признать сей брак сделает меня спокойным за судьбу сына.

Царь усадил разволновавшегося Шереметева в кресло, погладил мальчика по голове.

– Я сделаю это сейчас, граф. Дайте вашу бумагу. Вот благословение. Поверьте, даю его от души.

И больше для формы, для порядка предложил знатному и богатому вельможе:

– Мне нужна поддержка людей могущественных, а главное, просвещенных. Создан комитет. Негласный... После обеденного кофе в моей гостиной остаются граф Строганов, граф Кочубей... Не могли бы и вы принять участие в реформе управления? Навести порядок в государстве без плетки и муштры – это ли не достойная цель?

Царь Александр I видел, что собеседник не слушал его – сначала он прятал в карман драгоценную бумагу, подтверждавшую законность союза с Парашей, после в другом кармане искал газету, долго и неловко разворачивал ее...

– Ваше Величество, я благодарен... В мыслях совпадаю... Но поздно. Я еще с одной просьбой. Вот... – протянул газету. – Здесь очень высоко отзываются о богоугодном заведении, построенном мною в Садах с той роскошью, с какою обычно строятся дворцы. Но, упомянув мое благодеяние бедным, не назвали имя моей супруги, без которой странно-приимный дом не был бы и замыслен, не то что построен. Видимо, опять ее низкое происхождение ведет к замалчива-

нию ее заслуг... И мы говорим о равенстве перед Богом...

– Я распоряжусь, – вернул монарх газету. – И знайте: я обещаю всегда помнить о вашем сыне и заботиться о нем. Я буду защищать его интересы, как это сделали бы вы.

Своими светлыми выпуклыми глазами царь посмотрел на часы, давая знать, что аудиенция окончена.

Чуть удалясь от царственной особы, послушный мальчик превратился в непослушного. Из одной эрмитажной комнаты в другую он несся вприпрыжку и приговаривал:

– Я видел царя! Я видел царя!

А когда он на миг оглянулся, то ему показалось, будто в глубине анфилады, меж зеркал и сияющих люстр в бликах золотой резьбы мелькнула фигура женщины. Такой прекрасной, такой родной. Той, что он постоянно видел на портретах.

– Там... Там... Матушка! – кинулся он к отцу, пытаясь за руку вернуть его назад.

Граф не ответил и властно потянул сына за ручонку. «Душа Парашеньки радуется, – подумал он. – Или тревожится...»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Судьба Дмитрия была не из счастливых, хотя царь выполнил данное слово и вдовствующая императрица мать Александра Мария Федоровна лично следила за обучением и карьерой юного графа.

В пятнадцать лет он был представлен ей во время дачного сезона на Каменном острове. Она расспрашивала отрока, в какую службу он хочет, какое из своих дарований считает важнейшим.

С дарованиями было неясно. То ли явных не имелось от природы, то ли оказались они подавлены редкой застенчивостью и неуверенностью в своих силах.

Удивительно ли? Сиротства Дмитрий Николаевич хлебнул полной мерой.

Родственники-опекуны растащили значительную часть его наследства, но принять сына крепостной крестьянки в свою среду отказывались. С родной теткой Варварой он познакомился, уже став взрослым человеком. Не принятый светом, он чувствовал себя изгоем и никак не был связан со своими родственниками по материнской линии – с ними ему встречаться запрещалось.

Зимой Дмитрий жил замкнуто в Петербурге, лето проводил в полном уединении в глухом сельце Ульянке, без всякого интересного для него общества.

Все это пагубно сказалось на его судьбе.

Натура Дмитрия Николаевича не реализовалась в делах. О нем почти не осталось воспоминаний. А собственные его записки ущербны – больше похожи на деловые заметки педантичного и сухого человека.

Служил он в императорском кавалергардском полку. Женился. Потомки его, жившие в более открытом и свободном обществе, выделялись на общем фоне талантами.

Внуки и правнуки Прасковьи Ивановны и Николая Петровича были замечательными общественными деятелями.

Граф Сергей Дмитриевич Шереметев, историк и археограф. Меценат. Основал Комитет попечительства о русской живописи. У него был отличный вкус, и при открытии Комитета он хвалил работы Боровиковского, Иванова, Бруни.

Александр Дмитриевич посвятил себя служению музыке. Еще при его отце Дмитрие Николаевиче славился шереметевский церковный хор под управлением Ламакина. Александр Дмитриевич увеличил его, в репертуар вошла и светская музыка. Талантливый капельмейстер и неплохой композитор, граф Шереметев основал богатейшую музыкальную библиотеку, в которой было собрано полторы тысячи музыкальных произведений. Выбор их говорил о широких интересах хозяина.

Актеры, музыканты, архитекторы, литераторы, историки, предприниматели, Шереметевы проявляли себя как люди достойные и сильные на всех поворотах истории и где бы они

ни жили – в России или в Европе. В сплетении времен и судеб эта нить, взявшая начало от настоящей и трудной любви, оказалась крепкой и яркой.

Как и память об этой любви.

Очень старались родственники Николая Петровича сделать вид, будто ничего «такого» не происходило и произойти не могло! Все, что касалось Прасковьи Ивановны, они изъяли из семейных архивов с большим тщанием. Мол, не было.

Было!

И потому сюжет о барышне-крестьянке повторяется в народных сказках и легендах, литературе. До сих пор в селах России поют песню, которую приписывают Параше.

Вот она.

Вечер поздно по мосточку
Я коров домой гнала.
Лишь спустилась к ручеечку
Возле нашего села,
Вижу – барин едет с поля,
Две собачки впереди.
Поравнявшись со мною,
Он приветливо сказал:
«Здравствуй, милая красотка,
Из какого ты села?»
«Вашей милости крестьянка», –
Отвечала ему я.
«Не тебя ли, моя радость,
Егор за сына просил?»

Он тебя совсем не стоит,
Не к тому ты рождена.
Ты родилась крестьянкой,
Завтра будешь госпожа!»
Вы, голубушки-подружки,
Посоветуйте вы мне!
А подружки усмехнулись:
«Его воля, его власть!»

Память о великой любви, преодолевшей все преграды, живет вечно. Рядом с Данте и Беатриче, рядом со всеми великими возлюбленными стоят и наши герои. Прасковья Ивановна Жемчугова и Николай Петрович Шереметев.